ФЕРЕНЦ
ПАПП

В ДЫМУ И В ОГНЕ



ФЕРЕНЦ ПАПП

В ДЫМУ И В ОГНЕ

Перевод с венгерского



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
МОСКВА 1972

7-3-4
46—72

О ТОМ, ЧТО НУЖНО ИСКАТЬ В СЕБЕ

Человек крадет собаку, думая, что она станет хорошим охотничьим псом. Поняв, что из этой затеи ничего не получится, он возвращает собаку хозяину. Странный поступок! Даже сам «вор» признается, что любой другой на его месте выгнал бы собаку на улицу или свел ее на живодерню. Но рассказ написан вовсе не для того, чтобы поведать о странном поступке, а ради того, чтобы дать наглядный урок хозяину пса и читателю. Со щенячьего возраста хозяин приучил пса, в котором он души не чает, есть только из рук и только стоя на задних лапах. Даже могучий инстинкт голода не может заставить пса вернуться к его собачьему естеству, заставить собаку встать на все четыре лапы и вместе с другими четвероногими охотниками пообедать из одного корыта. Даже хозяин, бог и повелитель, которого собака понимает, словно она родилась немым человеком, не может заставить ее взять с пола кусок любимой колбасы. Казалось бы, какая умная, какая послушная собака, какая выучка! Но этот идеальный пес — трагический пример потери естества, врожденной сущности. Собака стала рабом, утратив совершенно свое собачье «лицо». Она действительно прекрасно вышколена, выдрессирована, но она перестала быть другом человека. Для нее существует условный рефлекс, но она абсолютно утратила способность понимать.

Рассказ превращается в притчу, в иносказание. Однако Ференц Папп вовсе не склонен писать о животных, пряча в подтекст свои размышления о человеке. Он пишет о людях взволнованно, горячо и даже пристрастно.

Писателю свойственна некоторая обнаженность проблематики, и в этой обнаженности ощущается определенная дерзость, вызов, желание непременно задеть читателя, заставить его задуматься, заглянуть в самого себя, ведь главный стержень всех произведений Ференца Паппа — человечность, та, за которую мы упорно боремся, которую страстно ищем, которой нам порой мучительно не хватает.

Пса можно заставить потерять его собачье естество. И человек может утратить человечность, причем эту потерю не сразу можно и заметить: человек останется исполнительным работником, приличным семьянином, вежливым соседом, но все это будет лишь оболочкой, маской для жадной пустоты, эгоизма и себялюбия. Человечность далеко не всегда можно определить по внешним признакам: и самые грязные дела могут делаться в белых перчатках. Порой необходимо заглянуть внутрь человека, разобраться в его побуждениях. Но и этого мало — человек должен смотреть сам в себя и внутри себя искать человечность.

Ференц Папп живет в Социалистической Республике Румынии, в Трансильвании, и пишет на своем родном, венгерском языке. Он пишет о современности, о своих соотечественниках. Папп умеет с помощью выразительных и ярких деталей воссоздать обстановку, лаконично и достоверно описать душевное состояние, психологию героев. И то и другое удается ему отлично, но его трудно отнести к категории писателей-психологов или бытописателей в чистом виде. Ференца Паппа, скорее всего, можно назвать философом, но в отличие от философа-ученого, пытающегося охватить всю проблему разом, найти ее решение, дать ту или иную формулу, Папп-художник рассматривает проблему на примере жизненной ситуации, каждый раз новой, показывая всю ее многогранность и сложность, как бы настойчиво призывая решать ее, решать и снова решать. А проблема, которой столь упорно занимается Ференц Папп,— это проблема человечности, гуманизма.

В рассказах и повестях Ф. Паппа гуманизм не является следствием, которое как бы вытекает из разрешения конфликтов, из жизнеописания, из взаимоотношений героев. В его произведениях человечность предстает как действующая сила, как слагаемое конфликта. Надо по-

лагать, что Папп действительно выстрадал эту проблему, как выстрадало ее все наше время. Писатель родился в 1924 году, и на его веку, на его глазах творились самые страшные преступления против человечности и совершались самые великие подвиги во имя гуманизма. В 20-е — 30-е годы наступал фашизм. И хотя он рядился в разные цвета, то в мрачные, устрашающие, то в привлекательные, даже веселые, сущность его была везде одинаковой: проповедь расовой ненависти, оголтелый антикоммунизм, крайняя бесчеловечность. Потом наступила война, когда фашизм силой оружия решил завладеть всем миром, воплотить в жизнь свою бредовую идею: стереть с лица земли или превратить в рабов народы «низших рас». Вторая мировая война в отличие от первой была, кроме всего прочего, войной человечности против бесчеловечности, войной интернационализма против расовой исключительности. И Советский Союз, носитель высочайших гуманистических идеалов, был больше всего ненавистен фашизму. Поэтому против него и был направлен главный удар гитлеровской военной машины, поэтому Советскому Союзу пришлось выдержать главную тяжесть войны. Победа над фашизмом была одержана не только качеством и количеством оружия, но и силой духа. Моральный фактор был оружием не менее значительным, чем танки и самолеты. Мракобесие фашизма одолел гуманизм. Победа над фашизмом стала поворотным пунктом в жизни многих народов, с этого момента они начали трудную борьбу за социализм в своих странах.

И фашизм, и долгая, унесшая миллионы человеческих жизней война против него, и строительство нового общества — все это с особой резкостью и прямотой поставило перед людьми вопрос о человечности, о формировании нового человека. И вопрос этот стал не только одной из главных общественных задач в социалистическом строительстве, но и личной задачей каждого члена нового общества, задачей не только общественного воспитания, но и задачей самовоспитания.

Моральное кредо Ференца Паппа сводится к простой истине: человек должен быть человеком. Но простота этой морали кажущаяся. Ее просто выразить в четырех словах, но совсем не просто воплотить в жизнь, совсем нелегко поступать согласно этой морали. В первую очередь нужно знать, что такое быть человеком в каж-

дом отдельном случае. Во-вторых, нужно иметь мужество поступать по-человечески, а не в силу сложившихся обстоятельств, стечение которых зачастую представляется людям проявлением каких-то «высших» законов.

У Ференца Паппа человечность терпит крах и одерживает победы. Но даже тогда, когда она оказывается бессильной перед лицом слепого формализма, она одерживает победу в душе читателя, вызывая возмущение, протест против несправедливости.

Истинная человечность, действенный, активный гуманизм возникают, когда человек имеет право выбора, поступает так, как повелевает ему не личный интерес, не эгоистические цели, а нечто высшее. Ведь человечность только тогда и существует, когда она направлена вовне, когда ее цель за пределами самого человека, его помыслов о себе. Проявление человечности требует прежде всего преодоления инстинкта самосохранения, психологии эгоизма. Человек должен встать выше обстоятельств, чтобы хоть немного возвыситься над самим собой.

Для психологических коллизий, которые интересуют Ф. Паппа, весьма характерной является ситуация конца войны. Советская Армия уже перешла через государственную границу и бьет врага на территории Румынии и Польши. Румынские дивизии повернули оружие против недавних союзников, гитлеровцев. Судьба фашистской Германии предрешена, но армия отступает, упорно сопротивляясь. Один из путей отступления гитлеровцев лежит через северную часть Румынии, через Трансильванию и далее через Венгрию. В германской армии служат солдаты, уроженцы этих мест. Они не фанатики-фашисты, они простые парни, которым не хочется умирать за какого-то Гитлера или Хорти, когда их родные места вот-вот окажутся по другую сторону фронта, в тылу Советской Армии, когда вот-вот уже наступит мир. Так что же им делать? Ими владеет инстинкт самосохранения, и они бегут из армии. Но Ференца Паппа не интересует психология дезертира, как такового. В центре внимания писателя опять-таки проблема человечности.

Солдат Михай Бодо, не успев бежать, попадает в руки полевых жандармов. Подполковник Реметеи в назидание другим приказывает расстрелять беглеца поутру. Страшную ночь проводит Михай, запертый в сарае в ожидании казни. Утверждают, что в «роковые мгнове-

ния» человек с какой-то феноменальной скоростью может мысленно пережить чуть ли не всю свою жизнь, вспомнить, что уже было с ним, или явственно представить то, о чем он мечтал. У классика американской литературы Амброза Бирса есть рассказ, где солдаты-северяне, поймав разведчика из армии южан, решают повесить его на мосту через Совиный ручей. Накинув ему петлю на шею, его сталкивают с моста. Веревка обрывается, разведчик падает в воду. По нему палят из винтовок, но бурный поток уносит его за спасительный поворот, где он с трудом выбирается на берег. Он спасен! Но тут-то и затягивается петля. Оказывается, вся картина спасения пронеслась в его мозгу за какие-то доли секунды, пока он летел вниз. На этом обрывается рассказ и человеческая жизнь. Именно с этой точки начинает повествование Ференц Папп. Для Михая Бодо роковое мгновение — ночь перед казнью. Все туже и туже затягивается вокруг шеи символическая веревка, Михая охватывает отчаяние, оно сменяется состоянием прострации, потом начинается слепой бунт и, наконец, наступает момент, когда в нем просыпается гордое человеческое сознание. Все переживания Михая Бодо — как бы стремительный рывок в будущее, интенсивный процесс становления человека, тот процесс, для которого в нормальных условиях понадобилась бы, уж во всяком случае, не одна ночь. Казнив Бодо, подполковник хочет преподнести наглядный урок другим солдатам, принудить их к слепому повиновению. Но Михай Бодо преподносит солдатам иной урок, урок бесстрашия и мужества. В минуту казни он кричит в лицо подполковнику: «Плохи твои дела, палач! Слышишь, стреляют? Это русские, скоро они будут здесь! И когда я буду порхать в небесах, тебя отправят в ад. Ребята! Долой эту банду подлецов! Стреляйте ему в брюхо!..» Михай Бодо преодолевает страх перед начальством, страх перед смертью. Он становится на высокий пьедестал Человека и с высоты его получает право крикнуть: «Реметеи! Ты изверг и свинья! Продался Гитлеру, чтобы убивать венгров».

Сознание Михая Бодо совершает стремительный взлет к человечности, но это происходит в обстоятельствах исключительных: он все равно обречен на гибель, будет ли униженно просить о помиловании или, исполненный человеческого достоинства, плюнет в лицо палачам. Ми-

хай Бодо умирает, героически утверждая человечность. Однако Ференц Папп не хочет приукрашивать своего героя, идеализировать его и, верный создаваемому им психологическому типу, показывает преображение Бодо как инстинктивный порыв: «... образование или знание психологии не могли ему помочь... Инстинкт подсказывал ему, в чем источник силы и в чем причина слабости... и лишь одному чувству он дал волю: ненависти, жажде отомстить».

Ненависть, праведный гнев обреченного диктуют Бодо его гордый и человечный поступок, а солдат Тот идет на риск, идет навстречу смерти во имя жизни, и не своей собственной, но других людей, которых он даже не знает.

Случайно возникшая перед его глазами плотина, которая многим дает работу и которую немцы собираются взорвать, заставляет его подумать о том, что, если не будет плотины, люди останутся без работы, без средств к существованию, и Тот выходит один против троих немецких солдат. Его план прост: пока немцы закладывают в основание плотины взрывчатку, он откроет шлюз, и бурный поток унесет гитлеровцев. Ему удается осуществить свой замысел. Человечность торжествует над тупой и зловещей жаждой разрушения, заставлявшей фашистов жечь села, взрывать города, уничтожать и осквернять памятники национальной культуры. Человечность торжествует с риском для жизни, но только так и может быть, иначе она бы и не была человечностью.

Тема эта в концентрированном виде предстает в повести «В дыму и в огне». В лагере, где отбывают трудовую повинность, на строительстве аэродрома встречаются фельдфебель Шаркади и ефрейтор Лаци Такач. У них, как у начальства, почти безграничная власть над согнанными сюда людьми. Но эта власть и является испытанием их человечности. Где-то внутри у Шаркади теплятся человеческие чувства. Его раздражает пронзительный скрип тачек, и он решает распорядиться смазать колеса, чтобы не слышать душераздирающих звуков и чтоб тачки было легче возить. Он хочет отдать приказ, чтобы по вечерам при его появлении в бараках люди не прыгали с нар, рискуя сломать друг другу шеи. Он даже решается публично наказать хапугу-интенданта. Но все его благие порывы испаряются после первого же выговора коменданта лагеря. «Все мое бунтарство,— признается

он,— рассеялось как дым. В целости и сохранности сберечь до будущих времен голову — вновь стало моей главной и единственной целью, а все прочее потеряло смысл и значение». Лаци Такач — полная противоположность Шаркади. «Этот человек постоянно готовился к будущему. Вокруг шла война, а он всеми своими помыслами устремлялся к тому времени, которое наступит после ее окончания. Мысли его всегда опережали настоящее». Шаркади подчиняется лагерному режиму, режиму бесчеловечности. И после войны он оказывается вне общества, в безлюдной пустыне. Боясь, что его может узнать кто-нибудь из бывших заключенных, он вынужден поселиться на горной пасеке, обречь себя на полное одиночество. Такач не приемлет насилия лагерного режима и в меру своих сил сопротивляется ему, и вполне естественно и закономерно, что именно после войны становится он активным строителем нового общества. Его человечность, его гуманизм служат преобразованию жизни на социалистических принципах.

Война окончилась, люди перестали ходить по грани между жизнью и смертью, воцарился мир, но это вовсе не значит, что была разрешена проблема человечности. Ференц Папп показывает, как и в мирной жизни она возникает на каждом шагу, хотя и не в такой резкой форме, как во время войны. Об этом убедительно говорят рассказы «Последний подарок», «Отдых» и повесть «По разные стороны».

Геза Керекеш, герой этой повести, любит Кати. После их случайной и короткой первой встречи проходит восемь лет. И вот они оказываются соседями. Кати замужем, но Геза замечает, что она потеряла себя, а это страшно, ведь «всем нам необходимо сознание, что людям не безразлично, живы мы еще или перекинулись... Стоит убить в ком-то веру в себя, и ты наполовину убьешь этого человека». Неудачная первая любовь, равнодушие мужа, смерть ребенка заставили Кати утратить «чудодейственную силу» молодости, жизнелюбие, радость бытия. И Геза решает вернуть ей все это ценою своей любви. В любви Гезы Кати вновь обретает все, что потеряла на извилистом жизненном пути. Но любовь эта остается безответной. «Может ли человек быть счастлив, если он занят только собой, если он гребет только к себе?» — за-

дает вопрос Геза. «Нет, не может! — всем своим творчеством отвечает Ференц Папп.— Это будет бесчеловечно!»

Сборник повестей и рассказов Ференца Паппа, впервые знакомящий советского читателя с творчеством этого самобытного художника, страстно и неприкрыто утверждает гуманизм, призывает каждого искать в себе высокое и мужественное чувство человечности.

Ю. Кожевников



В ДЫМУ И В ОГНЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ ПАСЕЧНИКА



1

В этих местах встречаются только лиственные леса, хвойная зона начинается немного выше.

Посреди густого лесного массива возвышается просторное плато. Ветры приносили сюда семена бука — крохотные, с маковое зернышко, треугольные призмы — и похожие на пропеллеры семена клена, но плато так и осталось голым, покрытым лишь спутанной жесткой травой пространством, где кирка, прорезая дерн, сразу же впивается в серую, с черными прожилками породу.

Лагерь расположился у западного края плато, среди могучих, матово-серых грабов. Изгородь из колючей проволоки образовывала правильный четырехугольник, в центре которого торчала сторожевая вышка; на заходе солнца, в ясную погоду, тень ее протягивалась в бесконечность, деля площадь будущего аэродрома на две равные части. Должно быть, раньше это был тихий, мирный край — редко-редко проскрипит повозка по заброшенной каменистой дороге, в остальное же время лишь нервное фырканье косуль да печальные зовы горлицы нарушали глубокую тишину. Но, с тех пор как появились здесь приземистые зеленые бараки, колючая проволока, вышка, просматриваемые со всех сторон отхожие места, застучали тяжело поднимающиеся и резко падающие кирки, засорили траву отбросы, зашагали взад и вперед рабочие команды — откормленная охрана и оборванный, завшивевший подневольный люд,— все нарушилось, пошло кувырком, а тишина уползла во влажный, настоенный на грибном запахе лесной полумрак.

Это и было место моего нового назначения. Когда я на интендантской машине подъехал к плато, в уши мне из-за густо сплетенных крон ударил плачущий визг тачек; навязчивый, как зубная боль, звук этот пронизывал воздух и раздражал слух. Я уже знал кое-что (хотя далеко не все, конечно) о начатой в мае кампании по созданию сети гетто и считал счастливчиками тех, кого раньше успели забрать в трудовые лагеря. Так что в этот момент, подходя к лагерю, я лишь подумал: «Завтра же отдам распоряжение смазать тачки». Призван я был из запаса, в ранге фельдфебеля, и было мне тогда тридцать два года.

На опушке я немного постоял, отдыхая. Отсюда хорошо были видны узкие и глубокие дренажные канавы, изрезавшие плато вдоль и поперек. Полным ходом шло выравнивание почвы. Окинув взглядом поле работ, я не без радости отметил про себя, что дел здесь еще немало. Надо сказать, что на передовую мне очень не хотелось.

В окнах комендантского барака пестрели цветы в горшочках, перед дверью была выложена кирпичом небольшая дорожка. Чувствовалось, что комендант обосновался здесь прочно и, по всей видимости, тоже не собирался покидать насиженное место.

Войдя в пустынный, пахнущий сыростью коридор, я по привычке одернул форму, подтянул ремень, смахнул пыль с ботинок. В этот момент из комнаты коменданта послышался дрожащий голос:

— Осмелюсь доложить, мат!

— Мат? Ну-ка посмотрим.

Кто-то откашлялся. Затем раздался смачный удар. Посыпались на пол шахматы. Дверь распахнулась, и из комнаты со стоном вылетел человек с окровавленным лицом. Споткнувшись о порог, он зажал ладонью ухо и со всех ног бросился бежать вперед, к чернеющим в отдалении человеческим фигурам. А в комнате не смолкал громкий довольный хохот.

Я ощутил во рту какой-то странный горький привкус.

Но пора было входить, хотя, признаться, охотнее всего я бы тоже бросился бежать прочь. «Пусть меня ждет там самое кошмарное зрелище,— пытался я рассуждать,— все равно нельзя терять присутствия духа. Ведь я мужчина. Мужчина и солдат». Но никаких кошмаров

не было и в помине. Сидели на кровати, сняв кителя, два офицера, перед ними на сколоченном из березовых досок столике стояла шахматная доска с поваленными в беспорядке фигурами. На стене красовался конный портрет Миклоша Хорти, на подоконнике стояли котелок, стакан, чашка с компотом, винная бутылка, банка из-под сардин. Возле круглой чугунной печки на стуле, тоже березовом, висели два кителя со знаками различия обер-лейтенанта и лейтенанта. Под потолком тонкими слоями плавал папиросный дым.

Я представился.

— Он будет у нас начальником лагерной службы,— сказал один из офицеров, низенький, черный, с крупными зубами.

Он встал, поскреб ногтем треснувшую эмаль на переднем зубе, вытер палец о штаны и колюче посмотрел мне в глаза.

— Из запаса?

— Так точно.

— Штатская специальность?

— Вулканизаторщик.

— Вулканизаторщик...— мрачно повторил офицер и опять поскреб зуб. Глаза его были желтыми, как оливковое масло.— Слыхал я про таких, да думал — вранье. Вулканизаторщик! Гажи, ты что на это скажешь?

Лейтенант со скукой взглянул на меня и пожал плечами.

— Я вот водолазов тоже не видел, а верю, что они бывают,— сказал он.— Для меня это совершенно одно и то же.

Обер-лейтенант все смотрел мне в глаза — взгляд его стеснял, сковывал мою волю. Был он на полголовы ниже меня; кожа смуглого, тщательно выбритого лица сильно шелушилась. На шелковой офицерской рубашке не было ни морщинки.

— Ну, ладно... идите...— сказал он без уверенности в голосе, будто так и не решив, что со мной делать.— Разыщите ефрейтора Такача: до вас он был старшим по рангу унтер-офицером.

Я четко, по-уставному повернулся кругом и вышел, затворив за собой дверь. В коридоре я остановился и крепко зажмурил глаза: передо мной снова была комната, но не только что виденная, а та, полная кошмаров,

которую я вообразил себе, перед тем как войти. Меня охватил страх, давний, знакомый страх, которым я заболел еще в Крайове, где служил новобранцем. За много лет я так и не смог от него излечиться, с каждым призывом он приходил вновь и вновь, как хроническая малярия. Я стоял, охваченный страхом, пронизывающим меня с головы до ног. К счастью, приступ был недолгим — долго его и невозможно было бы вынести,— он кончился, оставив после себя лишь легкое головокружение, и я наконец заметил откуда-то появившегося передо мной солдата. Был он среднего роста, широкоплеч, с докрасна загоревшим на солнце лицом. Большие пятна пота расплывались по рубашке цвета хаки; ее короткие рукава открывали крепкие бицепсы.

— Больны, господин фельдфебель? — спросил он без всякого подобострастия.

— Тошно, старина.— И я, сам не зная почему, кивнул в сторону комнаты коменданта.— Пришли-ка сюда Такача.

— К вашим услугам, это я и есть.

Теперь он кивнул в сторону двери, из которой я только что вышел, и как-то странно, саркастически улыбнулся. Однако тут же посерьезнел, так что я уже и не знал, действительно ли была то улыбка или мне только показалось.

— Ты что ухмыляешься? — спросил я неуверенно.

— Радуюсь жизни,— ответил он.— Здесь у нас все сплошь счастливы и все воздают хвалу господу. Кончили они играть в шахматы?

— Да, только что.

— Видел, чем кончилось?

— Скорее, слышал.

— Та-а-ак,— протянул он.— Так-так. Вот отчего тебе тошно. Чувствительный ты, брат.

Взгляд его черных глаз сковывал меня, пожалуй, еще больше, чем взгляд обер-лейтенанта. Когда он отвернулся и стал смотреть в стену, я сразу почувствовал себя легче, свободнее.

Он не ждал от меня ответа, потому что и так узнал все, что хотел узнать. Небрежным жестом он указал в глубину темного коридора.

— В хороших домах для гостя всегда найдется рюмка водки. Идем со мной.

2

Вечером я решил осмотреть бараки, где размещались на ночь рабочие трудовых команд. Такач шел за мной почти вплотную, тихонько насвистывая и пиная попадавшиеся под ноги пустые консервные банки. Светила луна, стояли неподвижно деревья, на землю опускалась влажная прохлада.

Я толкнул дверь ближайшего барака. В то же мгновение резкий, квакающий голос скомандовал отрывисто:

— Встать!

В длинном помещении барака, по одной в каждом конце, горели две керосиновые лампы, а между ними, по краям трехъярусных нар, мигали бледные огоньки свечей. Команда «встать!» вызвала невероятную суматоху. Из дымного облака под потолком торопливо прыгали вниз худые, неловкие фигуры, падали свечи, метеорами прорезая полумрак, сотрясались дощатые стены барака, мелькали небритые лица, лихорадочно блестящие глаза, костлявые руки и ноги, летело какое-то тряпье. А с верхних нар — на спины, на головы стоящих внизу — все сыпались люди; слышались стоны, ругань, шиканье. Я задыхался от тяжелого запаха, в котором испарения пота, грязного белья, сохнущих портянок смешивались с удушливой гарью стеариновых свечей, керосина и табака.

— По вечерам это зрелище особенно красиво,— заметил у меня за спиной Такач.— Так и хочется переселиться сюда на постоянное жительство... Заметь, что на каждой одноместной лежанке спят всего два человека.

Свечи уже не горели, в вязкой, горячей полутьме светились лишь две лампы да множество лихорадочно блестевших глаз. И это я считал раем по сравнению с немецкими лагерями! Ко мне подскочил полуголый человек, его грудь, руки, плечи были покрыты густой темной шерстью. Хриплым, квакающим голосом — этот голос я услышал, входя в барак,— он доложил о наличном составе.

— Продолжать! — приказал я, борясь с тошнотой. Волосатый взял под козырек, хотя был без головного убора, повернулся и крикнул:

— Продолжать!

Сбившаяся в узких проходах человеческая масса зашевелилась, задвигалась, медленно, как выводок клопов,

расползаясь по нарам. Я вышел, полной грудью вдохнул чистый лесной воздух, закурил. Рядом тихо насвистывал Такач.

— Что же, все бараки такие? — спросил я.

— Все. Ни один не походит на заграничный курорт,— ответил он.— Осмотрим по порядку?

— Нет. Хватит.

В глазах у меня все еще метались огоньки падающих свечей.

— Завтра же отдам распоряжение, чтобы в бараках после отбоя люди не вскакивали при появлении начальства. Они ведь затопчут друг друга.

— Знаешь, чем это кончится? — голос Такача звучал бесстрастно.— Вызовет тебя Кертес и вправит мозги. «Я,— скажет,— создавал этот лагерь. И кажется, не просил вас, фельдфебель, устанавливать здесь свои порядки. А хочется на фронт, скажите прямо: для этого есть более простой путь. У меня все».— Он поднял глаза к небу и, помолчав, добавил: — А вот если я куда-нибудь вхожу, никто не орет «встать!».

Лица его я не видел, но чувствовал по голосу, что он улыбается. Меня вдруг одолели усталость и тоска, захотелось спать; я попрощался с Такачем. Он, насвистывая, побрел обратно к бараку; бог знает какие там у него могли быть дела. Во всяком случае, я подождал, пока он войдет. Скрипнула дверь — и более тишину ничто не нарушало; это было непонятно, как и многое другое здесь.

В лагере не было электричества. В комнате моей висел под потолком фонарь; он раскачивался всякий раз, когда кто-нибудь проходил по коридору, и тотчас по стенам начинали метаться неясные, загадочные тени. Едва я погасил фонарь и улегся в постель, темнота наполнилась непривычными звуками: потрескивали доски стен и пола, тихо пел ветер в щелях плохо подогнанных рам, доносились издали шаги, человеческие голоса, лязг котелков; газета, заменяющая на столе скатерть, иногда шелестела, будто по ней пробегал кто-то маленький и проворный.

Сердце мое сильно билось. В голове бродили какие-то непривычные мысли. Действительную службу отбывал я в армии румынского короля, после этого трижды был на сборах, затем, уже при Хорти, два раза призывался на переподготовку, пока наконец не был оставлен на по-

стоянную службу. Более десяти лет армия не давала мне покоя. Помнится, в годы ученичества, когда близился первый призыв, друзья говорили мне, что я и в армии буду работать в мастерской при какой-нибудь механизированной части. Но из Крайовы меня послали пулеметчиком на линию Кароя; венгерские власти в Северной Трансильвании тоже определили меня в пехоту. Можно было подумать, что шины военных автомобилей не знают износа; как бы там ни было, в конце концов пришлось смириться с положением пехотинца. Каждый раз, когда я надевал форму, у меня оставалась одна-единственная цель: продержаться, выжить во что бы то ни стало! Меня интересовало лишь то, какие у меня будут обязанности, питание, постель; я прятался в мундир, как улитка в раковину, со страхом ожидая, что вот-вот — через час или, может быть, через минуту — жизнь моя пойдет под откос. Но, наверное, существует какое-то таинственное стремление вещей к равновесию, потому что, несмотря на постоянный страх, я часто бывал довольным и беспечным, выработав в себе привычку не думать о будущем и ни на минуту не допускать даже мысли о том, что жизнь других людей, одетых в воинскую форму, не менее важна, чем моя. Чужие несчастья меня не трогали; способность ощущать голод и сытость была как будто дана мне одному. Однако сейчас, лежа под одеялом, я чувствовал, что во мне что-то сдвинулось, изменилось: мысли, сворачивая на новые рельсы, стремились вырваться из привычного круга; по велению какого-то давно, казалось бы, утраченного инстинкта невидимые нити тянулись от меня к грязным, зловонным баракам, и по ним в мое сердце лилась вибрирующая, тяжелая боль.

«А если все-таки отдать завтра это распоряжение?» — мучился я, вслушиваясь в ночные шумы. Из коридора доносилось ритмичное щелканье, словно бритву правили на ремне; прошло немало времени, пока я догадался, что это стучит громадный будильник нашего вестового. Ударился жук о стекло, на вышке громко высморкался часовой — будто в трубу протрубил. Тишина многократно усиливала все звуки. «Во всяком случае, прикажу смазать тачки, чтобы так не скрипели. Да и возить их будет легче», — думал я.

Разбудили меня вопли и невообразимый шум. Я выглянул в окно; первые лучи солнца освещали верхушки

деревьев, веером расходясь в насыщенном влагой воздухе. Трава и толевые крыши построек были белыми от росы. Лагерный плац быстро заполнялся выбегающими из бараков людьми. Помятые, серые лица, рваные шапки, заношенные свитера — весь этот грязно-серый поток бурлил вокруг колодца, гремя фляжками и котелками. Возле кухни уже дымился огромный закопченный котел. Повар вытер фартуком потное лицо и ударил половником по краю котла. Ба-анг! — раздалось над лагерем, и по темной человеческой массе словно прошел электрический ток.

Откуда-то сбоку появился обер-лейтенант Кертес, за ним, соблюдая дистанцию в два шага, следовал лейтенант. Они были одеты строго по-уставному: их сапоги, коричневая кожа на кобуре пистолетов, туго затянутые поясные ремни сверкали. Рядом с ними рваное серое тряпье на людях, согнанных в лагерь для отбывания трудовой повинности, казалось особенно жалким. Обход этот произвел на меня гнетущее впечатление. «Неужели это армия? — думал я.— Это черт знает что: не то живодерня, не то камера смертников под открытым небом». С приближением начальства усердие унтер-офицеров, их суета и крики достигали апогея; теперь собравшиеся на плацу люди — значительная часть их так и не успела умыться — бежали, чтобы занять место в очереди к кухне.

Пожилой солдат принес мне завтрак — видимо, по распоряжению Такача. Однако я, опасаясь, что Кертес может неожиданно потребовать меня к себе, предпочел сначала одеться и затем уже выпить совсем остывший кофе.

Через некоторое время команды двинулись на работу. Снова тут и там слышался визгливый скрип тачек; мне казалось, я не только слышу эти звуки, но и вижу их — светлые, острые стеклянные стрелы.

Вошел Такач. Он успел уже где-то сбросить свой китель, хотя сырой утренний воздух был еще очень холоден. Тяжелая кобура оттягивала вниз его неплотно стянутый ремень.

— Видал? — спросил он.

— Видал,— ответил я.

Он закурил сигарету и посмотрел в окно, на покрытый затоптанной, высохшей травой плац, где двое кухонных

рабочих, обмакивая тряпки в золу, чистили котел. Я не встречал человека, который мог бы интонацией одного-единственного слова выразить свое отношение к чему-либо так полно и точно, как это умел Такач. По тому, как он произнес свое «видал?», я понял: он до глубины души ненавидит все, что окружает его здесь, в лагере. Мне стало досадно, что вчера я принимал за чистую монету многие его иронические замечания.

— Не холодно тебе? — спросил я.

— Нет. Надо привыкать,— сказал он.— Кто знает, что еще будет впереди.

Позже я узнал еще одну особенность Такача: этот человек постоянно готовился к будущему. Вокруг шла война, а он всеми своими помыслами устремлялся к тому времени, которое наступит после ее окончания. Мысли его всегда опережали настоящее, и это было необычно: ведь солдат живет, как правило, сегодняшним днем.

— Кто знает, что нас ждет впереди,— повторил Такач.— К тому же через час все равно будет жара.

Он докурил зажатую в зубах сигарету, ни разу не вынув ее изо рта, так курят люди, которые привыкли к тому, что руки у них постоянно заняты.

Я должен был принять у него по списку лагерное имущество, но перед этим мы немного побеседовали. Не знаю почему, но говорили мы коротко, односложно. Я узнал, что до войны Такач работал слесарем-инструментальщиком на каком-то заводе в долине Мароша — в тех местах, откуда был родом; позже служил в Брашшо, на авиационном заводе, затем — на «Фениксе» в Вараде. Я тоже работал в Брашшо, на Средней улице. Однако мы не искали общих знакомых. Он спросил, где я кончил унтер-офицерскую школу.

— В Надьвараде *,— ответил я.

— Я тоже.

— Ты тоже? Тогда почему ты все еще ефрейтор?

Он, улыбнувшись, махнул рукой:

— Епископ отказал в благословении.

---

* Брашшо — венгерское название города Брашов в Трансильвании. Варад — венгерское название города Орадя в Трансильвании. Надьварад — то же, что Варад.— *Здесь и далее примечания переводчиков.*

И снова мы не стали искать общих знакомых, не касался я больше и вопроса о звании. Какое-то неожиданно возникшее смущение — или, может быть, ощущение его превосходства — мешало мне продолжать расспросы. Сам же он молчал. В ярком свете, льющемся в окно, его черные волосы и брови отливали синевой; темные глаза с сонным равнодушием следили за движениями рабочих, чистящих котел. Конечно, меня он уже не мог обмануть: я знал, чувствовал, что ненависть и сейчас кипит в нем, что равнодушие, застывшее в его глазах, так же не присуще ему, как армейская форма, в которую он одет. Мне вспомнилось, что накануне я боялся не только Кертеса, но и его, Такача; сейчас это казалось смешным и глупым. Меня тянуло к нему, привлекали его спокойствие, его сила, мне хотелось, чтобы он разговорился, доверился мне: из всех, с кем я до сих пор встречался в армии, он был наиболее симпатичен.

— Ну вот, утреннее явление Христа народу состоялось, — сказал он рассеянно. — Берем бумаги — и на склад.

— Потом пойдешь к своему взводу?

— Ну, это не срочно. Может, и пойду... Хотя там работа и без меня хорошо идет.

Был в его голосе какой-то неясный намек, которого я не понял. Он же быстро шагнул к двери и, будто желая дать моим мыслям другое направление, добавил, не оборачиваясь:

— Ты увидишь, как быстро здесь все покрывается плесенью.

3

В то время я еще верил, что, если потребуется, человек может привыкнуть к чему угодно, что привычка постепенно лишает остроты даже такие ощущения, которые кажутся нам непреходящими: и боль, и счастье. Я верил, что привычка сводит на нет самые глубокие противоречия; привычка — это как бы предохранительный клапан, обеспечивающий постоянное, вполне терпимое для человека давление. За две недели, проведенные в лагере, я должен был бы, казалось, приспособиться к обстановке — и тем не менее никак не мог обрести желанную

уверенность в себе. С людьми, согнанными на подневольные работы — в большинстве своем это были румыны и евреи,— я почти не имел дела, с обер-лейтенантом Кертесом тоже общался редко, и меня это вполне устраивало. Но не устраивало это Такача. С угрюмым упорством он гнул свою линию, добиваясь, чтобы я смотрел на мир его глазами; с помощью загадочных своих высказываний, которые часто следовало понимать как раз наоборот, он управлял моими мыслями и настроениями, как пастух — послушным стадом. Строго выполняя четко очерченный круг обязанностей, я делал то, что предписывал мне устав. Такач же хотел от меня чего-то иного. Его замечания и намеки будоражили меня, сеяли в душе смятение, воскрешали в памяти впечатления первого моего вечера в лагере, вызывали горечь и озлобление против армейской дисциплины. Я уже и сам понимал его правоту, однако немалая смелость, даже дерзость требовалась для того, чтобы поступать не так, как велит устав; но этой-то смелости мне и не хватало.

Самое удивительное, что я никогда не мог точно уловить, чем именно и в каком направлении он влияет на меня; так, не видя ветра, мы ощущаем его силу.

На четырнадцатый день моего пребывания в лагере Кертес приказал подвергнуть экзекуции трех заключенных, которые якобы набросились на интенданта и назвали его негодяем и живодером. Проводил экзекуцию ефрейтор Кеви: несчастные были подвешены за вывернутые назад локти к нижней ветви старого дуба — так, что пальцы ног их едва касались земли. По уставу, такое наказание должно было производиться в присутствии врача, но в лагере у нас врача не было, поэтому около провинившихся находился ефрейтор санитарной службы с полным комплектом своих медицинских принадлежностей: несколькими перевязочными пакетами и мешочком английской соли. Я пробыл там, должно быть, минуты две — для меня этого было вполне достаточно. Такач же, пока длилась экзекуция, не двинулся с места, куря одну сигарету за другой; потускневшее лицо его было неподвижным, глаза горели темным огнем.

Рассказывают, что Кеви, которого раздражал направленный на него мрачный взгляд, несколько раз просил Такача отойти, а потом, взбеленившись, так натянул веревку, что наказанный повис в воздухе, в нескольких

дюймах от земли. Такач отшвырнул сигарету, придвинулся к ефрейтору и сказал негромко:

— Вот что, Кеви! Соблюдай предписание, а то как бы и тебе не пришлось висеть на дереве. И лей на них побольше воды, ясно? Помни, тебе велено наказать их, а не прикончить.

Перед отбоем Такач, как обычно, заглянул ко мне. Мы часто играли с ним по вечерам, но на этот раз нам было не до карт. Он сидел на кровати, в рубахе с засученными рукавами, свесив меж колен руки; в этот момент он походил совсем не на солдата, а, скорее, на усталого рабочего, который еле дождался конца изнурительного дня. Рубашка обтягивала его мощные плечи, высокий лоб был нахмурен, узкие губы пожелтели от непрестанного курения.

В эти минуты я вновь ощутил ту давящую, из глубины сердца поднимающуюся боль, которая так мучила меня в первый лагерный вечер; я испытывал отвращение ко всему миру, к своей собственной жизни и к тихой ночи, опускающейся на землю. Висевший под потолком фонарь бросал мягкий свет на стены, окна, дверь, на изголовье кровати, мы же с Такачем оставались в темном круге: у фонаря — как у пулемета — было свое мертвое пространство.

Сумрачно смотрели мы друг на друга; события сегодняшнего дня словно поставили между нами какую-то преграду, какой-то тревожный, требующий неотложного решения вопрос.

— Хотел бы я посмотреть на этого Кертеса,— вдруг заговорил Такач, цедя слова сквозь зубы и не сводя глаз с моего лица; он закурил и долго тряс спичкой, не замечая, что она давно погасла. Дым, клубясь, переползал через четкую границу тени в освещенную часть комнаты.— Хотел бы я посмотреть на Кертеса, взяв его за горло. Ты как считаешь, Шаркади, сказал бы этот гад что-нибудь или просто бы отдал богу душу? Или зайти в барак и крикнуть: а ну, ребята, идем рассчитаемся с комендантом. А? Хотел бы я на него тогда посмотреть, ох и хотел бы! Но думаю, смотреть-то было бы не на что, осталась бы от человека одна вонь.

Он бросил наконец спичку, потом поднял и, ломая ее на мелкие кусочки, вздохнул:

— Вонь, и больше ничего...— Такач снова взглянул

на меня потемневшими глазами.— Слушай! Осталось там что-нибудь в бутылке?

Я еще не видел Лаци Такача в таком состоянии. Забыв об осторожности, он высказал мне все, о чем я до сих пор лишь догадывался; возможно, впрочем, что делал он это вполне сознательно, наконец доверившись мне. Я тоже почувствовал вдруг такую настоятельную потребность выпить, что сглотнул несколько раз слюну, прежде чем ответить:

— Бутылка пуста, но сейчас наполнится. Эй, Келемен!

Околачивающийся в коридоре денщик — я деликатно называл его дежурным вестовым — моментально влетел в комнату и уставился на нас с порога. Почувствовав прилив энергии, я скомандовал:

— Бегом к интенданту. Через две минуты чтоб у меня был ром.

— Слушаюсь.

Вестовой исчез.

— А ведь это тоже за счет других,— глядя перед собой, глухо заговорил Такач.— Интендант ворует, мы пьем. Тот самый интендант, из-за которого сегодня...

— Все интенданты воруют,— сказал я.

— Прописная истина, все интенданты — мошенники.— Такач помолчал, на его темном, покрытом пятнистым загаром лице медленно проступала краска.— Еще бы, он ведь венгерский хонвед * и ворует только то, что предназначено румынам и евреям! Эх, Шаркади, ничего-то ты не смыслишь, ничего не понимаешь... Поощряешь этого паука. А зачем? Не так уж он мне нужен, этот ром, чтобы ты из-за него якшался с этим орангутангом!

Я ничего не ответил. Как-то само собой разумелось, что интендант заботится обо мне и о начальстве — и даже о младших унтер-офицерах — с особым старанием. Странно, что Такач принимает эти мелочи так близко к сердцу.

— Слышишь? Я обойдусь, не нужен мне ром,— повторил Такач.— Но как ты вообще можешь?..

У меня вновь стало неспокойно на душе, я опять увидел перед собой тех несчастных, их безжизненно све-

---

* Хонвед (буквально: защитник родины) — солдат венгерской армии.

сившиеся головы, их волосы, шевелившиеся под порывами горячего ветра. Конечно же, во всем виноват интендант...

Вестовой был уже тут, с бутылкой в руке. Я посмотрел на бутылку, и тот факт, что ром есть, тогда как его не должно быть, показался вдруг мне невероятно важным. То, что я сам послал за ним, напрочь вылетело у меня из головы. Такач сидел на кровати, небрежно откинувшись к стене, будто ему не было дела до происходящего; однако его острый, требовательный взгляд не оставлял сомнений в том, что он ждет от меня решения. Чувствуя, что подчиняюсь чужой воле, я сказал денщику:

— Унесешь ром обратно. Интенданту передай: утром, в девять часов, пусть явится ко мне в полной выкладке.

— Слушаюсь.

Келемен повернулся и вышел. В этом был он весь: его посылали, он послушно шел. Беспрекословное выполнение приказов избавляло его от необходимости думать. В этот момент мне захотелось быть на его месте.

Такач угрюмо тер подбородок.

— А выпить-то нам нечего,— сказал я.

— Не беда,— ответил он,— придется потерпеть без выпивки.— И добавил: — В девять часов солнце уже припекает. Может, выдать ему со склада зимнее обмундирование?

— В летнем тоже будет неплохо.

— Да, пожалуй. Только не будь размазней.

— За меня можешь быть спокоен.

— Не передумаешь до утра?

— Нет.

— Я буду наблюдать из какого-нибудь окошка.

— Будет на что посмотреть.

Я действительно был уверен, что завтра утром Такачу будет на что посмотреть; но, когда он ушел к себе, мной овладели сомнения. Откровенно говоря, я охотно отменил бы приказ. Слепая ярость, желание выместить на ком-нибудь свою злость были мне несвойственны, и все же сейчас, когда эти чувства с такой силой бурлили во мне, я не мог заглушить их. Мне уже пришлось убедиться в том, что прежние мои взгляды здесь, в лагере, оказались непригодными — да что взгляды: я на самого себя не мог уже положиться, потому что, утратив прежние ориентиры, не обрел новых.

Наступило утро, с обычными воплями, шумом и суетой начался новый день, и ровно в девять часов ко мне явился интендант. Это был толстый бакалейщик из Марошвашархея * с жирным двойным подбородком, лежавшим на засаленном воротнике; расплывшиеся черты его лица выражали глубокую обиду, смешанную с надеждой, что все еще, может быть, обойдется. Он регулярно ссужал деньгами двух наших офицеров, являясь для них чем-то вроде домашнего банкира, а те смотрели сквозь пальцы на его махинации с казенным имуществом. Я был уверен, что он как-нибудь уже дал знать Кертесу о свалившейся на него неприятности и теперь все еще надеется на счастливый исход. Он ел меня глазами и, видимо, силился и никак не мог понять, какая муха меня укусила. Я заглянул в его серые, тускло отсвечивающие глазки, и мне показалось, будто я смотрю в глаза вши.

К ответственности за воровство я не мог его привлечь: для этого потребовалось бы специальное расследование, да и наказания мне все равно никто не доверил бы. Оставалось как следует погонять его — для этого у меня были и права, и возможности.

— Что и говорить, одно удовольствие на вас посмотреть, хонвед Шомоди,— начал я тихим голосом.— Весь-то вы грязный, даже, кажется, липкий, снаряжение будто в помойной яме валялось, а ружье и того страшней. Как вы думаете, мог бы наш славный предок Ботонд ** такой вот ржавой булавой разбить железные ворота Византии? От вашего мундира любой неприятель задохнется. Вы, хонвед Шомоди,— ходячая болотная лихорадка. Ходячий тиф! Ходячая дизентерия! Вы скверно заботитесь о вверенных вам вещах. Надо ли после этого удивляться, что вы расхищаете полученное из государственных складов имущество! Кто грязен, тот лжив; кто лжет, тот и крадет; кто крадет, тот рано или поздно попадется. И я вас заставлю понять, что армия — это не барахолка, а солдат — не толстомордый торгаш. Кру-гом марш!

---

* Марошвашархей — венгерское название города Тыргу-Муреш в Трансильвании.

** Ботонд (X в. н. э.) — предводитель одного из древних мадьярских племен.

Я вытер вспотевший лоб, вспоминая те несколько недель, что провел на курсах унтер-офицеров, и методы, какими там вбивали в голову эту премудрость; тогда мне казалось, что обучать других этой науке — ни с чем не сравнимое наслаждение. Однако сейчас я не чувствовал никакой радости, пот лил с меня градом, руки дрожали. Высоко поднявшееся солнце низвергало вниз потоки лучей, слепящим светом и зноем затопляя пространство между бараками. Шомоди, потеряв последнюю надежду на избавление, бросил еще один отчаянный взгляд в сторону комендантского барака и двинулся по плацу, сгибаясь под тяжестью ружья, вещевого мешка, противогаза, саперной лопатки, котелка, фляжки, плащ-палатки и одеяла.

Я начал с самого распространенного метода:

— Ко мне! Кругом! К сортиру — бегом марш! Назад! Ложись! Встать! К кухне — бегом марш! Назад! Ко мне по-пластунски! Встать! Ложись!

Такое непрестанное подхлестывание, когда за одной наполовину выполненной командой уже следует другая, быстро изматывает даже крепкого человека. Сокрушительно действует оно и на состояние духа. То обстоятельство, что выполнить как следует хоть что-нибудь невозможно, только сильнее подчеркивает бессмысленность приказаний; и все же, несмотря ни на что, приходится идти, бежать, падать, лезть из кожи, стараясь по возможности выполнить очередную команду, прежде чем прозвучит следующая. Человек в таком состоянии — уже не человек, а втоптанный в грязь червь, несчастное, загнанное существо, которое, подчиняясь приказам, мечется, прыгает на обломках своего человеческого достоинства.

Интендант хрипел и хватал воздух раскрытым ртом, снаряжение его гремело на бегу, как телега с кастрюлями. Когда он в очередной раз упал на живот, противогазная сумка съехала под мышку, а ружье стукнуло его по затылку. Желтая пыль постепенно покрыла его потное лицо и шею, так что видны были лишь перепуганные, обезумевшие глаза. Мы с ним оба вдруг поняли, что впутались в весьма серьезную историю. С каждой минутой я все больше его ненавидел — ненавидел за то, что своей подлостью он заставил меня опуститься до такой бесчеловечности; сейчас я мог бы его убить. Ненависть вы-

жгла во мне всякую жалость. Стиснув зубы, я выкрикивал — как выплевывал — все новые команды:

— К-мне! Бгом — арш! Кргом! Назад!

Лагерная охрана частенько устраивала такие «разминки» рядовым, гоняя их до полного изнеможения, пока люди почти без сознания не валились на землю и их нельзя было поднять даже пинками. Шомоди в эти минуты был для меня уже не конкретным страдающим и униженным человеком, а олицетворением всей безжалостной, озверевшей охраны; себе же я казался чуть ли не героем. Словно свежий ветер обдал меня с головы до ног — такая во мне разлилась сила; пожалуй, первый раз в жизни я и в самом деле был героем. Со слепой яростью выкрикивая слова команд, я будто становился выше ростом; мне казалось, я крепок и могуч, как дуб, и останусь таким навсегда.

Внезапно я увидел рядом с собой обер-лейтенанта. Кертес курил сигарету, после каждой затяжки стряхивая щелчком пепел и щурясь. На заросшем черной щетиной лице его застыло сонное выражение, казалось, он не видит мучений интенданта, а просто созерцает окрестности. Я уже не мог остановиться и продолжал командовать:

— Ко мне по-пластунски!

Интендант шлепнулся в пыль. Высоко подняв толстый зад, работая локтями и коленями, он полз, дрожа всем телом, в широко раскрытых глазах его мерцало исступление. Он походил на утопающего, который барахтается в желтой, мутной воде, из последних сил пытаясь добраться до нас, чтобы ухватиться за наши сапоги.

— Дрянной человечишка этот толстяк,— негромко заговорил Кертес.— Правильно делаете, что сгоняете с него жир. Одного я не понимаю: вы, начальник лагерной службы, и вдруг на глазах у румын и евреев муштруете венгерского хонведа.

«Тебя не спросился, паршивого пса»,—про себя ответил я; до сих пор мне никогда не случалось, даже в мыслях, допускать подобные выражения в адрес начальства. Строго по-уставному я закончил «урок»: «Встать! Вольно! Можете идти!» — и только затем повернулся к обер-лейтенанту. По всему было видно: через пять минут прыгать в полной выкладке по плацу придется уже мне. Но страха я не чувствовал. Думаю, не так уж часто бывают в жизни моменты, когда человеку удается подняться над

самим собой; и если потом судьба толкнет тебя на самое дно жизни, то память о таких моментах надолго станет источником гордости или по крайней мере утешения. Итак, я совсем не боялся. В душе пылал мятежный огонь: должно быть, с самого рождения тлел во мне какой-то уголек, который я унаследовал — за отсутствием более полезных вещей — от родителей, рабочих-ткачей, и, нося его в себе, гасил всякий раз, когда он готов был разгореться. Ведь жить, не бунтуя, куда проще. Теперь же на мгновение я стал тем, кем мне следовало быть с самого начала. Я воспринимал мир с предельной четкостью, отлично видел и ту нечистую игру, которая шла вокруг меня, и собственную роль в ней — вообще все. Видел даже то, как жалок в конечном счете этот мой бунт. Но я не мог от него отказаться, потому что благодаря ему познал, пусть на короткое время, великую, ранее мной не изведанную человеческую гордость.

— В другой раз ведите его в лес, чтобы никто вас не видел,— продолжал Кертес. Он отбросил недокуренную сигарету и затоптал ее ногой.— Запомните: поддерживать дисциплину здесь нужно прежде всего среди отбывающих трудовую повинность. Об этом я предупреждаю каждого только один раз.

Он лениво зашагал к себе, громко скрипя узкими сапогами; я заметил, что ноги у него непропорционально коротки по сравнению с туловищем.

Со всех сторон на меня смотрели люди — до этой минуты я их не замечал. Глазели околачивающиеся возле кухни огородники, часовой на башне, группы рабочих. Море лиц окружало меня. Палило солнце, сухой горячий ветер разносил запах сортиров. Интендант уже куда-то исчез. В душе у меня было пусто и холодно, как в залитом водой камине, в голове ни одной мысли. А потом мне подумалось, что на этой огромной лесной поляне не всегда был лагерь и не всегда, конечно, будет; подумалось, что наступит время, когда люди смогут вернуться домой — те, разумеется, кому удастся выжить. Кто будут эти счастливцы? Может быть, они отмечены каким-то тайным знаком? Может, будущее накладывает на нас свою печать, видимую только посвященным? Как бы там ни было, стоит Кертесу сказать одно лишь слово, и я отправлюсь туда, где свистят пули.

Я уже не мог понять, какая муха укусила меня нака-

нуне вечером, когда я приказал интенданту явиться ко мне. Все мое бунтарство рассеялось как дым; в целости и сохранности сберечь до будущих времен голову вновь стало моей главной и единственной целью, а все прочее потеряло смысл и значение. В этот день я на несколько минут поднялся к небесам — и вот уже снова оказался внизу, на грешной земле.

В комнате, зажав в углу рта дымящуюся сигарету, ждал меня Такач. Хотел бы я знать, как бы он себя чувствовал в моем положении. Я уже начинал догадываться, что Такач (а может быть, какая-то другая, непонятная сила, которой и сам он был подвластен) использовал меня, чтобы дать лагерному начальству достойный ответ на вчерашнюю экзекуцию; я начинал понимать, что болото вокруг меня глубже и коварнее, чем я себе представлял, и что дружба с Такачем может для меня плохо кончиться.

— Ты недурно это проделал,— сказал Такач.

Я швырнул на кровать фуражку и ремень. Прохлада, оставшаяся в комнате с ночи, приятно освежала взмокшее тело. За окном, у колодца, появился интендант, голый по пояс, потный, с полотенцем на жирных плечах. Я ломал голову, что же сказать Такачу. Мне уже приходилось встречать людей, которые способны обрести душевное равновесие лишь в беспорядках. Эти люди, скажем, в день Первого мая всегда делали то, чего нельзя было делать, шли туда, куда им запрещали идти; я же проводил этот день в смятении, хотя и бездеятельно.

Такач пристально рассматривал меня, будто пытался уловить, не изменилось ли что-нибудь во мне со вчерашнего вечера.

— В другой раз не пытайся взять меня на пушку,— проворчал я.— Если хочешь, действуй сам.

— Стало быть, я взял тебя на пушку? — удивился он.

— А то нет?

— Значит, ты не сам хотел все это делать?

— Хотел. Только и тут ты мне помог.

— Выходит, кругом я виноват,— сказал он.— А ведь ты совсем не из-за меня решился на это. Совесть тебе подсказала.

— Совесть мне подсказывает, чтобы я о собственной голове побеспокоился.

— Что же твоей дурной голове угрожает?

— Фронт ей угрожает. И пуля.

Такач присвистнул.

— Редкостный ты дурак, Шаркади! Ты что, думаешь, пули вечно будут свистеть? Вникни в ситуацию. Вот бережешь ты свою голову, а после войны ее у тебя снимут. В мирное время такая операция куда неприятней, чем в войну.

Он старался говорить спокойно, но лицо его было бледно, глаза горели гневом. Меня же его слова совершенно не трогали. Он не способен был понять, что я просто боюсь и что здесь даже он бессилен что-либо сделать...

5

Плесень там действительно покрывала все необыкновенно быстро. Каждую неделю мне приходилось заботиться о том, чтобы тюки с вещами были вытащены из складского помещения и просушены на солнце: так основательно обрастали они серебристо-зеленым налетом. Работа была не слишком тяжелой: я брал человека из какой-нибудь команды, и до обеда мы успевали все закончить, а заодно производили уборку на складе.

В один из таких дней я и познакомился с Бауэром. Я знаю, что не вправе осуждать его: ведь в конце концов он лишь искал возможность остаться в живых — так же, как и я. Он прибыл в лагерь с пополнением — нужно было заменить рабочих, отправленных в госпиталь с подозрением на тиф. Это был маленький тощий человечек с грязной желтой повязкой на руке; лицо, шею, лысину его покрывали струпья. Бауэр был в ужасном состоянии — странно, как он вообще еще жил,— и все-таки в глазах у него мерцал какой-то лихорадочный огонек. Бог знает почему ефрейтор Кеви выбрал для работы на складе именно его. Сын крестьянина с Дунайской равнины, Кеви в лагере превратился в бессердечного, равнодушного к чужим страданиям деспота; не думаю, что он пожалел Бауэра — скорее всего, он рассуждал так же, как у себя в деревне, ухаживая за скотиной: поболтается, мол, Бауэр денек на складе, соберется с силами, завтра больше наработает.

Я стоял в дверях склада, глядя на приближавшегося Бауэра и прикидывая, по силам ли будут этому недомер-

ку тяжелые тюки, когда человечек остановился передо мной и, к моему изумлению, вместо того чтобы по-военному отрапортовать, протянул мне испачканную в глине, трясущуюся руку.

— Думаю, вы обо мне уже слышали, господин фельдфебель,— сказал он слабым голосом.— Я — Бауэр. Так сказать, собственной персоной.

Растерявшись от неожиданности, я заорал:

— Что? Я о вас слышал? Свиньи собачьи о вас слышали! Бросьте к дьяволу свои шуточки. Вот вам сигарета — и за работу!

Но заинтриговать меня ему все же удалось.

— Ну, так что же вы за птица?

— Я — Бауэр,— ответил он.— Самый богатый человек в Надьвараде. Если вы когда-нибудь бывали в этом городе, то обязательно останавливались в моем отеле. Вы ездили на моем такси и развлекались в моем кинотеатре. Вы ужинали с вашей многоуважаемой подругой в моем ресторане. В моих магазинах вы покупали кофе, муку, инструменты, обувь.

Я бывал в Надьвараде, но, конечно, не слышал этого имени. Отель? Такси? Ресторан? За кого он меня принимает?

— Ну ладно, Бауэр,— сказал я без особого воодушевления.— Так и быть, на сей раз я не накажу вас за дерзость. Ваше имя я хорошо знаю, только не думал, что это вы самый и есть. Держите, вот вам еще одна сигарета. Подарок от пролетария. Видите, как перевернулся мир. Скажите честно, вам ведь даже не снилось, что попадете в такую переделку? А теперь пошли за тюками.

— Переделка? Эх-хе-хе, это слишком мягко сказано... Но бог все же не оставит нас в беде: ни меня, ни господина фельдфебеля.

Во власти какого-то странного оцепенения я ответил:

— Разумеется. Ведь мы боремся за общее дело.

— Само собой,— мгновенно согласился Бауэр. Он доверительно подошел ко мне вплотную, так что я ощутил тяжелый запах, идущий от его драной одежды.— Каждый защищает родину на своем месте. Разве родине не нужен этот аэродром? Еще как нужен! А если так, то почему Бауэр не должен его строить?

Этот человек совершенно сбил меня с толку. Еще никто из согнанных сюда людей не разговаривал со мной

подобным образом, не пытался убедить меня в том, что счастлив работать здесь. Иными словами, пока никто еще не принимал меня за круглого идиота. Но с тех пор, как я вышел из-под влияния Такача и пытался жить собственным умом, во мне появилось что-то не поддающееся определению — это почувствовали и рядовые рабочие, и охрана.

— Однако война, к сожалению, очень сложная вещь,— продолжал болтать Бауэр.— Вот, например, обратите внимание: мой желудок не выносит жидкой пищи. Ему нужен хлеб, очень много хлеба, но где вы найдете сумасшедшего, который согласился бы обменять свою порцию хлеба на баланду? Нет-нет, этот вопрос я, конечно, ставлю вообще — так сказать, в масштабах человечества, на него все равно ведь никто не ответит. Командование и без меня имеет достаточно забот: стратегия, испытание нового оружия, потому что все-таки странно, как это русские от самой Москвы дошли, можно сказать, сюда. Я понимаю, командование этим серьезно обеспокоено, и не могу требовать, чтобы оно занималось еще и моим желудком.

Бог знает, как это получилось, но прошло целых полчаса, а мы за разговорами еще и не начинали работать. Бауэр на каждое мое замечание отвечал целым потоком слов; он изложил свое мнение о немецких танках, о поведении солдатских вдов, о Наполеоне, о древнеримских императорах. Давно меня никто так не развлекал; мне даже не пришло в голову, что разговаривать куда легче, чем работать. Наконец после обстоятельного рассказа о причудах и выходках императора Тиберия Бауэр перешел к сути дела: ему нужен хлеб, а за это он согласен записать на меня половину принадлежащего ему небольшого дома в Надьвараде.

Предложение это не было из ряда вон выходящим: в те времена заключалось множество самых невероятных сделок. Необычной была лишь цена, которую Бауэр предлагал за хлеб. Я уже хотел было швырнуть ему солдатскую пайку и послать ко всем чертям вместе с его домом, как вдруг меня осенила совершенно неожиданная мысль. Войну надо пережить, а значит, и после войны я должен как-то существовать. Война — явление временное, небольшая пауза в мирной, штатской жизни, экскурсия из вулканизаторской мастерской в комнату начальника ла-

герной службы. Мой мундир и вонючее тряпье Бауэра — это всего лишь маскарадные костюмы. Кончится маскарад — и костюмы будут сняты и снесены на чердак, это ясно как день. Мы разойдемся по домам: я вернусь в отсыревшую комнатенку, одну из тех, что домохозяева сдают таким, как я, пролетариям, Бауэр — в роскошные апартаменты. Я отлично помню свое последнее место работы: темную каморку с устойчивым, спирающим дыхание запахом каучуковой пыли, которая образуется при соприкосновении резины со шлифовальным кругом, эту пыль мне приходилось дважды в день стирать с блестящей галоши, выставленной в окне в качестве рекламы. А где был в это время Бауэр? Должно быть, разъезжал в автомобиле по заграничным курортам.

Так или иначе, именно в ту минуту, как показало дальнейшее, я и пошел с плохой карты.

— Кеви! — крикнул я ефрейтору, курившему в кухне у окна.— Пришлите ко мне нотариуса!

Ефрейтор бросил сигарету и смачно сплюнул: приказ пришелся ему не по вкусу. Светлые глаза его зло блеснули, когда он посмотрел в мою сторону.

— А если не будет нотариуса, господин фельдфебель? Часовщик сгодится?

— В другой раз, Кеви! Сейчас мне нужен нотариус. А с ним еще один человек, все равно кто, часовщик или поп.

Мы по всем правилам составили купчую, подписанную двумя свидетелями, не хватало лишь гербовой марки. Надо сказать, что в этом лагере люди были беднее церковных крыс: деньги, часы, авторучки, кольца — и действительно ценные, и дешевенькие — давно уже перешли в карманы охранников. Новые ценности не поступали, так как еврейские семьи в мае были увезены в гетто; румынский же контингент состоял в основном из рабочих с лесопильных заводов да крестьян, которые едва ли могли ждать из дома чего-нибудь другого, кроме нищенских посылок с хлебом, мамалыгой, салом. И вот я — по всему было видно — наткнулся на золотую жилу.

В кармане у меня лежал маленький листок бумаги, который стоил полдома. От этой мысли меня бросало в жар, и до конца дня я уже не мог ничем заняться всерьез, все валилось у меня из рук.

В тот вечер я был очень доволен, что Такач не придет ко мне, что я избавлен от необходимости смотреть ему в глаза: легко было угадать, что бы он сказал. По коридору то и дело ходили люди, фонарь беспрестанно раскачивался под потолком. В комнате было как-то особенно душно, словно вдруг резко возросло атмосферное давление; мне казалось, будто я нахожусь внутри огромной, туго надутой футбольной камеры. Я распахнул окно, но даже свежий вечерний ветерок не принес мне облегчения, не исчезло и тревожное ощущение, будто я застрял в какой-то тесной щели.

И все же тогда я был уверен, что делаю для Бауэра доброе дело. На следующий день я сам разыскал его, дал еще хлеба и сказал, что полдома — это все равно, что пол-лошади: далеко на ней не уедешь. Была составлена вторая купчая, и я стал полным домовладельцем. В эту ночь я совсем не мог спать. Стоя у открытого окна, смотрел на залитую лунным светом, вдоль и поперек перекопанную поляну, слушал спокойный шелест старых грабов и безмерно страдал. Луна поднялась красная, но отсвет ее на кронах деревьев был бледным, словно разбавленным. Вдруг под чьими-то шагами заскрипел гравий: вдоль барака, разговаривая по-румынски, шли трое — хотя рядовые трудовых команд не имели права выходить ночью из бараков. Впереди шел румын по имени Бондок, один из тех, кого недавно подвергли экзекуции, потому, собственно, я и запомнил его имя. Он тогда висел с краю и без единого стона терпел мучительную боль; когда я подошел, он посмотрел на меня снизу вверх и необычайно отчетливо для такой неестественной позы спросил: «Что, пришли полюбоваться на представление?» Глаза его горели неистовым огнем — такими я представлял себе глаза солдат, идущих в штыковую атаку. Сейчас он шел впереди, тяжелой неуверенной походкой. За ним двигался Лаци Такач, которого я узнал по низкому спокойному голосу: «Нет-нет, об этом даже не думайте. Доверьте это мне». Третий человек таким же низким голосом, лениво растягивая слова, проговорил: «Но только по указанию, когда придет срок». Мне не удалось их рассмотреть: через минуту они уже скрылись за поворотом. Некоторое время я еще гадал, что бы все это могло значить; если бы в тот день я не получил вожделенный ранг домовладельца, то, вполне возможно,

мне и удалось бы что-нибудь понять. Но, как всегда, я был занят своими заботами и даже на короткое время не мог забыть о лежащей в кармане купчей, о принадлежащем мне теперь доме, которого я никогда не видел, но который существовал где-то в темноте вот этой летней ночи, укрывшей землю, и уже самим фактом своего существования выделял меня из множества людей, ничем не владеющих.

6

Я приобрел еще один дом, правда, уже по четвертям. На последней четверти дело едва не застопорилось: мне нечего было за нее дать, а Бауэр утверждал, что именно эта часть дома самая лучшая, к тому же в ней расположен парадный вход.

И снова я совершил нечто такое, на что едва ли пошел бы неделю назад. Я вызвал к себе интенданта.

— Надеюсь, вы не обиделись на меня, Шомоди,— сказал я.— В армии должен быть порядок.

Он осклабился, жирный подбородок, заросший щетиной, с шуршанием растекся по воротнику.

— Что вы, господин фельдфебель, какой может быть разговор! Я к вашим услугам, извольте приказывать.

— Видите ли, мне тут понадобятся кое-какие мелочи...

— Разумеется, будьте спокойны, все будет сделано.

Он снова осклабился — почуял, видно, во мне гниль; я тоже улыбнулся и протянул ему руку: мириться так мириться.

Все шло как по маслу: и примирение с интендантом, и прочие дела. Правда, звучали во мне какие-то тревожные сигналы — только в то время я никому не позволил бы вмешаться и повернуть ручку стоп-крана. Особенно старательно я избегал Такача, хотя по вечерам, в сумерках, часто думал о нем.

Уже не проходило дня без какой-нибудь новой сделки. У нас с Бауэром вошло в привычку — как утренний подъем, усаживаться и писать очередной договор, после него я вручал ему требуемый товар: говяжью тушенку, кубики кофе, джем, хлеб, салями, сигареты. Для нас обоих это было лучшее время дня. Бауэр потирал руки,

подмигивал, нотариус по-домашнему раскладывал перед собой бумагу и официальным тоном спрашивал: «Итак, господа, что сегодня продаем-покупаем?»

Бауэр окреп, прибавил в весе: работу за него выполняли другие. Случалось — и нередко,— меня охватывали сомнения: действительно ли так богат этот Бауэр, действительно ли владеет всем тем, что мне продает? Однако страсть приобретения слишком глубоко успела меня затянуть, и, вместо того чтобы попытаться навести справки, я просто отмахивался от своих сомнений, боясь, что однажды утром окажусь ни с чем. Впрочем, это вообще было время чудес, время неограниченных возможностей: рассказывали, что у отступающих немецких частей за одну свежую булку можно приобрести железнодорожную цистерну, грузовик, танк, рояль, молодых девушек, автоматическую пушку. А меня в то время интересовала только эта сторона войны. Правда, лагерь лежал далеко от больших дорог, где шла оживленная торговля; однако здесь был Бауэр, настоящее золотое дно. Но странное дело: пока он толстел, я худел, слабел душой и телом, терял аппетит и сон, страдал головными болями.

Потому что все еще, особенно по ночам, нет-нет да поднимал во мне голос тот человек, который вместе с Такачем ненавидел окружающее, не боялся смотреть в глаза Кертесу, который посмел заступиться за истерзанных людей. Но человек этот становился все более бессильным, пока не превратился наконец в унылый, жалкий призрак.

Такач, конечно, все узнал — как и от кого, ему одному ведомо. Он вошел в мою комнату однажды вечером и долго, прищурясь, разглядывал меня; я чувствовал, что сдерживаемая ярость причиняет ему почти физическую боль, тем не менее он спокойным, уверенным движением достал сигарету, зажал ее в зубах и с презрением усмехнулся.

— Вот, значит, куда ты скатился, Шаркади,— сказал он.

— Куда?

— На дно сортира. Туда, где находится наш общий друг Кеви.

— До этого далеко,— ответил я.— Я еще никого пальцем не тронул, я знаю, что такое человеческое обращение.

— Блаженны нищие духом... Если тебя ничто другое не останавливает, следи хотя бы за сводками с фронта.

— О чем ты, собственно, говоришь?

— О твоей душе, идиот. Ты думаешь, для этих несчастных имеет значение, больше или меньше одним кровопийцей сидит у них на шее?

Разозленный, я крикнул:

— Ефрейтор, кругом марш!

К немалому моему удивлению, он вышел, не сказав больше ни слова. В эту минуту он отказался от меня окончательно.

И вот наступил день, когда Бауэр не захотел продать мне кинотеатр за несколько солдатских пайков хлеба и пару пачек сигарет. Миновали счастливые времена, когда я приобрел игорный дом «Дворец Ульманн» за две банки говяжьей тушенки, бар «Колибри» — за сотню сигарет «Хонвед», здание театра «Сиглигети» — за полящика джема и батон салями! «Венгерские помещики,— толковал мне теперь Бауэр,— за одну ночь могли прокутить или проиграть в карты все свои владения. Вы же не будете требовать от меня, господин фельдфебель, чтобы я поступал так же легкомысленно. Осмелюсь доложить, я должен думать и о семье». Наши споры о цене напоминали спортивные состязания; нотариус в азарте таращил глаза, свидетель громко глотал слюну — по лицу его было видно, что ему, как болельщику на стадионе, хочется подбодрить Бауэра громкими криками.

Уступать пока что приходилось мне. Я вызывал Шомоди и разговаривал с ним более жестко, потом еще жестче. Вконец запуганный, интендант прятался от меня в лесу и, грызя ногти, обдумывал планы побега.

Более всего меня бесило то, что, чем больше продуктов я давал Бауэру, тем с меньшей охотой он соглашался на очередную сделку.

Нет, меня совсем не устраивало, что он стал таким сытым и довольным. Мне нужен был изголодавшийся, ослабевший духом человек.

Я подобрал для Бауэра такую работу, которую никто не мог за него делать. Он должен был по ночам чистить картошку на кухне, а утром, едва дело доходило до завтрака, уже шагал со своим взводом к месту дневного наряда. Во всем, что касалось Бауэра, я предоставил ефрейтору Кеви полную свободу действий; надо сказать,

что в это время, по каким-то неясным причинам, Кеви начал проявлять ко мне симпатию, даже пытался завязать дружбу. Мое указание относительно Бауэра Кеви выполнял на совесть, так что тот очень скоро сбросил лишний жирок; ноги его подгибались, кожа опять покрылась струпьями, волосы потускнели и стали вылезать. Так продолжалось некоторое время, но затем — словно многочисленные испытания закалили его — Бауэр каким-то чудесным образом снова поправился, лицо его округлилось, походка обрела уверенность. Мне не оставалось ничего другого, как подозревать вмешательство потусторонних сил — потому что в нашем привычном и доступном ощущениям мире никому еще не шли на пользу такие вещи, как недостаток отдыха, скудная пища, адский труд и нечеловечески суровые строевые учения с целью поддержания дисциплины в лагере. Я всерьез начинал подумывать о том, не устраивают ли эти люди тайком спиритические сеансы? «Мистика, чистая мистика»,— бормотал я растерянно, наблюдая, как Бауэр с лопатой на плече бодро марширует перед окном и вскидывает руку для приветствия. Если можно сказать, что совесть я утрачивал по частям, то весьма значительную часть я отдал, чтобы сломить Бауэра,— и ничего не добился. Возненавидев Бауэра, я думал о нем так, как честные люди думают, должно быть, о грабителях с большой дороги.

Такач был прав: плесень здесь очень быстро делала свое дело.

7

Углубившись в тяжелые думы, брел я по лесу. Вообще лес я не любил, но сейчас словно почувствовал, что нужно привыкать к нему, так как вскоре мне придется долгое время дышать его терпким, чуждым для меня воздухом. На небольшой, щедро освещенной солнцем прогалине я увидел Бауэра и Кеви: они самозабвенно торговались, лежа в траве, речь как раз шла о какой-то бане на окраине города. В листве деревьев, начавшей уже блекнуть под дыханием холодных августовских туманов, насвистывал дрозд. Бауэр ел кусок хлеба, намазанный жиром, и капризно говорил: «Ну послушайте,

батенька, ну как вы можете мне такое предлагать? Ведь я должен думать о своей семье». И приводил аргументы: «Не сегодня-завтра, батенька, Гитлер пустит в ход новое оружие, мы выиграем войну, а я окажусь разоренным. Все же будут надо мной смеяться». А Кеви, эта скотина, грустно морщил лоб, не замечая, что Бауэр просто глумится над ним.

Так выглядело вблизи вмешательство потусторонних сил. Как выяснилось, Кеви наскучило бесплодное преследование своей жертвы, и он успешно пошел по моим стопам. Располагая более скромными возможностями, он покупал у Бауэра земельные участки, одноэтажные дома, акции стекольного завода; дело дошло до того, что Кеви отдавал Бауэру весь свой паек, голодал, о спокойном, здоровом сне мог только мечтать.

Я почувствовал, что бледнею.

— Так вот чего стоит моя дружба! — громко сказал я. Они замерли в траве, как застигнутые врасплох любовники.— Кеви! Марш на место!

Ветви кустов сомкнулись за ефрейтором. Бауэр встал. Тишина была полной. Мне не хватало воздуха, ладони стали мокрыми от пота; я чувствовал, что лечу куда-то вниз, в пропасть, но не пытался противиться судьбе; в конечном счете я подчинился ей еще в тот момент, когда оттолкнул от себя Такача. Некоторое время мы с Бауэром смотрели друг на друга, затем я размахнулся и дважды ударил его наотмашь. Лицо у него было щетинистым и странно твердым, словно я бил по дереву или по камню. Потом я пнул его. Бауэр закрыл лицо руками и попятился. Сминая кустарник, я кинулся следом, схватил его за ухо. Я дергал его за ухо и одновременно бил коленом в живот — в живот, который не выносил жидкой пищи.

— Вот тебе! Получай! Уж я сдеру с тебя шкуру!

Он что-то лепетал, превозмогая боль. Я отлично слышал его, хотя и не хотел слышать: он говорил, что делал все это ради своего взвода, иначе бы они умерли с голоду. Но я не желал понимать его, мне было совершенно все равно, что он там бормотал, потому что это произошло: я поднял руку на беззащитного человека, и теперь не имело ровно никакого значения, ударю я его один раз или двадцать. Я бил Бауэра до тех пор, пока он не свалился без сознания в кусты.

А дрозд, сидевший где-то в ветвях дуба, все пел, не обращая ни малейшего внимания на происходящее внизу. Подходя к комендантскому бараку, я еще слышал его трели. Веселые, чистые звуки летели за мной, словно хотели напомнить о чем-то далеком и таинственном. Перед дверью, на узкой, выложенной кирпичом дорожке, стоял связной, небрежно опираясь на свой запыленный мотоцикл; пыль лежала на его красном, исхлестанном ветром лице, густых бровях и костяной пластинке, видневшейся из-под лацкана коричневой кожаной куртки. Взгляд его, скользнувший по мне, выражал веселую насмешку.

— Ослепли, ефрейтор? — рявкнул я.— Встать смирно и отдать честь, дубина!

Не постучавшись, я влетел в комнату коменданта; я и сам не знал точно зачем, наверное, хотел сообщить Кертесу что-нибудь очень плохое о ефрейторе Кеви, настолько плохое, чтобы неприятные для ефрейтора последствия не замедлили сказаться. Кертес, сидевший за столом, сурово сверкнул на меня глазами.

— В чем дело? Можете врываться так к своей любовнице, фельдфебель, а не ко мне. Кругом марш! Отставить! Что вы хотели?

Перед ним лежал ворох бумаг, среди них — вскрытый пакет, сплошь заляпанный сургучом, да несколько карт. Обер-лейтенант как раз подчеркивал что-то синим карандашом и продолжал свое занятие, хотя мое появление и разозлило его; он подчеркивал каждую строку, а подпись и печать обводил кружками. Я хотел заявить, что Кеви в моем присутствии допускал порочащие родину высказывания и оскорблял самого господина Наместника *. Больше мне ничего не приходило в голову, так что оставалось — коли уж я сюда явился — выкладывать эту чепуху. Но Кертеса как будто уже не интересовало, что я собираюсь ему сказать: он, внезапно смел в сторону бумаги и, закрыв лицо руками, надолго замер в неподвижности. Так пытаются овладеть собой до глубины души потрясенные чем-то люди. Я не смел даже дышать, колени дрожали, чувство полной беспомощности вновь овладело мной. Наконец Кертес откинулся на спинку своего скрипучего стула, взгляд его был растерян.

---

* Официальный титул Хорти.

— Конец спокойной жизни, Шаркади,— сказал он глухо.— Мы получаем подкрепление: очень уж срочно нужен этот проклятый аэродром. Какое число было позавчера?

С трудом шевеля пересохшим языком, я прошептал:

— Двадцать третье августа, осмелюсь доложить.

— Вот-вот. Запомните этот день *.

— Есть запомнить этот день.

— Что бы ни случилось, мы выстоим — не так ли, Шаркади? А теперь распорядитесь: оба румынских взвода через полтора часа должны быть в походной готовности. Передадите их конвою.

Он снова был прежним: решительным жестом указал мне на дверь, глаза его блеснули злым огнем. Я повернулся кругом. Пальцы саднило, особенно на сгибах: не простое, видно, это дело — избить человека и при этом не повредить себе руку. Перед бараком все еще стоял связной, как раз в тот момент он угощал сигаретой Такача. Оба широко ухмылялись. Я прошел мимо, но взгляд их еще долго жег мне спину. Хорошо было бы спросить у кого-нибудь, чем так удручен Кертес, и почему мне нужно запомнить день двадцать третьего августа, и чему радуются эти двое, и зачем забирают румын, и как это я пал так низко, что у меня саднит кулак, разбитый о челюсти затравленного, жалкого существа. Да, все это мне крайне важно было бы знать — но я шел, глядя перед собой, как слепец, а единственный человек, который мог бы все объяснить, с откровенно мрачной насмешкой смотрел мне вслед.

8

К вечеру, в сумерки, увели румын. В лагере нарастало беспокойство, из бараков доносился приглушенный ропот. Мы удвоили охрану. После полуночи прибыла рота саперов; шорох травы под их низкими, с широкими голенищами сапогами наполнил спящий лагерь. Командир саперов — светловолосый, в очках инженер в чине обер-лейтенанта — тут же обошел с фонариком в руках всю территорию будущего аэродрома, покрытую канавами, яма-

* 23 августа 1944 года Румыния вышла из гитлеровской коалиции и объявила войну Германии.

ми, кучами земли. За ним по пятам смиренно и молча ходила группа унтер-офицеров. Позади всех ковылял Корпа, который до сих пор был в лагере главным техническим специалистом.

С восходом солнца на плато, еще покрытом обильной росой, закипела лихорадочная работа. Согнутые спины, напрягшиеся мышцы, взлетающие вверх кирки, длинная вереница скрипучих тачек, крики и беготня унтер-офицеров — все выглядело так, словно через каких-нибудь полчаса враг будет здесь. Война была совсем близко, пряталась на опушке, в тени старых грабов. Двое связистов натягивали красный шнур полевого телефона между крайними деревьями и комендантским бараком, один из них время от времени уныло и хрипло кричал в висящую на шее трубку: «Алло, сто седьмой! Алло, сто седьмой!» Из барака поспешно вышел Кертес и, увидев меня, остановился. Меня бросило в жар. Однако он приказал немедленно выстроить на плацу весь наличный состав трудовых команд. Подошел командир саперов и, протирая очки, смерил Кертеса взглядом с головы до ног.

— Выстроить? Сейчас надо работать, господин обер-лейтенант.

— Здесь я комендант,— деревянным голосом ответил Кертес.— Быстро, Шаркади, выстроить всех.

Я махнул бездельничающему на солнцепеке цыгану Раффи, тот забежал в барак, вынес помятую, с пятнами зеленой ржавчины трубу и, надув щеки, затрубил. Он играл сигнал тревоги, пронзительную, отрывистую мелодию, от которой вздрагивали листья на деревьях и хотелось бежать куда-то.

Вероятно, я последним в лагере узнал, что один из офицеров после побудки нашел в бараке, на полу, странный листок бумаги. Старательно выведенными печатными буквами на нем было написано: «Гитлер и фашизм находятся на краю гибели. Румынская армия повернулась против немцев. Чего вы ждете? Доколе будете терпеть?»

То же самое и той же рукой было написано синим мелом и на задних стенах бараков. Когда все построились, Кертес объявил, что прикажет расстреливать каждого, у кого будут обнаружены вражеские листовки. Сразу после этого появилось еще семь листков, но установить, у кого они были, не удалось. Рабочие просто бросали листовки на землю, и ветер относил их в сторону.

Я посмотрел на Такача: безучастный взгляд его был направлен не на Кертеса, а на лица людей в строю.

Саперный обер-лейтенант высказал предположение, что листовки были сброшены русским самолетом. Однако русские не могли исписать мелом стены бараков.

Не прошло и трех часов, как в лагерь прибыл капитан контрразведки. Обосновавшись в комнате Кертеса, он приступил к допросам. В числе других на допрос вызвали и меня; я не посмел сознаться, что бумага, на которой были написаны листовки, и синий мел похищены из моих запасов конторских принадлежностей.

На следующий день взяли двоих рабочих из взвода ефрейтора Кеви; по всей вероятности, он и донес на них. До самого вечера из пустого барака, в котором прежде жили румыны, неслись страшные крики. Я впервые слышал такие крики, и они действовали на меня как сорокаградусная температура: голова гудела, губы пересохли и потрескались; казалось, еще немного, и я брошусь бежать — все равно куда, лишь бы подальше отсюда. Двое унтер-офицеров, выделенных в помощь капитану контрразведки, поочередно выходили к колодцу мыться; они выглядели усталыми и словно бы немного захмелевшими.

К вечеру вопли прекратились. Капитан ушел к Кертесу, он проследовал мимо меня, бледный и спокойный, в пальцах дымилась сигарета «Мемфис», блекло-голубые глаза были задумчиво сощурены. Поздним вечером меня вызвали на допрос. В ужасном волнении переступил я порог комнаты; кроме всего прочего, я опасался, что они почувствуют запах казенной водки: в течение дня я выпил ее довольно много. Кертес лежал на кровати, вытянув босые ноги; Корпа чистил себе ногти крохотной щеткой; казалось, оба они находятся в приподнятом настроении. Капитан листал толстую пачку бумаг, яркий свет падал на его костлявое лошадиное лицо, я разглядел несколько бритвенных порезов на щеках и сеть мелких лиловых прожилок на носу. В пепельнице, сделанной из консервной банки, горкой громоздились окурки, капитан как раз сунул туда еще один наполовину выкуренный «Мемфис».

— Соберитесь с мыслями, фельдфебель,— сказал он бодрым голосом.— Давайте поговорим о людях.

— Осмелюсь доложить...

Больше я ничего не успел сказать. В дверь без стука вошел Лаци Такач и, словно случайно, так толкнул меня,

что я едва не упал на печку. Бог знает почему я обратил внимание на его кобуру: она была расстегнута, и в ней хорошо виднелась желтая рукоятка пистолета 37-го калибра. С этой минуты я больше не двигался, испытывая глубочайшее равнодушие ко всему на свете.

Кертес приподнялся на локте и, чтобы лучше видеть дверь, оттолкнул в сторону лейтенанта.

— Если срочно, выкладывайте,— сказал капитан.— Если нет, кругом марш.

— Срочно, господин капитан,— ответил Такач. Он оглядел комнату, еле заметно пожал плечами.— Хочу, чтобы вам все стало ясно с этими листовками.

— Подойдите ближе. Сядьте. Говорите тихо. Фельдфебель, вы можете удалиться,— коротко распоряжался капитан.

— Мне и здесь хорошо, у двери,— тихо сказал Такач. Казалось, он вот-вот улыбнется, но лицо его оставалось неподвижным, неподвижным и серым, как выдержанная в воде кожа.— Господин фельдфебель тоже пусть остается, свидетели вам понадобятся.— Он насмешливо и с вызовом оглянулся на меня, потом, сохраняя на лице все то же выражение, снова повернулся к капитану.— Листовки писал я. И я же их разбросал. Жаль, если господа будут недовольны, но я убежденный коммунист.

Прошла целая долгая секунда, пока мы осознали смысл его слов. За эту секунду Такач — невыносимо медленно, как мне показалось,— вытащил из кобуры пистолет и большим пальцем плавно, без щелчка взвел курок. Из всех, кто был в комнате, я один по-настоящему знал Такача. Они, должно быть, думали, что он сейчас положит пистолет на стол и отдаст себя в их руки; лишь я знал, что произойдет нечто совсем другое, и меня вдруг кинуло в холодную дрожь. Первая пуля впилась в стену над головой Кертеса, вторая попала в капитана, свалив его со стула. Корпе Такач отвесил левой рукой полновесную пощечину, которая прозвучала тоже как выстрел; лейтенант рухнул на Кертеса, который все еще лежал на кровати, нелепо выставив перед собой согнутую руку.

С треском захлопнулась дверь. Прежде чем кто-либо из нас успел броситься за Такачем, он выстрелил еще раз; фонтаном брызнули щепки; на полке, рассыпав синеватые искры, вдребезги разлетелась пустая коньячная бутылка. Некоторое время было тихо. Потом, уже с конца

коридора, отчетливо донесся голос Такача: «Ну, куда несешься, дуралей? Давай сюда ружье и беги за санитарами: патроны в печку попали».

Жизнь наконец вернулась ко мне, точнее, мне вдруг стало жутко от яркого света, заливавшего комнату, и, схватив полено, я сбил со стола лампу. Посыпались осколки, стало темно. Толкая перед собой лейтенанта, в коридор выскочил Кертес и, вновь обретя голос, завопил в неестественно гулкой тишине: «Тревога! Тревога!» Я остался в комнате и ощупью добрался до окна: огромная оранжевая луна висела в небе, освещая лагерь; Такач быстро и легко бежал по сухой, вытоптанной траве к дальнему углу колючей изгороди, в левой руке он держал ружье. За ним неуклюже рысили несколько охранников. «Куда ты, дурак, там же проволока»,— шептал я, еще чувствуя на потной коже холодное прикосновение смерти. Со злорадством ожидал я момента, когда Такач запутается в изгороди. Темноту вокруг меня наполнял кисловатый запах порохового дыма, первого порохового дыма, который не на стрельбище ударил мне в ноздри. Он проникал в душу, рождая в ней страх и ненависть.

Такач добежал до проволоки и, проскользнув через нее, как призрак, слился с лесным мраком; я не сомневался, что он без остановки мчится дальше. Однако, когда первый из преследователей приблизился к изгороди, Такач из-под ветвей выстрелил ему в грудь, выстрелил с такого близкого расстояния, что пламя из ствола разлилось светящимся пятном по кителю солдата.

Остальные бросились на траву.

Но Такач, сделав свое дело, исчез уже окончательно, растворился во тьме ночного леса. Он сбежал в последний момент. Должно быть, почувствовал, что в этот вечер я предам его.

Под столом захрипел капитан. Это было неожиданно: я совсем забыл о том, что нахожусь в обществе подстреленного офицера. Я заорал:

— На помощь! Врача!

Лагерь шумел и клокотал. Охрана блокировала бараки. Поднятые по тревоге саперы дали несколько залпов в сторону немого темного леса; трещали ружья, пороховой дым беспорядочными клубами поднимался к желтому диску луны.

В мрачном, подавленном настроении продолжала свои обычные дела лагерная охрана; рабочие же взволнованно ждали каких-то событий. Часовые заступали на посты по двое. Только мне словно бы ни до чего не было дела: в последнее время на меня свалилось слишком много потрясений и я никак не мог прийти в себя, не мог освободиться от ощущения какой-то бесконечной душевной усталости. Мысли мои постоянно вращались вокруг Такача, он даже снился мне по ночам. Я не знал, где он, жив ли еще или, может быть, сложил в лесу голову, но я постоянно чувствовал, что для меня он по-прежнему остается источником неведомой опасности, грозным и неумолимым судьей. И еще я чувствовал, что навсегда утратил возможность жить по-иному. Думая о Такаче, я чаще всего видел, как он, с озабоченным лицом, в рубашке с засученными рукавами, сидит, уронив мускулистые руки, на моей кровати, похожий на усталого рабочего, или, стоя у двери в комнате коменданта, спускает курок, и веки его даже не вздрагивают от грохота выстрелов.

Это мне отчетливо запомнилось: веки его даже не дрогнули, когда он стрелял. В моем воображении Такач вырастал в сказочного, невероятной силы великана, который принимал то облик рабочего, то облик солдата, но всегда оставался могучим, спокойным, целеустремленным. Я чувствовал невыразимое облегчение оттого, что его более нет в лагере, и в то же время с его исчезновением на меня обрушилось страшное одиночество.

Напряженный темп работ сохранялся в лагере и во время нового расследования — и вот однажды, на ранней заре, мы были разбужены оглушительным гулом. Звенели стекла в окне, дробно стучал о кувшин стоящий возле постели стакан с водой, с потолка сыпались крошки зеленой масляной краски. Сбросив одеяло, я босиком выскочил из барака. Гул перешел в нестерпимый рев: почти касаясь крыш, на поляну садился выкрашенный в жабий цвет, толстобокий самолет. Когда он покатился по земле, вслед за ним взметнулись облаком сухие листья, мусор, пыль. Тут же подбежали солдаты и, взявшись за хвостовое оперение, уволокли самолет под прикрытие деревьев. С тем же грохотом, визгом, свистом опустился и второй самолет, затем, один за другим, еще несколько.

Все утро на прибитую траву поляны сворачивали с дороги автоцистерны с бензином, походные мастерские, тягачи с зенитными орудиями и в мгновение ока исчезали под раскидистыми кронами буков и грабов. Солдаты в касках натягивали между деревьями маскировочную сеть с крупными ячейками.

А ночью меня растолкал вестовой: часовые подали сигнал воздушной тревоги. В лесу стояла сонная, ничем не нарушаемая тишина. Лишь где-то далеко-далеко в черном небе слышалось слабое и словно бы даже болезненное урчание. Да деревья вздыхали под ветром.

— Все тихо,— сказал я, натягивая до подбородка одеяло и ощупью пытаясь найти на столе сигареты.— Улетел, наверное.

— Да нет, обождите,— прошептал в углу Келемен.— Это над нами «тетка Мария» кружит. Я ее еще с Дона знаю, от нее добра не жди.

Шумно копошась, с охапьем и стонами он улегся на полу.

— «Тетка Мария» прилетела, значит, фронт близко,— добавил он.— Хороши дела, ничего не скажешь.

Высоко над лагерем прожужжал самолет. Потом он возвратился и начал кружить, словно жук-рогач, который поднялся в воздух и теперь не знает, куда лететь. Лагерь затаил дыхание; только из леса, где стояли зенитки, слышался приглушенный металлический лязг. Затем откуда-то возник и стал расти свистящий вибрирующий звук — и вот тишина ночи с треском раскололась. Свет плеснул в окно, дрогнула земля, лес загудел, и на толевую крышу барака градом посыпались комья земли.

— Эй, на батарее, соблюдать тишину! — завопил где-то среди деревьев командир саперов.— Лейтенант, не смей стрелять!

— Ну, что я говорил? — торжествовал в своем углу вестовой.

И снова загудел лес. Выскочив из постели, я упал ничком на пол, прижался лицом к холодным доскам, сдавив ладонями уши. По коридору кто-то пробежал, издали сквозь стену донеслись крики, топот, ругань.

— Не выходить! Оставаться на местах! Кто высунется, получит пулю!

Грохнул ружейный выстрел, потом еще несколько, кто-то громко, протяжно закричал от боли. У второго ба-

рака — здесь помещался взвод, которым раньше командовал Такач,— рассвирепевшие охранники сдерживали рвущихся наружу рабочих. Я встал на колени и выглянул в окно. Из-под ветвей, ревя моторами, с зажженными фарами выкатил самолет-истребитель, выскочил на стартовую дорожку, но, конечно, не сумел удержать направление. Ухнув в какую-то яму, он перевернулся и лег, подняв к небу колеса; фары его несколько секунд продолжали гореть, отбрасывая сноп света назад, на замаскированные самолеты и круто задранные вверх стволы зенитных орудий. Третья бомба упала немного дальше, в чаще леса, осколки ее просвистели над палатками саперов. Кто-то рванул дверь и вошел в комнату, в руке вошедшего светился огонек сигареты; я судорожно скорчился на полу, словно огонек этот обжигал мне кожу. Сейчас я физически не мог выносить никакого света, который нарушал спасительную тьму. Снаружи не смолкали крики и шум, а здесь, в бараке, стены распирала дурманящая тишина. Я не смел шевельнуться, но, когда сообразил, что надо мной потолок и крыша и что дьявол, который летает над лагерем в океане мрака, не может увидеть огонек сигареты, меня пронизало ощущение безграничного счастья.

Тлеющий столбик пепла сломался и упал на пол. Смятение и страх охватили меня с новой силой, еще плотнее прижали лицом к полу. Разве мог я когда-нибудь хоть на минуту допустить, что война придет сюда! Я почувствовал, что жизнь моя теряет всякий смысл, всякую ценность перед лицом надвигающихся страшных событий.

— Шаркади! — услышал я голос Корпы.— Вы здесь?

Я не ответил. Корпа вышел, хлопнув дверью. С потолка опять посыпалась краска. Незаметно, как роса, опустилась на поляну, затопила ее тишина; безмятежный рокот одинокого самолета затерялся где-то среди искрящихся звезд. Мне стало холодно. В коридоре заспорили офицеры.

— Да нет же, господин обер-лейтенант, я должен был стрелять! Ведь если вражеская авиация...

— Полно, лейтенант, не раздражай меня! Стрелять просто так, в воздух, в темноту, куда попало? Чтобы выдать неприятелю цель, так что ли? Этот полоумный пилот и без того устроил нам отличную иллюминацию.

Кто-то громко засмеялся. Резкий голос Кертеса положил конец спору.

— Что, господа, развлекаемся? Гажи, отправляйся во второй барак и подробно доложи мне, что там произошло. Господа, не угодно ли зайти ко мне?

Скрипнула дверь. Слышно было, как командир саперов бесстрастно сказал:

— Лейтенант, ты законченный идиот...— Потом дверь захлопнулась. Вздыхая, улегся я в кровать и накрылся одеялом. Я бы тоже должен был находиться сейчас у второго барака, выяснять, что там произошло, но выходить на улицу не хотелось. В углу захрапел Келемен.

— Ну и нервы, чтоб тебя... Эй, слышишь? — громко окликнул я его. Но на вестового это не произвело никакого впечатления. Лишь его храп и просачивающиеся из комнаты коменданта невнятные обрывки разговора нарушали гнетущую тишину, да порой тихо посвистывал ветер в щелях оконной рамы. В постели я мерз еще больше, чем на полу. Одеяло казалось холодным, жестким и шершавым, как брезент. Келемен вскоре проснулся, пробормотал что-то и, качаясь, вышел из комнаты. Вот и добралась до нас война, послышалось мне в его бормотании.

10

Эскадрильями — по семь самолетов — прилетали ширококрылые черные штурмовики; неспешно, обстоятельно описывая круги над поляной, они били по нам из автоматических пушек и целыми связками роняли большие, как мины, бомбы. Иногда над лагерем, совсем низко, с ревом проносились скоростные бомбардировщики; они были уже далеко, когда сброшенные ими бомбовые серии, как удары хлыста, полосой вспарывали землю. Факелами вспыхивали наши самолеты, получившие прямое попадание, пламя их озаряло все плато; зенитные батареи с лязгом выплевывали снаряды в бесконечную ширь небосвода, ливень осколков сыпался вниз.

Рано начавшая желтеть листва старых грабов покрылась копотью, стволы были изрешечены осколками. Ветер нес над лагерем едкий дым. Почти каждый день мы хоронили убитых. В тишине, без всяких обрядов засыпали землей, пополам с щебнем, покойников, которым не по-

ложено было уносить с собой в могилу ни ботинки, ни другое казенное имущество. Смерть круглые сутки разгуливала среди нас, и мы все время ощущали ее ледяное дыхание; лишь украдкой поглядывали мы друг на друга, гадая, кто же будет следующим.

Изредка я вспоминал о прошедшем лете, и при этом у меня было такое ощущение, что с момента, когда я впервые услышал жалобный скрип тачек, прошли целые годы. Куда я скатился за эти несколько недель? Чем я стал? Во что превратился мир вокруг меня?

Отбыли из лагеря саперы. Вши, оставшиеся там, где стояли палатки, упорно ползли в сторону бараков. Кертес зверел все сильней. С тех пор как пуля Такача просвистела над его головой, желтые глаза коменданта окончательно утратили человеческое выражение. Он понимал, что расчеты его не оправдались и что поправить уже ничего нельзя. Но признать свое поражение он тоже не мог. Отбросив вожжи, он продолжал твердо держать в руке кнут, с невероятной жестокостью наказывал подчиненных за малейшую провинность. Запуганные охранники, находясь в каком-то постоянном приступе судорожной ярости, гнали рабочих засыпать воронки, строить укрытия, хоронить мертвых — словом, делать что-нибудь, все равно что.

Сначала я метался в этом водовороте грязи и крови подобно бездомной собаке, ища кого-нибудь, за кого можно было бы держаться, кому можно было бы доверить свою жизнь. Но люди вокруг меня, все до одного, были ничтожны и внушали отвращение, один лишь Кертес выделялся среди них своей не знающей границ энергией. Мне уже нечего было терять, кроме собственной жизни, и я без всякого сопротивления позволил вовлечь себя в орбиту его бешеной деятельности. Небритый, грязный, в помятой форме, носился я целый день между бараками, приводя людей в отчаяние своими хриплыми воплями. Численный состав рабочих команд угрожающе падал: многие бежали, другие — и среди них несчастный Бауэр — лежали под тонким слоем земли на кладбище за сортирами. Бауэр погиб не от пули: он свалился во время работы и заплакал скрипуче, прерывисто, из-под сомкнутых век его горошинками покатились мелкие частые слезы. Когда же смерть подошла к нему вплотную, он открыл глаза и посмотрел на меня. Не знаю, почему именно на меня. Может быть, случайно...

Все надежды я возлагал теперь на летчиков. Стараясь угодить им, я хлопал их по плечу и кормил сухарями. Усталые, с синевой под глазами, пилоты в перерывах между бомбежками бродили среди деревьев, засунув руки в карманы, молча сосали сигареты да глядели из-под ладони на горизонт, где клубами поднимался дым от горящих лесопилок Марошвашархея.

Во второй половине сентября летчики улетели совсем. За ними уползли и зенитные батареи, снова мы остались одни. Разбросанная всюду, ставшая ненужной маскировка, искореженные обломки машин, горелая, копотью покрытая трава — все это под моросящим осенним дождем представляло собой унылое зрелище. Поступил приказ копать в лесу, на южном склоне плато, оборонительные укрепления. Для кого, с какой целью — это уже никого не интересовало. Шел дождь, порывы холодного ветра срывали и далеко уносили ярко-желтые листья буков, золотистый ковер укрывал черную вымокшую землю. Но вот и темно-серые тучи наконец ушли за горизонт, и выглянувшее солнце осветило мокрый лес, изрытое вдоль и поперек плато, одиноко торчащую сторожевую вышку, почерневшие, пустые бараки, обломки сожженных самолетов, лужи на дне воронок. С севера доносился грохот орудий — тех самых орудий, которые еще вчера слышны были с юга. Война попросту перешагнула через лагерь. В одиночестве брел я по грязным лесным тропинкам, жуя куски заплесневелого хлеба. Я не знал, куда и зачем иду. Часто колючий кашель сотрясал все мое тело, я кусал кулак, чтобы сдержать рвущиеся из груди хриплые, свистящие звуки, которые, как мне казалось, вспугивали тишину даже в самых дальних уголках леса.

Случалось, что в чаще мне встречались одичавшие, обросшие немцы с затравленным взглядом, как и я, они скрывались в лесу, ожидая неизвестно чего, порой из зарослей кустарника я видел быстро идущих по дороге молчаливых солдат в чужой форме.

Документы на купленную у Бауэра недвижимость я спрятал в укромном, надежном месте — среди развалин кирпичного завода. В глубине души у меня все еще жила робкая надежда, что эти бумаги когда-нибудь мне пригодятся. В тот же день после полудня я лег поспать в каком-то сарае, на сеновале, не сняв формы, с пистолетом на ремне. Под головой у меня лежала штатская одежда,

которую я, угрожая оружием, снял с какого-то насмерть перепуганного старого цыгана, в сумерки я собирался переодеться. Проснулся я оттого, что трое молодых русских солдат, весело смеясь, щекотали мне соломинкой ноздри.

Возвращаясь домой после двух лет плена, я сделал небольшой крюк, чтобы побывать у кирпичного завода,— среди осыпающихся стен его к тому времени окончательно воцарились тлен и запустение. Я уже знал, что у Бауэра не было ничего, кроме жалкой библиотеки, из которой он за гроши выдавал желающим книги, так что эти купчие могли послужить лишь вещественным доказательством моей вины. Именно поэтому я хотел удостовериться, достаточно ли изгрызли их мыши. Но связка лежала на прежнем месте в целости и сохранности: видно, преступление и свидетельство преступления менее всего поддаются действию времени. Когда я заскорузлыми дрожащими пальцами дотронулся до желтых листков, перевязанных шнурком, в щелях стен прошелестел ветер, словно старые, развесистые грабы зашептались у меня над головой. Долго стоял я в неподвижности, согнувшись под грузом вновь настигшей меня нищеты. Я был один в этом печальном мире пыльных рыжих стен, лопуха и крапивы, буйно разросшихся в кирпичном крошеве. Медленно начал я рвать сухие листки на мелкие кусочки, бросая их под ноги, в бурьян. Из вентиляционного отверстия высоко в стене вдруг выглянула какая-то птица с кривым клювом, и глаза ее, мне показалось, насмешливо блеснули. Я отпрянул, швырнул на землю шнурок, который еще держал в руке, и выбежал из замкнутого кирпичными стенами пространства на луг, где медленно плыли, поблескивая на солнце, невесомые ниточки паутины.

11

Всю зиму я валялся в постели и читал. Мне попадались какие-то старые книжки, журналы, календари — я прочитывал их от корки до корки и тут же забывал.

Несколько раз сестра начинала рассказывать мне о смерти матери, но я обрывал ее и просил говорить о чем-нибудь другом. Сам я тоже ни словом не касался того, что со мной было в плену и до плена.

Окно мое выходило в сад, я часами смотрел на голые ветки молодых плодовых деревьев — порой мне казалось, они вздрагивают и ежатся от холода,— на цепочки кошачьих следов в снегу. Собак в те времена не держали: людям самим было нечего есть. Ида, моя сестра, пыталась завести со мной разговор о войне, о засухе, о голоде, о том, чего можно ждать от демократического правительства Грозы; иногда она приносила домой газеты, но я использовал их только для растопки: слишком свежими они были, слишком не хватало им пыльного покоя давно минувших времен. Ида — высокая, рыжеволосая, прямая, как палка, и строгая, как монахиня, старая дева — к тому времени уже сильно поседела. Она носила шерстяные чулки собственной вязки и солдатские ботинки с подковами. Холодные зеленоватые глаза ее часто останавливались на мне с немым укором — особенно в те дни, когда весь рацион наш состоял из клейкой массы, называемой хлебом, или одной-двух картофелин. Я не обращал на нее внимания; даже когда она начинала пересказывать городские новости, я старался ее не слушать. И без того было ясно, к чему она клонит: мол, побездельничал вволю, пора наконец искать работу.

Чего ради стал бы я тревожить ее скудное воображение, заявив, что просто боюсь выходить на улицу?

Днем, если Иды не было дома, я не топил печку. Забравшись под одеяло, я читал или просто смотрел в потолок; во мне отказал какой-то механизм, и я не знал, как его снова пустить в ход. Собственно, я бы с радостью держался за жизнь, боролся за существование, но не мог на это отважиться: ведь если впереди неудача, провал, то лучше потерять как можно меньше. Уже несколько месяцев я был дома и знал об окружающем мире едва ли больше, чем в первые минуты после возвращения. Вода в кувшине на столе застывала и с хрустом распирала изнутри эмалированную жесть; вечером, когда мы разжигали печь, кувшин приходилось ставить к огню, чтобы он оттаял. Вот так же замерзла и моя душа, порой я чувствовал, как что-то внутри давит, разрывает меня, однако мне не могла помочь даже дышащая жаром печка.

Однажды, часов в одиннадцать утра, в дверь постучался крестьянин с заиндевевшими усами. Он продавал говяжье сало, была у него и бутылка водки, которую он прихватил с собой в дорогу,— уж очень сердит был ветер

на холмах в окрестностях Торды*. Вытащив из буфета припрятанные сестрой деньги — все равно их стоимость падала с каждым днем,— я отдал их все за водку. Я отчетливо запомнил лишь, что снова улегся в постель и начал пить, дальше все было словно в тумане. Водка растопила застывшие во мне чувства, уже забытые, потерявшие под собой реальную почву. Кажется, я распевал солдатские песни, плакал и грозился, что ужо наведу порядок в этом паскудном мире. Ида, вернувшись домой, отпаивала меня молоком, а потом держала передо мной таз и с величайшей грустью говорила: «Вот куда уходит драгоценное молоко!» Не помню, что я ей тогда наболтал, только с того дня Ида часто испытующе смотрела на меня и ни словом не заикалась о работе. В конце концов она достала где-то станок для вязки чулок и терпеливо обучила меня обращаться с ним; целыми днями я работал дома, один, закрыв двери, без чувств и мыслей, становясь и сам чем-то вроде машины.

К тому времени Ида уже не заговаривала со мной ни о правительстве Грозы, ни о коммунистах. Когда вечером она смотрела, сколько я навязал за день, глаза ее загорались, руки мелко дрожали. Несмотря на усталость, она садилась к станку и работала еще час или два. Крррр! — вперед, крррр! — назад,— под эти звуки я обычно засыпал. Для меня оставалось загадкой, где она достает шерсть, кому сбывает готовый товар. Ида ничего об этом не говорила, но зато приносила домой все больше денег и, главное, все больше продуктов. Когда к нам заходил усатый крестьянин, я платил ему за водку уже из собственного жилетного кармана. Пил я каждый вечер — хотя бы несколько глотков,— иначе мне не удавалось заснуть.

Я привык к четырем стенам, к маленькому садику, куда с наступлением весны выходил иногда подышать свежим воздухом, привык к водке и металлическому стрекоту станка: к этому кругу сводился теперь для меня весь мир, и восстановление экономики страны, и сама история. Голодное время еще продолжалось, но мы не знали голода. Пропасть между людьми становится особенно глубокой тогда, когда одни совсем перестают чувствовать то, что чувствуют другие, которых большинство.

* Торда — венгерское название города Турды в Трансильвании.

Однажды Ида пришла домой очень рано. Остановившись на пороге, она оглядела комнату, нервно помаргивая, и направилась прямо к ящику, где мы держали инструменты.

Я догадался: опять пришел конец моей спокойной жизни, если, конечно, вообще можно было говорить о покое, понял я и то, что на меня снова обрушилось не стихийное бедствие, предусмотреть, избежать которого человек не способен, а нечто такое, в чем виноват прежде всего я сам. Я не двинулся с места.

— Станок разобрать,— командовала Ида.— Быстрее. Все уничтожить. Оставшиеся нитки тоже. Живей, парень, живей.

Так все выяснилось. Мы вязали чулки из краденой шерсти — конечно, не только мы с Идой,— готовый товар поступал к каким-то темным людям, которые меняли его в деревне на продукты, а продукты по вздутым ценам продавали в городе. Теперь всю группу, занимающуюся этим, выследили и поймали; не приходилось сомневаться, что очередь скоро дойдет и до нас. С наступлением темноты Ида все отнесла куда-то, должно быть, бросила в речку Пеце — и утром, когда я проснулся, мне снова нечем было заняться. В тот день Ида тоже осталась дома, она молча хлопотала на кухне, лишь негромкий звон посуды напоминал мне, что я не один. Шли минуты — бог знает сколько их миновало; я сидел на кровати и думал о том, что мир во мне, видимо, совершенно не нуждается. Я достал бутылку. Через некоторое время в комнату вошла Ида и оглядела меня с головы до ног.

— Думаю, ты и сам понимаешь, что тебе придется искать работу,— сказала она холодным, размеренным тоном.— Я тебя содержать не буду.

— Что ты там мелешь, жалкое существо? — ответил я с презрением. Когда я хмелел, мне казалось, что весь мир лежит у моих ног и повелевать им — моя святая обязанность.— Придет время, я сам тебе скажу, будешь ты меня содержать или нет.

Резким движением она схватила меня за руку. Удивительно, сколько в ней оказалось силы: она стряхнула меня с кровати, как ненужную тряпку.

В тот же день я перебрался из Торды в Марошвашархей, ко второй моей сестре.

Илона, вдова чиновника лесного ведомства, была швеей. Жила она в собственном домике у железнодорожной насыпи, в глубине запущенного, одичавшего сада; за домом стояли ульи, когда-то ярко расписанные, а теперь выгоревшие, поблекшие. Когда я приехал, Илона переселилась в кухню, там стояла ее швейная машина и валялось множество истрепанных модных журналов. В моем распоряжении осталась горница — темная, пахнущая сыростью комната, в которой само время, казалось, село на мель и томится в бездействии. Окна здесь были завешаны шторами в несколько слоев, кружевными, полотняными, из выцветшего бархата; между ними, потеряв надежду найти выход, жалобно жужжала одинокая муха. С потолка на тонкой медной цепочке свисало полушарие абажура. Стены были оклеены бесцветными, во многих местах отставшими обоями, на них в тяжелых рамах висели старые безвкусные картины, которые обычно продают на базарах глухонемые, и семейные фотографии. В горнице стоял массивный орехового дерева буфет со множеством ящиков и ящичков, весь уставленный вазами, винными и кофейными сервизами, побитыми фарфоровыми статуэтками. Кроме того, здесь был большой овальный стол, накрытый зеленой, вышитой золотом скатертью, четыре кресла с гнутыми ножками и неудобными, прямыми спинками, диван, жестяной умывальник, пара лыж и на верху буфета томов двадцать сочинений Йокаи в золоченых переплетах. Пол был сделан из широких досок, покрытых толстым слоем желтой краски. Весь дом пропитался запахом сырости и плесени: Илона, как реликвию, берегла даже затхлый воздух. Главным украшением горницы служила, конечно, вставленная в массивную раму, раскрашенная от руки фотография: на ней изображен был ныне покойный чиновник лесного ведомства, в короткой шубе, с охотничьим ружьем в руке, в обществе свирепо оскалившего зубы медведя; видно было, что над медведем уже основательно потрудилась моль.

Я очень скоро свыкся, слился с обстановкой этого дома, где благотворная тень надежно укрывала меня от глаз людских. Тень для меня, как для плесневого грибка, стала жизненно необходимой. Уже год я жил в этом городе, но каждый раз, когда нужно было выйти на улицу,

меня охватывала нервная дрожь. Мне казалось, что вот-вот кто-то окликнет, схватит меня за руку; этот страх настолько въелся в душу, что мне повсюду чудился злорадный крик: «Ага, вот ты где, фашист проклятый!» — даже на безлюдной, пыльной улице мерещились бегущие за мной люди. Найти работу — пусть не по специальности — в то время уже не представляло труда: восстановлены были многие заводы, начинала оживать торговля. Но куда бы я ни нанимался, на третий или четвертый день какое-то зловещее предчувствие заставляло меня остаться дома: меня мучила навязчивая идея, что я обязательно встречу бывших узников трудового лагеря. Я страстно хотел — насколько вообще мог чего-либо страстно хотеть,— чтобы все, кто был в лагере, погибли, чтобы я единственный остался в живых; я убивал теперь — конечно, только в воображении — всех, кто мог бы меня опознать. Я отрастил усы, ужасные, вислые сомовьи усы, и сбрил брови, от чего они начали расти еще сильнее. Илона всего этого не понимала, да и не желала понимать. О войне она еще в день моего приезда сказала только:

— От нее одни неприятные впечатления. Поговорим лучше о другом.

Как-то осенью, уже после стабилизации, в один из солнечных дней, пересекая главную площадь, я вдруг заметил какое-то необычайное оживление. Люди толпились на краю тротуара, кричали, размахивали руками; я начал протискиваться туда — мне уже было известно, что лучше всего можно спрятаться в толпе. По мостовой двигалась большая группа людей — молчаливое, грозное шествие. Впереди, между двумя рабочими в блузах, шел толстый мужчина с лиловым лицом; он тяжело переставлял ноги в сандалиях, неподвижно глядя прямо перед собой. На груди его висел большой лист белой бумаги, на котором красными буквами было написано: «Я спекулянт, я пью кровь трудового народа». За ним шли рабочие мебельной фабрики, крепкие мужчины с бледными от фабричной пыли, мрачными, почти торжественными лицами; они знали, что пришел их час, что сейчас они отомстят, рассчитаются за все,— но в их глазах было не злорадство, а чувство собственного достоинства. Толпа же была куда менее сдержанной: в адрес спекулянта летела брань, некоторые, особенно женщины, выскакивали на мостовую, чтобы ударить или хотя бы плюнуть в него;

однако рабочие без лишних разговоров отталкивали их в сторону.

Шествие приблизилось настолько, что я мог рассмотреть каждое лицо. Вдруг я почувствовал, что теряю сознание: рядом со спекулянтом, по левую руку, шагал Лаци Такач. Я видел его широкие покатые плечи, мускулистые руки, сжатый рот, зоркие черные глаза под густыми сросшимися бровями. Он взглянул на меня и прошел дальше; сухой ветер шевелил его редеющие темные волосы, пыль осела на губах, разношенные башмаки мерно стучали по асфальту. Он взглянул на меня, и я на какое-то мгновение оцепенел. Но это был не Такач. Взгляд его равнодушно скользнул по мне. Нет, нет, это был не он и даже, кажется, не похожий на него человек.

Кто-то запел революционный марш, толпа на тротуаре подхватила, и вот уже вся площадь гремела, а в дверях лавок натянуто улыбались торговцы. Я тоже стоял в толпе, песня была мне незнакома — и все же непонятным образом брала за сердце. Я стоял в толпе и не знал, кому сочувствовать: кисло улыбающимся торговцам, которым завтра, может быть, повесят на шею такой же плакат, или шагающим в такт песне рабочим? Будто горячий, яростный ветер обдал вдруг меня с ног до головы: я не удивился бы, если б он сорвал, сбросил на землю поблескивающие глазурью в окнах домов горшки с цветами. И я понял, что не имеет ни малейшего значения, Такач ли это был или кто-то другой, ибо то, что мешает мне жить, гнездится внутри меня и я уже никогда не смогу от этого избавиться.

Кое-как добрался я домой и лег на диван, под фотографию с медведем. До сих пор я частенько посматривал на нее: мне казалось, что ночью она обязательно свалится со стены и убьет меня. Теперь это не представлялось таким страшным: ведь мне оставалось надеяться лишь на то, что в конце концов меня опознают и убьют прямо на улице или посадят в тюрьму, тогда по крайней мере все мои страдания останутся позади.

13

Я провалялся, ничего не делая, и эту зиму. Илоне я говорил, что болен и должен отдыхать. Зимой комната, несмотря на газовое отопление, была еще более сырой и

затхлой; абажур, спускающийся с коричневого потолка на тонкой цепочке, похож был на толстого, объевшегося паука. Лежа на постели, я вдыхал гнилой запах, идущий от досок пола. Как в могиле, думалось мне, разве что там не будет этих пыльных занавесок. К Илоне часто приходили соседки и громко болтали в кухне; так, сквозь стук швейной машины, я однажды узнал, что короля прогнали и что у нас объявлена республика. Но что мне было до этого? Выпить удавалось редко, хотя алкоголь был единственным средством, способным вывести меня из состояния сонного равнодушия.

В начале лета Илона, до смерти уставшая от моего присутствия, предложила мне вывезти в горы ульи с пчелами: ведь отдыхать в конце концов можно и там. Мне пришлось принять ее предложение — в тот день я был трезв и потому лишен самоуверенности. Так стал я пасечником — или, если уж быть точным, надсмотрщиком над пчелами,— потому что, как говорят все, кто меня немного знает, мне никогда не постичь сложной психологии пчел. И действительно: я знаю лишь то, что следует делать в том или ином случае, остальное же меня не интересует.

Большую часть года я провожу в городе: на своей скрипучей тележке помогаю желающим перевозить вещи, берусь постеречь товар на рынке, сгребаю снег, выполняю самые разные поручения, чтобы заработать несколько лей на водку. Пить мне необходимо, иначе жизнь скисает во мне, как молоко в плохо вымытой посуде. Лето я провожу возле пчел, в горах. В отличие от других пасечников у меня нет сборного домика, удобного и чистого: жилищем мне служит землянка, в которой каждую весну вырастает крапива, поселяются ящерицы, пауки и прочая нечисть. Над землянкой склоняются деревья, в двадцати шагах шумит обильный и быстрый ручей. Ветхие ульи длинной вереницей стоят в траве, словно диковинные островерхие грибы; по ту сторону ручья, на пустынном, вырубленном склоне, призрачным лиловым облаком волнуется под ветром цветущий эпилобий. По ночам резко и гортанно хохочет в лесу сова: видимо, ее беспокоит запах дыма. Мне кажется, что это одна и та же сова хохочет из года в год над моими дурацкими мыслями. Мне нет еще и пятидесяти, но выгляжу я на все семьдесят. Бреюсь я раз в месяц, волосы мои поседели, поседела и борода; каждый раз я ужасаюсь, когда вижу

в зеркале, какими маленькими и красными стали мои глаза. Теперь уж меня едва ли кто-нибудь узнает. А если и узнает?.. Раны заросли и уже не болят. Но я по-прежнему гораздо лучше чувствую себя там, где нет людей, только молодой инженер-лесовод приезжает сюда время от времени с утренним поездом, а вечером уезжает на дрезине обратно; иногда он привозит мне водку в обмен на мед.

Часто меня посещают видения — не только во сне, но и наяву. Давно уж заросли травой старые бункера, окопы и блиндажи, в их осыпающихся стенах живут теперь ящерицы и шустрые грызуны, я вижу, как они снуют в трещинах, вижу жгучую зеленую крапиву, которая тянется к свету. Плато среди леса снова заросло жесткой травой, и тень сторожевой вышки уже не ложится на землю по вечерам. Все выглядит так, как и должно выглядеть; ничто не нарушает безраздельной власти природы. И если случай занесет в те места какого-нибудь заядлого охотника, разве может ему прийти в голову, что запыленные сапоги его шуршат прошлогодней листвой над истлевшими человеческими костями?

Но порой, августовскими ночами, когда лунный свет гладит холодными пальцами белые стволы старых грабов, из сырой земли, как ядовитые испарения, поднимаются забытые картины и образы и обступают меня. Звучит команда — я отчетливо слышу ее,— и черные фигуры высыпают из дверей бараков, ревут самолетные моторы, дым полосой скользит по огромной поляне. Над уснувшими, мертвыми деревьями бесшумно плывет луна, в ее белесом свете выползает туман из чащи. И вот земля, словно бык под ударом обуха, протяжно стонет и содрогается, шуршат осколки, комья земли барабанят по толевым крышам, кто-то кричит в предсмертной муке, кто-то умирает, не успев даже вскрикнуть. Затем туман — серый, клубящийся, холодный — закрывает все вокруг, туман проглатывает луну, словно лесной орех, и воцаряется слепая, бездонная темень, в которой тонут предметы, разодранные криком рты,— и только широко открытые, грозные глаза взводного Такача блестят во тьме. Все это похоже на сон, но в то же время это не сон, а нечто совсем другое: это тяжелая болезнь, неизлечимый душевный ревматизм, которым в сыром климате войны легко заражается неосторожный человек.

Недавно лесовод явился ко мне вымокший с ног до головы. Он худощав и смугл, глаза его по-детски чисты — его можно было бы принять за зеленого юнца, если бы не какая-то особая твердость в линиях рта, в голосе, движениях. Когда он смеется, кажется, его низкий, звучный голос идет не из горла, а от самого сердца. Пока его зеленая форменная одежда сохла у огня, он рассказывал, что вскоре здесь, немного выше по склону, начнутся лесоразработки, он излагал мне — скорее всего, для собственного развлечения — детали этого проекта, и я представлял канатную трассу, тягачи, механические пилы и другие машины, бараки с отоплением и грунтовые накатанные дороги, по которым будут волочить поваленный лес, я воочию видел перед собой всю ту, непонятную для меня современную технику, которая вскоре придет сюда; на то место, где сейчас стоят лишь дремучие ели. В ответ я сказал ему, что вот и город за летние месяцы всегда сильно меняется, так что осенью я едва его узнаю, меня повсюду встречают новые здания и цветники, хотя, признаться, замечаю я их только тогда, когда упираюсь в них носом, и при этом никакой особой радости не испытываю...

Когда он ушел, я поставил на огонь воду для мамалыги и прислонился к закопченному столбу, подпиравшему потолок; слушая наводящий тоску шелест дождя, стук крупных капель, скатывающихся с веток, я впервые за десять с лишним лет задал себе вопрос: почему я не смог остаться человеком? Почему мне не хватает энергии для того, чтобы любить жизнь? Почему я обречен ненавидеть и весь мир, и самого себя? В ответ лишь хохотала сова где-то в чаще спящих елей: ее раздражал горький дым моего очага.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИСТОРИЯ ЛЕСОВОДА



1

Сигнал к отправлению мы ждали во дворе; воспитатели наши куда-то разбрелись: они не были сиротами и, должно быть, хотели с кем-то попрощаться; с нами остался лишь господин Герлице, заместитель директора. Здание приюта выглядело еще более угрюмым, чем обычно, словно огорченное нашим отъездом, из дверей, из окон веяло холодом. Только галки на крыше, между дымовыми трубами, безмятежно готовились ко сну, не обращая на нас никакого внимания.

Господин Герлице подозвал Барабаша и меня, и втроем мы еще раз обошли весь дом. Герлице шел впереди бесшумным, скользящим шагом, мы же, несмотря на все старания, громко топали своими грубыми, подкованными башмаками. Дробное эхо сопровождало нас, пока мы проходили по всем трем спальням, где железными скелетами стояли голые койки, по пропахшей луком столовой, по классным комнатам. В кухне, на стянутой железными лентами плите, зияли кратерами круглые закопченные отверстия; по забрызганным, пятнистым стенам беспокойно бродили мухи, почуявшие, видимо, что беззаботная жизнь для них кончилась. Герлице заставлял нас поднимать то соломинку, то измятый клочок бумаги; затем мы вернулись во двор.

— Идите к остальным,— сказал он.

Взгляд его выпученных влажных глаз остановился на детях, сидящих на щебне, которым был посыпан двор. Накануне всех нас постригли наголо, но тяжелую корич-

невую одежду из грубой ткани — которую мы называли латами короля Матяша — так и не сменили, несмотря на обещания. Детей старше четырнадцати лет увезли уже месяц тому назад — прямо в Германию, как нам сказали. Мы слышали, что нас тоже повезут туда.

О Германии я не имел никакого представления, по-немецки же знал одно-единственное слово — «брот» *. Это слово мы кричали каждому немецкому солдату, проходившему по улице, по ту сторону железной решетки. Эффект всегда был один и тот же: солдат поднимал брови, разводил руками, пожимал плечами и шел дальше. Мы играли в «брот» и между собой: один произносил это слово, а другой поднимал брови, разводил руки в стороны, пожимал плечами. Мы думали, что, если б нам были известны еще какие-нибудь немецкие слова, мы бы заставляли солдат делать и другие движения.

Закончив осмотр, господин Герлице произнес краткую речь:

— Русские едят маленьких детей, это вы знаете, не так ли?

— Зна-а-а-ем! — хором ответили мы привычно.

— Вот так-то, дети. Поэтому мы и уезжаем отсюда. Немцы воспитают из вас настоящих венгров — в данной ситуации только они могут это сделать. Понятно?

— Поня-а-атно!

— Итак, когда придет машина, не толкаться и не забывать вещи.

Тупо смотрели мы на воспитателя, расхаживающего перед нами в легких спортивных туфлях. Конечно, мы ни слова не поняли из того, что он говорил, а если что-то и поняли, то даже не подумали отнестись к его словам всерьез. Здесь, в сиротском приюте, мы очень быстро убедились в том, что речи взрослых — эту бессмысленную и глупую болтовню — и слушать не стоит; нужно лишь выполнять команду, и выполнять быстро и без размышлений, иначе последует наказание. Нам часто толковали, например, о том, какие мы счастливые: ведь у нас добрый десяток отцов — директор и все воспитатели, тогда как другие дети вынуждены довольствоваться одним-единственным отцом; рядом с этим фактом как-то забывалось то обстоятельство, что матерей у нас нет вообще.

* Brot *(нем.)* — хлеб.

Господин Герлице, когда был пьян, обязательно заводил разговор о семье. Он поименно перечислял и всячески превозносил всех наших отцов, не забывая, конечно, и себя, однажды в порыве вдохновения он вскричал:

— Ну, а братья! О них мы с вами чуть не забыли, туда его в бабушку!.. Ведь у вас столько братьев, что любой позавидует. Посмотрите-ка друг на друга. Я сказал: посмотреть друг на друга! Видите? Все вы братья, милые, дорогие братишки. А ведь другие дети счастливы, если у них есть хотя бы пять-шесть братьев. Но это еще что! После войны у вас будет куда больше братьев. Наш приют стоит перед невиданным расцветом.

Какими бы отупевшими, забитыми мы ни были, мы все же понимали, что Герлице говорит так по обязанности, что он нас воспитывает — за это ему платят деньги,— в действительности же ему все равно, что мы думаем и чувствуем. За это мы его ненавидели еще больше, чем других. Когда он начинал говорить, мы становились глухими, защищаясь таким образом от его слов, будто они были заразными. В его руках мы чувствовали себя неодушевленными предметами — вроде поленьев; думаю, что и он относился к нам, как к поленьям. Несколько лет назад, когда войска Хорти еще не вступили в Северную Трансильванию, мы звали его господином Герляну и никогда не слышали, чтобы он говорил по-венгерски. Теперь в приюте шептались, что в Германии Герлице возьмет себе немецкое имя и будет говорить только по-немецки. То обстоятельство, что Герлице и другие воспитатели с радостью приняли весть об эвакуации, сразу же нас насторожило: наша логика, опирающаяся на большой опыт, подсказывала нам, что следует опасаться всего, чему радуются воспитатели. Невеселые мысли вот уже несколько дней омрачали наше настроение.

Подавленные, измученные, сидели мы во дворе, ожидая грузовиков, которые должны были везти нас на станцию. Массивные стены старого приюта высились над нами, загораживая уходящее за горизонт солнце; влажный сумрак заполнял двор. Ветер лениво шевелил обрывки светомаскировочной бумаги в распахнутых настежь окнах. Вдали, за гребнями городских крыш, на которых еще лежали косые солнечные лучи, темнел, почти сливаясь с предвечерней мглой, лес. Рядом со мной, запрокинув голову, сидел Барабаш — тощий, большеголовый,

взлохмаченный — и громко, сипло дышал. У него была мать — «девица из борделя»,— но никто не знал, где она и что с ней. Сам он говорил о ней редко и с неохотой.

Я толкнул его в бок:

— Слышь, Барабаш! Ты в лесу когда-нибудь был?

— В лесу медведи живут,— сразу же ответил Барабаш.

— А ты там был? Один, так чтобы с тобой никого не было?

— Один не был. Со мной были все братья и три отца...— Барабаш ухмыльнулся, и на губах его как будто даже с легким звуком полопались болячки. Мы все тогда ходили с болячками на губах.— Нам сказали, надо собирать грибы, и еще сказали, нельзя сходить с дороги.

В небе, под бледными, только что загоревшимися звездами, прогудело несколько самолетов. Лес уже не был виден, неподвижная коричневая тьма лежала на горизонте. Как-то сразу похолодало, на руки, на шею нам словно бы посыпалась водяная пыль.

Господин Герлице опять что-то сказал — мы пропустили его слова мимо ушей. С наступлением темноты еще больше возросли наши горечь, усталость, скука и страх перед неизвестностью. Жизнь казалась нам ненужной и бесцельной. Заплакали малыши. Герлице бесшумно возник рядом и, толкая их, утешал тем, что в Германии плаксивых детей опускают на веревке в колодец и держат там до утра.

— В Германии вовсе и нет колодцев! — заявил вдруг Барабаш.

Странно: я как раз подумал то же самое. Более того, после бесконечных разговоров о Германии мне стало казаться, что такой страны вообще нет на свете. Но я недолго раздумывал над этим: малыши, несмотря на «утешение» воспитателя, продолжали реветь, и тогда Герлице зычным, залихватским голосом дал команду запевать.

В такие именно моменты сказывался великий смысл нашего воспитания. Подавая команду, воспитатели словно нажимали какую-то кнопку, и мы без раздумий подчинялись. Вот и теперь, услышав приказ, мы начали ритмично бить ладонями по коленям и петь:

Выше голову, друзья, храбрые хонведы!
Грозно взглянем на врага — и вырвем победу!

Между тем к воротам подкатили тяжелые военные грузовики; клубы поднятой колесами пыли проникли через железные прутья забора и накрыли нас, как густой холодный дым. Глотая пыль, мы продолжали во всю глотку выкрикивать слова песни, которая, казалось, помогала нам чувствовать себя менее беззащитными. Но вот раздался голос, перекричавший нас всех:

— Эй! Эй! Прекратить пение!

Такой голос был только у директора: мы уже не раз замечали, что, если он крикнет в полную силу, после этого в ушах несколько минут стоит звон. В последние дни директор ходил в офицерской форме, все воспитатели тоже были одеты по-военному, один лишь Герлице носил пеструю рубашку, просторные серые брюки и спортивные туфли.

Песня оборвалась. Воспитанники встали. Встал и я, глядя в ту сторону, где во тьме спал лес. Страх холодными пальцами еще сильнее сжал нам сердце. Господин Герлице отрапортовал директору о том, что в этот радостный час все готовы к выступлению. Радостный? Кровь застыла у нас в жилах: теперь мы не сомневались, что впереди нас ждет нечто ужасное. Барабаш со свистом вдыхал воздух и что-то шептал. Наше обычное тупое равнодушие куда-то испарилось.

Директор начал командовать сам:

— Строем по одному, марш!

В моей жизни это была первая команда, которую я не выполнил: она потонула где-то глубоко в сознании, как камень в озере, не вызвав никакой реакции. Я, конечно, был по горло сыт и директором, и господином Герлице, и бессмысленным, полным унижений приютским существованием. Но если бы речь шла только об этом, я, может быть, все же двинулся вместе со всеми к машинам — однако в тот момент откуда-то издалека до меня донеслась совсем другая, едва различимая команда. Она была мне знакома: дождливыми ночами, когда тоска не давала заснуть, я, высунувшись из окна, часами вслушивался, как шепчет и вздыхает напоенная влагой земля, и вдруг мне начинало казаться, словно кто-то, невидимый во тьме, ласково окликает меня по имени. Так никто и никогда не звал меня. Я чувствовал потребность подчиниться этому зову и мучился, не зная, что делать. Только став взрослым, я понял, что это звучал в моем сердце голос свободы.

2

Я лежал, затаившись, на крыше дровяного сарая, под источавшими терпкий аромат ветвями каштана, протянувшимися сюда из соседнего сада. Внизу, во дворе, смешанная с пылью темнота стала густой и вязкой; плач, крики, злые голоса воспитателей, паническая суета — все это постепенно, как вода из треснувшего кувшина, уходило за ворота. Вскоре шум долетал уже с улицы. Сердито взревели моторы, прогудел автомобильный сигнал, господин Герлице голосом подвыпившего деревенского парня, веселящегося в корчме, завопил:

— Да здравствует прекрасное будущее!

Тяжело урча, один за другим отъезжали грузовики, и вот я остался один в неожиданно наступившей тишине. Медленно оседала пыль, неяркий лунный свет падал на стены и крутую крышу приюта, на щебне двора проступили темные полосы — тени от прутьев железной изгороди. Толевая крыша сарая еще хранила дневное тепло, я прижался к ней лицом и ладонями, и меня охватило властное желание узнать все тайны, которые скрыла полная непонятной тревоги ночь. Лишь эта неясная потребность связывала меня сейчас с миром, потому что во всех остальных отношениях я был никем и ничем, даже для того человеческого сообщества, частью которого я до сих пор являлся и с которым меня хоть что-то связывало, даже для него я теперь был потерян.

В настежь распахнутые ворота вошли двое солдат. Я решил, что мой побег, видимо, обнаружен и меня уже разыскивают, и еще я подумал, что им меня ни за что не найти. Солдаты прошли по двору из конца в конец, заглянули в дом, покричали на всякий случай, потом один из них сказал:

— Велено было явиться к директору. А где этот директор?

— Нету директора,— ответил второй.— Навострил лыжи: такая уж теперь мода пошла. Чего ломать голову, иди, покурим здесь на крылечке.

— Что ж, покурим. На тебе табак, сверни заодно и мне, палец, понимаешь, все еще болит.

Они сели на ступеньках возле двери, прислонив винтовки к стене. Несколько минут прошло в молчании.

— Держи.

— Послюни сам, не бойся. Столбняка от этого у меня не будет.

Прикрыв шапкой спичку, солдаты закурили, потом спрятали цигарки в ладони, но я все время видел движущиеся то вверх, во вниз красноватые огоньки. Мне пришло в голову, что если бы это были немцы, я мог бы крикнуть им «брот», и они сразу стали бы разводить руками и пожимать плечами. Ветер шевельнул надо мной ветку каштана, и, пока она качалась, какой-то лист мягко гладил меня по затылку.

Потом один из солдат подошел к дровяному сараю; справив нужду, он вздохнул и тихо, но отчетливо сказал:

— Ах ты, господи, звезд-то сколько! Знать бы, когда будет конец этой свистопляске.

Они ушли, взяв ружья на плечо. В воротах немного постояли, советуясь, не встать ли перед домом в караул, но рассудили, что это было бы совсем глупо. И ушли уже окончательно, их тяжелые башмаки глухо простучали по каменным плитам тротуара, а я снова остался один — теперь в полном смысле слова.

Долго смотрел я на громоздкое, тяжелое здание приюта — и оно как будто тоже рассматривало меня, злобно щуря темные окна. Сколько помню себя, я всегда жил в этом доме. Конечно, я не мог знать, много ли потерял из-за этого, и все же чувствовал, что приют украл из моей жизни нечто такое, чего мне уже никогда не восполнить. Сейчас, глядя ему в окна-глаза, я требовал ответа, но он молчал и щурился, до краев наполненный темнотой.

Глаза у меня щипало, будто в них попал песок, горло сжималось, руки и ноги сковало мучительное оцепенение; это была минута, когда свинцовую, тяжкую боль могут смягчить лишь обильные слезы. Но я не умел плакать, слезы иссякли у меня еще в трехлетнем возрасте, откуда же было им взяться теперь? Не боль, а любовь — любовь к кому-нибудь или чему-нибудь — может научить человека плакать, находя в слезах облегчение. Любовь придает слезам радужное сияние, сквозь которое темные тучи горя кажутся лишь игрой света на небосводе. За все прожитые мною годы мне никого не довелось любить; холодная ненависть была единственным багажом, который я взял с собой, когда одним прыжком пе-

ремахнул во двор соседнего дома и спрятался за свиным хлевом, навсегда оставив за спиной злобно молчащие в лунном свете стены.

3

Одна за другой прокатывались в ночной темноте волны неясного беспокойства. Стук шагов, разговор, скрип телег, фырканье лошадей, шум моторов, возбужденный шепот, обрывки песни, пьяная икота — все это сплеталось, перемешивалось одно с другим под плотным покрывалом из мрака и пыли. Слабый свет луны бессилен был преодолеть пыльную завесу, лишь в садах между кронами деревьев я видел кое-где ее бледные лучи. Сквозь какое-то окно, заклеенное черной бумагой, доносились звуки радио: в эту ночь в городе, видимо, никто не ложился спать. На одном из перекрестков, по мостовой, наперерез мне строем прошли солдаты — с тяжелым топотом, металлическим лязгом, оставляя за собой кислый запах пота; они двигались в угрюмом молчании, словно давно уже высказали друг другу все, что носили в сердце. Я переждал, пока они пройдут, затем пересек улицу и заковылял дальше, стараясь держаться ближе к стенам и радуясь, что никого не вижу и меня никто не видит. Прыжок с крыши сарая получился не слишком удачным, щиколотка левой ноги побаливала, но мне сейчас было не до нее.

Чем ближе к окраине, тем становилось тише, исчезла и сухая едкая пыль; дома словно спали, во дворах стояла влажная прохлада. Казалось, сюда доносится шум ночного леса, которого я никогда не слышал. Молчали почему-то даже собаки. Здесь явственнее чувствовалось дыхание приближающейся осени, дыхание, в котором запах сена и спелых яблок смешивался со слабым ароматом поздних цветов. Крайний домик, крытый соломой, был так низок, что стена его между стрехой и чисто подметенной землей двора казалась узкой полоской. Черная лохматая собака посмотрела на меня, но не залаяла. Я шел все дальше, уже через поле, по обочине дороги, по щиколотку в сырой от росы траве; тощая, едва заметная тень прыгала по рытвинам сбоку от меня. Дорога, от которой то и дело ответвлялись дорожки и тропинки, становилась все уже, незаметнее; я боялся, что

она исчезнет у меня под ногами прежде, чем куда-нибудь приведет.

Вдруг, подняв глаза, я увидел перед собой плотную, черную стену леса. Он не шумел. От него веяло холодом и необычным терпким запахом, который был мне почему-то знаком,— может быть, по какому-то давнему сну. Дорога здесь в самом деле исчезла, спряталась среди огромных елей, свесивших до земли широкие лапы-ветви. Я не испытывал страха, не думал о том, что меня здесь ожидает; мстительная радость охватила меня при мысли, что сейчас я уйду в эту стену, погружусь в нее, как в море, и уже никто никогда не сможет меня найти. И все же я задержался на несколько минут, давая отдых больной ноге и глядя, как где-то впереди, среди бесчисленных сверкающих звезд, вспыхивает желтый огонек.

Затем я вступил в лес.

Непроглядную тьму, холод и какую-то мохнатую глухую тишину — вот что я ощутил в первый момент. Но я сделал шаг, по лицу царапнула прохладная колючая ветка — и сразу все стало реальным и понятным. Под башмаками, покрытыми городской пылью, чавкала грязь. Это было настоящее чудо: я ступал по грязи, тогда как все люди ходили сейчас по пыльным дорогам. Глаза постепенно привыкли к темноте, я уже различал лежащие на дороге большие белые камни; они всегда оказывались ближе, чем я думал, так как дорога подымалась круто вверх. Я перешагивал через камни, прихрамывая на больную ногу, и шел все дальше, все выше. Долго ли я шел, не знаю: в темноте трудно определить время и расстояние. Спина взмокла от пота, а если я останавливался перевести дыхание, мне начинало казаться, что рубашка сейчас примерзнет к коже.

Но в глубине души я был доволен; чем дальше уходил я от города, от сиротского приюта, тем живее становилось мое воображение, тем сильнее было ожидание чего-то радостного, и я страдал лишь оттого, что, по скудости опыта и знаний, не мог сейчас же, сию минуту схватить в руки близкое, притаившееся где-то рядом счастье.

Я шел и шел вперед, иногда ощупывая глубокую колею, чтобы убедиться, что не сбился с дороги. Эта самая дорога вывела меня из города, привела к лесу, и поэтому я не хотел с ней расставаться и даже представить себе не мог, что бы стал без нее делать.

Лес кончился неожиданно. Передо мной открылось обширное ровное пространство, залитое белым сиянием — так мне показалось после лесного мрака. В синеватой глубине неба висела луна, свет ее косыми колоннами пронизывал молочно-белые облачка тумана, плывущие над самой землей; на скошенной траве сплошным серебряным ковром лежала обильная роса. Открывшаяся передо мной картина вся была в бесшумном движении, таинственно, незаметно преображалась. Пока я стоял на краю горного луга, клочья тумана уплыли в сторону, волоча за собой по росе невесомый сияющий шлейф, заслонивший на мгновение разбросанные там и сям стога, а потом зацепившийся за черные колья изгороди.

Передо мной был волшебный мир, о существовании которого я давно подозревал. Я стоял затаив дыхание; казалось, нежные руки фей обнимают меня и уносят к звездам, в чуть звенящую высоту. Я боялся пошевелиться, чтобы не вспугнуть фей и не разрушить эту серебряную сказочную страну: сердце бешено колотилось, прохладное дуновение касалось моего лба, я глубоко вдыхал ни с чем не сравнимый аромат горного сена.

Затем мне в нос ударил запах плесени, идущий от моей пропотевшей одежды. И сразу кончилось очарование. Стало зябко. Но в сердце у меня на всю жизнь осталось матовое сияние горного луга, и сияние это загорается перед моим внутренним взором всякий раз, когда я вспоминаю, как впервые увидел этот горный луг под луной в пору первых осенних туманов, когда холодный ветер уже предвещает скорые заморозки.

Из ближайшего стога я выдернул несколько охапок сена и втиснулся в образовавшуюся нору, дохнувшую на меня сухим теплом и крепким, дурманящим запахом. Левую ногу раскаленными стрелами пронизывала боль; я стащил грязный башмак и спрятал ногу в сено. Не знаю почему, но я улыбнулся и, должно быть, так, с улыбкой, и заснул.

4

К утру нога распухла, натянуть на нее башмак я не смог. От голода слегка кружилась голова. Луг купался в солнечном свете, только в тени стогов еще лежал серебристый налет холодной росы.

Ступать по короткой шелковистой траве было легко; но, когда я вошел в лес, острые камни быстро изранили босую ступню. Нередко я двигался вперед, прыгая на одной ноге; дорога становилась все у́же, ее все труднее было отличить от тропинок, сворачивавших в сторону, да я теперь и не стремился во что бы то ни стало держаться ее: мне казалось, что если прошлой ночью дорога привела меня в лес, то теперь, когда я оставил покос позади, она выведет меня из леса, к людям.

Время близилось к полудню, когда в зарослях возле лесного ручья мне попались спелые ягоды ежевики. Поев их, я почувствовал тошноту, словно в желудок мне налили едкой кислоты. Я побрел дальше, опираясь на палку, которую без ножа не мог даже обстрогать как полагается.

Следующую ночь я провел под деревом, на куче прелой прошлогодней листвы. Я очень устал и только поэтому заснул, хотя и дрожал от холода. Днем я набрел на дорогу, довольно широкую и со следами колес, но не отважился идти по ней, боясь, что снова выйду к людям — в то время все они для меня мало чем отличались от господина Герлице. Я выбрал узкую, еле видную тропинку и медленно, с трудом двинулся по ней, болью расплачиваясь за каждый шаг. И все же мучения эти не заслоняли от меня остального мира — о нет! Сознание мое будто заволокла какая-то сумеречная завеса, однако я сохранял неиссякающий интерес к окружающему, все вокруг видел и подмечал; лес успел стать для меня домом и на каждом шагу поражал меня своими чудесами.

Вот ели склонились друг к другу и своими тесно переплетенными, ржавого цвета ветвями образовали шатер; если посмотреть из такого шатра наружу, плотная зеленая хвоя покажется плащом, который дерево наспех накинуло себе на плечи. Внутри шатра с высохших сучьев свисал желтый и серый лишайник, как свалявшаяся, нечесаная борода. А мхи! Один укрывает землю ярко-зеленым толстым, мягким ковром, если встать на него, он бесшумно подается, проваливается, и у ступни проступает кристально-чистая вода. Совсем другой мох растет на крутых каменистых склонах: он желтый или коричневый, и, если вырвать клочок такого мха, увидишь

тоненькие, болезненно-бледные корешки, а на том месте, где он рос,— красноватую, ржаво-пыльную почву.

Я научился узнавать мелкие, мясистые, светло-зеленые листочки черники, плотно устилающие землю вокруг пней и сломанных ветром деревьев, и ягоды ее, иссиня-черные, с круглой ямкой-впадиной. Черника была гораздо вкуснее ежевики, во рту от нее оставался приятный, чуть маслянистый привкус. Я заметил также, что если земля вдруг становится неровной, волнистой и сквозь мох проглядывают выбеленные солнцем стволы, то ходить там небезопасно: это лежат давным-давно сгнившие деревья, которые проваливаются под ногами и обдают тебя горькой рыжей пылью.

Голодным и измученным знакомился я с лесом — все же знакомство это наполняло меня покоем и радостью. Я уже чувствовал не только отвращение к жизни — к той жизни, которую я знал в приюте,— но и тягу к ней, тягу к далекому, неясному свету свободы и счастья, ко всему тому богатству, из которого мне принадлежал пока только лес. Какой-нибудь причудливой формы гриб заставлял меня на несколько минут забывать о боли в ноге; меня терзала жажда жизни и познания; предвкушение счастья не угасало ни на минуту — правда, то неопределенное, чего я ждал, становилось все более туманным, все более неопределенным. Когда солнце начало клониться к горизонту и до третьей моей бездомной ночи оставалось всего несколько часов, я обнаружил вдруг, что тропинка у меня под ногами пропала. Я находился в узкой, обращенной к западу котловине, среди густого шелестящего кустарника. Тропы не было видно нигде — словно я свалился сюда прямо с неба. Я лег на траву. Поблизости, на дне котловины, слышался прохладный, стеклянный плеск ручья; подумалось, что хорошо бы сползти туда и напиться, но я не двинулся с места. Мне странным образом было все равно, напьюсь я или нет. Рядом стеной стояла малина с желтеющими листьями, от нее исходило умиротворяющее тепло. Немного подальше, в тени, ярким пятном горело несколько крупных темно-красных ягод земляники — последний осенний урожай.

Шли минуты, я не двигался, и все вокруг замерло в неподвижности; мне казалось, я слился с травой, с кустами, с прозрачным воздухом, с лениво ползущими или

летящими куда-то насекомыми. Силы мои истощились полностью, до последней капли; руки и ноги казались необычно легкими, только голову неодолимо тянуло к земле. Ощущения притупились, жужжание насекомых я воспринимал как еле слышную музыку, долетающую сюда с голубых сверкающих вершин; ручей тоже изменил голос и уже не плескался, а что-то говорил на незнакомом певучем языке. Веки тяжелели с каждой секундой. Мне пришло в голову, что, наверное, это и есть счастье и чем дольше я останусь неподвижным, тем сильнее оно будет.

На восточном, наветренном склоне котловины из зелено-рыжего кустарника возвышалась белая скала, из ее темных прожилок-трещин тянулись, цепляясь корнями, маленькие упорные деревца. Солнце стояло прямо против скалы, и вдруг — будто слепящие стрелы ударили мне в глаза — возле нее что-то сверкнуло. Но потом, сколько я ни смотрел в ту сторону, скала оставалась белой и безжизненной, лишь верхушки молодых деревьев шевелились под гуляющим в вышине ветром, которого я внизу не чувствовал. Закрыв глаза, я снова погрузился в тишину, в монотонный звон насекомых, в говор ручья, которые овевали меня негой и теплом, как иногда во сне — летний ветерок, пробегающий над полями дикого мака.

Я совсем не испугался, когда поблизости затрещали ветки. Слушая, как кто-то движется ко мне сквозь заросли, я вспомнил слова Барабаша о том, что в лесу живут медведи, но смог приоткрыть — и то с трудом — лишь один глаз. Сначала я увидел в гуще малины солдатскую фуражку с налипшими на нее сухими иглами, паутиной и желтой древесной трухой. И вот передо мной оказался человек — запыхавшийся, усталый, с засученными выше локтя рукавами, в запятнанных смолой солдатских брюках. На шее у него, на тонком ремешке, висел бинокль, на поясе — тяжелая кобура. По лицу, дочерна загорелому, небритому, текли светлые струйки пота, рубашка прилипла к широкой груди. Мускулы на покрытых царапинами и ссадинами руках подрагивали, как будто человек этот в любую минуту готов был сделать быстрое неожиданное движение. Наконец я рассмотрел его глаза: они были такими черными и глубо-

кими, что у меня закружилась голова, словно я заглянул в бездонный колодец.

Хорошо помню, что я чувствовал в тот момент. Прежде всего было ужасно обидно, что мой блаженный покой всё-таки был нарушен, и в то же время я испытывал глубочайшее равнодушие ко всему, что имело отношение к земному существованию; мне казалось, я уже перешел невидимые границы жизни, а значит, не было смысла искать объяснения тому, что происходит вокруг. Я бы не слишком удивился, если бы солдат, появившись передо мной, вдруг беззвучно растворился в прозрачном и теплом предвечернем воздухе.

5

— Тебе что здесь надо? — враждебно спросил он.

— Ничего.

Я отвернулся, чтобы не встречаться с колючим угрожающим взглядом. Я смотрел на солнечный диск, который уже опускался за дальний хребет; сияние его стало тускнеть от поднимающихся с земли испарений.

— Ты один здесь?

— Нет.

— Врешь,— сказал он и указал большим пальцем за спину.— Я за тобой оттуда давно наблюдаю в бинокль. Ты здесь один.

— Ну, один. И что из того?

— Что тебе здесь надо?

— Ничего,— снова ответил я.

Он раздраженно вскинул голову, свет заходящего солнца лег на его сильные скулы, оставив в тени глаза. Взгляд его упал на мою левую ногу: она безжизненно лежала в траве, щиколотка и ступня отекли, стали синими, как ягоды ежевики. Солдат осторожно тронул ногу, немного приподнял ее, потом уронил на траву и тихонько присвистнул. Я ничего не почувствовал, только кровь как будто сильнее застучала в висках.

— Больно?

— Нет.

— А если здесь нажать?

— Все равно не больно.

— А здесь?

— Здесь больно.
— И с такой ногой ты шел?
— У меня другой нету.

Он еще некоторое время ощупывал ногу, затем положил ее и сел рядом со мной на траву. Охватив руками колени, он задумчиво бормотал что-то, потом посмотрел на солнце, красный диск которого спускался все ниже к горизонту. Вытащив клочок бумаги, солдат сорвал несколько сухих листьев малины, растер их в ладонях и свернул самокрутку. Затем долго щелкал медной зажигалкой, пока наконец высек огонь. Выдохнул едкий дым, посмотрел, как тот растекается в неподвижном воздухе, и снова повернулся ко мне.

— Что за одежда на тебе?
— Приютская.

Врать мне не хотелось. Спокойными лаконичными вопросами солдат в два счета выведал все о моей короткой заурядной жизни, чтобы рассказать о ней, мне понадобилось не более полусотни слов. Я не сказал ему лишь о том призрачном блаженном состоянии, о том ожидании, которое все еще переполняло меня, предвещая неведомое счастье. Я заметил, что солдат, слушая меня, все более мрачнел, порой его лицо ненадолго оживлялось, но в конце концов стало хмурым, как небо перед грозой. Тут мне впервые подумалось, что счастье мое, видно, так и кончится, не успев начаться, и что впереди меня ожидают новые мытарства да тоскливые, серые будни, ничем не отличающиеся от тусклых дней, проведенных под надзором господина Герлице.

— Пошли,— сказал солдат.— Здесь, неподалеку, найдется место получше. Сядешь ко мне на закорки. Башмак захвати, пригодится, когда нога заживет.

Он тяжело повернулся и присел передо мной на корточки. Спина его, которую с такого близкого расстояния я не мог охватить взглядом, вздымалась наподобие крутого холма; я не двигался: здесь мне было хорошо, одиночество меня не тяготило, кроме того, я опасался, что стоит мне шевельнуться, как надежно закрытые внутренние шлюзы откроются, и то, что поддерживало во мне состояние блаженного покоя, безвозвратно уйдет, улетучится, и я вновь лишусь свободы, которую смог обрести, лишь отказавшись от необходимых для жизни условий. Солдат ждал, я видел, как влажная рубашка у него

на спине вздрагивает от биения сердца, плечи при вдохе едва заметно поднимаются, наконец он обернулся и посмотрел мне в глаза. Не могу сказать, что в его взгляде был приказ — скорее, вопрос и ожидание,— но я на всякий случай поспешно ухватился за его шею. Он осторожно поднялся, подхватив меня под коленки, и пошел вниз по склону, грудью раздвигая густые заросли. Ветки кустов и колючие, невероятно прочные ползучие растения цеплялись за его голые руки, за мою одежду, едва не стаскивали меня на землю. Я закрыл глаза, время от времени тычась носом в его заросший черными волосами затылок.

Мы добрались до ручья. Среди огромных лопухов, папоротников, лиловых плетей ежевики бежала быстрая кажущаяся черной вода, в глубине ее подрагивали желтые и коричневые камни. Солдат без колебаний шагнул в воду, когда он карабкался со мной на противоположный берег, в затуманенном мозгу моем вновь возникли бредовые картины: мне виделся приют, следящий за мной темными глазницами окон, и выпученные мокрые глаза господина Герлице; я стал жалобно просить солдата:

— Отпустите меня, пожалуйста! Отпустите меня, пожалуйста!

Он ощупывал ногой осыпающуюся почву и громко сопел, не обращая внимания на мои просьбы. Наконец остановился, чтобы перевести дыхание, чертыхнулся, повернул назад голову и, скулой приплюснув мне нос, сердито крикнул:

— Ты что меня на «вы» зовешь? Сидит на шее и выкает — это уж ни в какие ворота...

— А что же мне делать? — спросил я беспомощно.

— Заткнись и зови меня на «ты». Лаци мое имя.

Он двинулся вперед, пробрался через кустарник и опять остановился.

— Знаешь что? — сказал он в раздумье.— Зови-ка меня лучше Ласло. Все-таки я постарше.

Пока я старался вникнуть в смысл его слов, видения пропали. Я висел на спине у солдата, вконец ослабевший, вялый, не очень понимая, что со мной, собственно, происходит. Все вокруг казалось зыбким, расплывчатым, нереальным, само тело мое как будто утратило упругость, стало расползающимся, непрочным, лишь ноги,

сжимаемые твердыми горячими ладонями, я ощущал явственно. Из плывущего в глазах тумана вынырнула белая скала, ее обращенная к солнцу сторона горела розовым пламенем, кусты и пучки травы, растущие в трещинах и на карнизах, блестели, как вымытые. У подножия скалы, на двух составленных углом кольях, натянута была пятнистая плащ-палатка; под ней валялся солдатский китель в соседстве с фляжкой, котелком и темно-зеленым почти пустым рюкзаком. Еще там стоял прислоненный к скале короткий карабин с пятнами ржавчины на стволе.

Я вытянулся на теплой жесткой траве. Все тело ломило, голова и горло тоже болели; боль была единственным ощущением, благодаря которому я понимал, что еще живу, но именно поэтому особого желания жить у меня не было. Отсюда хорошо просматривалась вся котловина, внизу, у ручья, уже клубился коричневый мрак, солнце у меня за спиной более чем наполовину опустилось за близкий горизонт. Солдат тихо ходил вокруг, вот он взял фляжку и пошел было к ручью, но посмотрел на меня, вернулся, вынул из карабина патроны и только после этого исчез в зарослях. Я лежал без движения и — насколько позволяло то и дело меркнущее сознание — следил, как ползет вверх по склону тень, заставляя трепетать тянущиеся к солнцу листья. Солдат вдруг снова оказался рядом, опустившись на колени, он плеснул воду из фляжки на какую-то тряпку — как оказалось, свою рубашку,— закатал штанину у меня на ноге и обмотал влажной тканью щиколотку. Холод пронизал меня до самой макушки, захотелось погрузиться всем телом в такую вот ледяную воду, чтобы погасить пылающие очаги боли.

— Не спи,— сердито сказал солдат.— Сначала поешь. Говори что-нибудь, можешь даже петь, если хочешь.

Он взял свой рюкзак, долго копался в нем и, наконец, вытащил кусок мамалыги с приставшей к нему пылью и хвойными иглами, а затем серую тряпицу, в которую был завернут небольшой, с кулак, кусок творога. Отламывая то от творога, то от мамалыги мелкие кусочки, он клал их мне в рот. В памяти у меня навсегда запечатлелись черные, испачканные смолой пальцы у моего рта, и я очень жалею, что не прижался тогда к ним

своими горячими губами. Часто я задаю себе вопрос: почему судьба распорядилась так, что я и с лесом познакомился при крайне грустных обстоятельствах, и с настоящим человеком впервые встретился в полубессознательном состоянии?

Видимо, потом я заснул беспокойным сном больного, во всяком случае, о том вечере у меня сохранились лишь обрывки впечатлений: сырой ветер, красная кучка углей, заросшее щетиной, спокойное лицо Ласло Такача да игра неярких отсветов на пятнистой плащ-палатке.

6

Разбудил меня холод. Туман заполнял котловину до самого верха и даже переливался через края, как мыльная пена из корыта. С кустов падали на землю крупные, прозрачные капли, издавая едва слышный стеклянный шорох. Было такое чувство, будто мне лишь приснилось все происшедшее вчера вечером: кто-то притащил меня сюда на спине и дал поесть, кто-то велел называть себя Ласло, потому что я значительно младше. Однако надо мной была провисшая от влаги плащ-палатка, нога была обернута солдатской рубашкой, и совсем близко серел пепел костра. Ласло я не видел, не видно было и его карабина.

Ощущая тупой, сосущий голод, я подтянул к себе рюкзак и нашел в нем остатки мамалыги и творога. С трудом двигая озябшими пальцами, снял налипший на творог мусор — лишь самые крупные соринки, которые могли застрять в горле,— поел и с жадностью напился воды из фляжки: несмотря на холод, внутри у меня все горело.

Когда солнце стояло уже высоко, а молочно-белый туман лежал только внизу, у ручья, пришел Ласло. Он появился бесшумно, прислонил к скале карабин, положил на траву фуражку, наполненную грибами, и устало вздохнул. На нем был китель, но он сразу же его снял, и я был рад этому, потому что без кителя он мне больше нравился.

— Проснулся? — сказал он.

— Проснулся,— ответил я.

Он задумчиво потрещал суставами пальцев.

— Можно было бы подстрелить косулю,— сказал он,— да не годится шум поднимать.

Он взял рюкзак, но, обнаружив, что в нем ничего нет, высоко вздернул брови. Встряхнул мешок и бросил его на землю.

— Я ведь и хотел тебе все это отдать,— сказал он.— Но было бы лучше, если бы ты дождался меня.

Я ничего не ответил. Он вытащил из кармана ломоть ржаного хлеба и кусок сала, завернутый в платок. Сложил все в вещевой мешок, еще раз вздохнул и принялся за мою ногу. Он долго рассматривал и ощупывал ее; лицо его ничего не выражало, и я не мог уловить, доволен он или огорчен. Потом он снова смочил водой рубашку и обернул ногу. За все это время он не сказал ни слова. С каким-то необычным, почти инстинктивным стремлением к порядку он заботливо сложил в кучку все вещи, подобрал и выбросил из палатки несколько сухих веточек. Затем спустился к ручью, чтобы умыться, и долго не приходил обратно; когда он вернулся, фуражка его полна была ежевикой и черникой, на черных взлохмаченных волосах блестели капли воды.

Сев рядом со мной, Ласло начал рассматривать в бинокль восточный склон котловины. Время от времени он проводил пальцем по подбородку, словно ему не давала покоя многодневная щетина, и иногда поправлял винт бинокля, застыв в удобной и все-таки какой-то напряженной позе.

Теплые солнечные лучи разморили меня, роса уже сошла, от лежащего на земле хвороста исходил сухой приятный запах. Мне снова захотелось спать; я лег на спину и стал смотреть на белый сияющий небосвод с изредка пролетающими по нему птицами; было радостно сознавать, что после бесконечной вереницы серых дней, каждый из которых заранее был известен до мельчайших подробностей, мир стал таким непонятным и удивительным. Интерес к окружающему на какое-то время ослабел, я испытывал покой и умиротворенность, будущее меня не тревожило, хотя, казалось, именно теперь у меня были все основания задуматься над ним.

Около полудня Ласло разложил костер. Мы поели хлеба с салом, грибов, ошпаренных соленой водой, и ягод. Когда вода в чайнике закипела, Ласло сразу же погасил костер, чтобы поменьше было дыма. Все это он

делал угрюмо, молча; за время обеда мы не обменялись ни словом. Потом он опять взял бинокль и сел на прежнее место. Я уже знал, что так он просидит до самого вечера, и это начало меня беспокоить: сам не понимаю почему, но мне хотелось слышать его голос. Я твердо решил спросить его о чем-нибудь, но еще не решил, как это сделать: накануне он велел обращаться к себе на «ты», и теперь я безуспешно старался преодолеть внутреннее сопротивление. Наконец я задал вопрос в безличной форме:

— Зачем нужно смотреть все время в бинокль? Мы чего-нибудь боимся?

— Все же заговорил,— сказал он сердито.— Хоть голос твой услышать, коли уж ты здесь. Ничего мы не боимся. А смотрю я затем, чтобы... Вот и тебя я так же увидел,— закончил он с неожиданной горечью в голосе.

Через час он опустил бинокль и повернулся ко мне. Я заметил, что белки его глаз покрыты густой сеткой красных жилок, наверное от постоянного недосыпания. Я насторожился — очевидно, у него созрело какое-то решение.

— Ну что ж, пора нам с тобой поговорить серьезно,— сказал он.— Вниз по ручью, километрах в трех, есть хутор. Вчера там были солдаты, да вечером ушли. А сегодня на заре я хотел договориться с хозяином, чтобы он взял тебя к себе. Зажила бы нога, ты бы ему по хозяйству помогал. Только он мне сказал, коров у него угнали, хлеба нет, двое сыновей на фронте, так что сирота ему теперь ни к чему. А я, понимаешь ли, не в таком сейчас положении, чтобы ходить по домам и просить за тебя.

В тот момент я чувствовал только благодарность к неизвестному хуторянину, отказавшемуся взять меня: я был полон недоверия и ненависти к людям, и хозяин этот едва ли остался бы мною доволен — в конце концов я сбежал бы и от него. Во мне жила уверенность, что счастье возможно лишь там, где нет людей. Ласло озабоченно смотрел на меня.

— Давай обсудим все как следует,— продолжал он.— Времена сейчас такие, что ты спокойно можешь помереть с голоду и в самом большом городе. И никто тебе не помешает.

— Я не помру, потому что останусь здесь.

— Один? Ты в своем уме?

Он в сердцах выругался и, отвернувшись от меня долго молчал. Потом сказал:

— Видишь ли, я объявил войну Гитлеру. Я воюю, и со мной тебе оставаться нельзя.

— Я останусь здесь, на этом самом месте.

Больше Ласло не стал со мной спорить. На закате он еще раз сменил влажную повязку на ноге, так что мне уже казалось, что нога от пятки до колена теперь никогда не отогреется. Мы легли под плащ-палатку и прижались друг к другу, чтобы не вымокнуть от ночной росы. Я заснул, но и сквозь сон чувствовал, как холодом обдает мне спину каждый раз, когда Ласло встает подбросить хвороста в костер.

Мы провели у скалы еще два дня. Ласло попробовал было в нескольких словах объяснить мне, что такое война, фашизм и почему он сбежал из армии. Однако я понял лишь то, что он подвергается смертельной опасности и что, пока я с ним, опасность грозит и мне. Но это не нарушило моего покоя: я радовался, что могу оставаться здесь и что Ласло Такач сидит рядом. Когда он уходил за водой к ручью, меня охватывала беспричинная тревога, которая проходила лишь с его возвращением. Я заметил, что, когда он возвращался, лицо его тоже было тревожным, пока он не убеждался, что я на месте и что со мной ничего не случилось.

Однажды он попросил меня прислушаться: не улавливаю ли я каких-нибудь звуков вдали.

— Будто гром гремит где-то,— неуверенно сказал я.

Он взглянул на небо, послушал немного.

— Нет,— сказал он,— это канонада. Наконец-то!

Его очень волновало то, что он ничего не знает о положении на фронте. Крестьяне, с которыми ему время от времени удавалось перекинуться парой слов, только повторяли разные панические слухи.

— Это канонада, Мишка,— повторил он. В глазах его на мгновение вспыхнул свет, который тут же словно затянуло пороховым дымом.— Она для нас будет вместо компаса. И придется быть осторожнее: скоро в окрестностях появится много солдат.

Теперь время потекло еще медленнее, тревожнее. Ласло с биноклем в руках беспрерывно следил за кустарником на склонах. Иногда он вспоминал, что не может от

меня избавиться, и отчаянно ругался. Если принимать его проклятия всерьез, можно было подумать, что каждый «несчастный сопляк, сбежавший из приюта», обязательно садится ему на шею. Злость его не обижала: была она искренней, но вполне справедливой — этого я не мог не признать.

Солнце клонилось к горизонту, когда Ласло вдруг привстал на колени и долго смотрел в одну точку.

— Не двигайся,— сказал он и протянул мне бинокль.— Вот они. Немцы, горные стрелки. Посмотри и ты на этих красавчиков, вон на той стороне.

Некоторое время в окулярах плавали лишь цветные пятна, потом я увидел ветки — так близко, что, казалось, сейчас они хлестнут меня по глазам. И наконец пятерых немецких солдат, идущих гуськом по краю котловины. Я видел их совершенно отчетливо, различал даже ремни и пряжки на туго набитых рюкзаках.

— Все,— сказал Ласло, когда немцы скрылись за гребнем,— кончилась наша тихая месса, теперь начинается торжественное шествие.

Вечером мы не разводили огня, сидели молча, прислушиваясь к каждому шороху, и смотрели, как снизу, со дна котловины, словно из какого-то скрытого резервуара, выползает, клубясь, холодный туман. Ночь была долгой и томительной. Перед рассветом, когда в холодном мраке только-только начали вырисовываться силуэты деревьев, мы сняли со стоек промокшую, задубевшую плащ-палатку. Нога моя за эти несколько дней стала значительно лучше, но до полного выздоровления было еще далеко. После небольшого раздумья Ласло снова обернул ее рубахой, туго обвязал бечевкой и принялся вырезать из стойки, теперь ненужной, костыль для меня. Он больше не ругался, был серьезен и задумчив, время от времени бросал на меня испытующий взгляд — словно пытаясь определить, смогу ли я вынести все, что нас ожидает впереди. Я в ответ улыбался. Наконец мы двинулись в путь, туда, где первые лучи солнца прожгли утренний туман.

7

Шли мы по гребням невысоких гор, избегая тропинок и дорог, стараясь держаться под прикрытием деревьев. Огонь разжигали только днем, если дул ветер и мы были

уверены, что дым не будет подниматься над вершинами деревьев. Становилось все холоднее. В бинокль хорошо было видно, как в долинах облетают листья с буков и берез. Выйдя на южные отроги Келеменского нагорья*, мы дважды видели сверху блестящую ленту Мароша; Ласло сказал, что там, внизу, находится поселок, где он родился и провел детство.

Каждый раз, когда мы слышали орудийную или минометную пальбу, Ласло сразу же сворачивал туда, где стреляли,— фронт притягивал его, словно пламя свечи бабочку. Но стрельба, как правило, стихала или отдалялась, и мы оставались ни с чем, не зная, в какую сторону податься. Однажды совсем близко от нас раздалось подряд несколько взрывов. Путаясь в кустарнике, мы рванулись было в том направлении, но, к счастью, вовремя заметили свою оплошность: несколько солдат глушили гранатами форель в заброшенном пруду.

Оказываясь возле гатей и железнодорожных насыпей, мы часто видели солдат, немецких и венгерских: горных стрелков, пулеметчиков, минометчиков. Немцы вели навьюченных мулов, венгры — низкорослых, мускулистых степных лошадей. Горы становились для нас все более враждебными и суровыми, грозя лишить пищи и убежища. Теперь мы опасались подходить даже к ветхим, заросшим крапивой охотничьим домикам, пустым загонам для скота, покосившимся избушкам на горных лугах и далеко стороной обходили все деревни и хутора. Питались мы сырыми грибами, побитыми инеем ягодами ежевики и черники, собирая их на ходу, как лошадь в упряжке, которая старается ухватить клок травы на обочине дороги. По утрам в заиндевевшем лесу, где под ногами хрустели смерзшиеся листья, мы, посинев от холода, с нетерпением дожидались солнечных лучей, чтобы хоть немного отогреться.

От голода перед глазами у меня постоянно колыхалось какое-то легкое облачко, которое порой опускалось и на мозг. Словно сквозь туман видел я широкую спину Ласло, его загорелый затылок, ржавый ствол карабина, покачивающегося у него на плече. Он шел впереди, прокладывая дорогу в кустарнике, готовый к любым неожиданностям. В первые дни, когда мою поврежденную ногу

* Венгерское название нагорья Кэлиману в Трансильвании.

защищала лишь висевшая клочьями рубашка, он переносил меня через ручьи и трудные участки на руках или на спине. Казалось, он не знает ни усталости, ни страха: по крайней мере я всегда видел его лишь настороженным или яростным. С тех пор как мы покинули котловину, дела наши шли день ото дня хуже, однако он не бранился и даже стал как будто ласковее ко мне. Случалось, он останавливался, огрубевшими пальцами убирал волосы с моего лба, испытующе смотрел мне в глаза и спрашивал:

— Можешь двигаться, Мишка?

— Могу,— говорил я.

Я изо всех сил старался изобразить беззаботную улыбку на искаженном болью лице и произносил слова, которые услышал от него однажды ночью, когда холод не давал нам заснуть:

— Будет еще и для нас светить солнце.

Подобных поговорок, утешительных и ободряющих, существует немало, но я до сих пор признаю только эту: она неизменно воскрешает в моей памяти мрачную, угрожающую интонацию Ласло Такача, который никогда не позволял мне поддаваться унынию. Когда мы лежали ночью под какой-нибудь высохшей елью, накрывшись не гнущейся от мороза плащ-палаткой и стараясь согреть друг друга,— я чувствовал, что мне необходимы именно эти слова. С ними Ласло словно передавал мне частицу своей силы, целеустремленности, надежды.

— Будет еще и для нас светить солнце.

Это было наше заклинание. Я и сейчас не могу произносить его иначе, как суровым, угрожающим тоном.

Однажды утром, проснувшись, мы увидели над головой серое, сплошь затянутое тучами небо, к вечеру зарядил дождь. Ласло накинул на меня плащ-палатку, перевернул ружье дулом вниз и, сунув руки в карманы, спокойно продолжал идти вперед. Вскоре по фуражке, по плечам его темными струйками потекла вода. Лес наполнился таинственным шепотом и шорохом, крупные прозрачные капли скатывались вниз по иглам старых елей, густой липкий туман опустился на землю. Плащ-палатка быстро промокла, холодная сырость пропитала одежду. Я старался не обращать на это внимания. Физические тяготы я всегда переносил — да и сейчас переношу — довольно легко: больше страданий мне доставляют те удары судьбы, которые ранят душу и сердце. Там, в лесу, я

больше всего боялся одного: что Ласло Такачу надоест со мной возиться и он отошлет меня к чужим людям. Едва не теряя сознания от голода, я внимательно следил за его ловкими спокойными движениями, за выражением глаз, прислушиваясь к его голосу и прежде всего замечая малейшие проявления его симпатии ко мне. Одним словом, брошенным на ходу мимолетным взглядом он на несколько часов делал меня счастливым. Дождь лил упорно, не переставая, мокрые кусты и деревья, ржавые листья на раскисшей земле навевали тоску. Белые стволы поваленных ветром деревьев посерели от влаги; казалось, даже горы, которые до сих пор хотя бы раз в день улыбались нам, теперь угрюмо и злобно щерятся, стараясь еще более усугубить наши мытарства. Я часто оступался на скользкой почве; тело налилось свинцовой тяжестью, стало неловким, ногу то и дело пронзала острая боль. Из головы не выходила приближающаяся ночь, ночь, которую нам предстояло провести на голой земле.

В сумерки мы вышли на широкую, хорошо заметную тропу, и Ласло пошел по ней, хотя обычно избегал всяких дорог. Вдруг возле лужи я увидел словно бы свежий лошадиный след. Правда, это мог быть и след оленя, во всяком случае, Ласло тоже должен был его заметить; к тому же меня бил озноб и говорить было трудно. Я так ничего и не сказал Ласло, а вскоре совсем забыл про след, как вдруг впереди раздался громкий голос:

— Стой! Кто идет?

— Это я, не видишь, болван? — мгновенно ответил Ласло таким натуральным тоном, будто встретил старого друга, который его почему-то не узнал. Левой рукой он сжал мне плечо и легонько толкнул назад; а правую положил на пистолет и, не останавливаясь, двинулся дальше.— Заснул, что ли? Раньше надо окликать,— продолжал он добродушно, и вот его фигура пропала за завесой дождя и тумана, в густеющих сумерках, а я остался один под стекающими с веток каплями. Совсем близко, всего в нескольких шагах, неуверенный голос спросил пароль — в ответ раздался глухой удар. Ласло беззвучно возник рядом со мной, вытирая о штаны рукоятку пистолета, лицо его было серым, глаза округлились и лихорадочно горели.

— Не туда мы забрели,— сказал он вполголоса.— А теперь давай смываться, пока не поздно.

Но я ничего не понял из его слов — меня словно обдавало солнечными лучами, а в следующее мгновение я погружался в непроглядную ночь. Ласло схватил меня за руку и потащил в том направлении, откуда мы пришли; он громко вздыхал, словно ему не хватало воздуха. Потом, свернув с тропы, мы долго бежали по каким-то заросшим вырубкам, пробираясь между грудами поленьев и разваливающимися штабелями бревен, через густую крапиву, и все это было мокрым и скользким. Плащ-палатка непрестанно цеплялась за сучья, я сдернул ее и, скомкав, сунул под мышку. Быстро темнело. Во мраке слышался лишь шорох дождя да треск валежника под ногами. Я вспомнил про след на краю лужи и сказал:

— Я там на дороге лошадиный след видел.

Ласло остановился, холодные пальцы его сильнее стиснули мою руку.

— А почему молчал?

— Я думал, ты тоже видишь.

— Нет,— сказал он,— я не видел. Не заметил. В другой раз обязательно говори.

Вместо ответа я свалился на землю. Все, что меня мучило: голод, усталость, дождь, холод, темнота — все это вдруг ушло, уплыло куда-то; я ничего больше не ощущал. Не знаю, сколько прошло времени, пока я почувствовал, что дождь уже не льет на меня. Надо мной была натянута плащ-палатка, рядом горел небольшой костер. Ласло ломал ветки с листьями и втыкал их в землю вокруг костра, чтобы огонь не был виден издали. Он ругался вполголоса и, заметив, что я очнулся, сказал:

— Ну, ладно. С завтрашнего дня возьмемся за дело по-другому.

8

Мы лежали в высокой, по пояс, мокрой траве, в нескольких шагах от опушки ельника. Ласло принес меня сюда на спине. Мне все время хотелось спать, озноб сотрясал все тело.

Вокруг стояли молодые березки, белая кора их источала ни с чем не сравнимый аромат. Время от времени сверху падал, кружась, желтый лист; я брал его в руки, лист был гладкий и блестел, как натертый воском. Сильный ветер гнал низкие серые тучи,

Лес, который внезапно наполнился солдатами, больше не мог служить для нас убежищем; нужно было уходить куда-то и еще нужно было любой ценой добыть пищу. До сих пор мы избегали даже тропинок; теперь же внизу, прямо под нами, проходило шоссе, серое и широкое, с большими, рябыми от ветра лужами. Немецкий солдат на обочине ремонтировал желтый мотоцикл с коляской; мы были так близко от него, что без бинокля могли видеть каждое его движение. Вот он на несколько минут прервал свою работу, снял серый резиновый плащ, пилотку, защитные очки, бросил все это на брезент, которым была закрыта коляска, засучил рукава кителя и снова нагнулся к мотору. Мы отчетливо слышали звяканье ключей и бесконечные отчаянные ругательства, доносящиеся снизу. Немец часто посматривал на небо, словно опасался воздушной тревоги; когда по шоссе проезжала телега, он размахивал руками и кричал, предупреждая, чтобы не наехали на разбросанные по земле инструменты.

Приподнявшись на локтях, Ласло пристально следил за немцем. В зубах он держал травинку, но вопреки обыкновению не грыз ее. Время от времени он прикрывал глаза, словно от утомления, вообще же не шевелился и, казалось, даже не дышал. Лицо его покрывала густая и довольно длинная борода, в которой запутались хвойные иглы, паутина, кусочки лишайника. Руки были черными от сосновой смолы, промокшая форма покрыта пятнами грязи. Я пытался угадать, о чем он сейчас думает и сколько мы здесь еще пролежим. Однако по лицу Ласло трудно было о чем-либо судить. В ту минуту — хотя он хорошо знал, что намерен делать,— его интересовало лишь, удастся ли немцу завести мотоцикл. С досадой скривив рот, он шепнул мне:

— Держу пари, что я бы за пять минут его починил.

— Конечно,— ответил я.

Мы продолжали молча следить за немцем. Мотор наконец взревел, однако Ласло, явно неудовлетворенный, пробормотал:

— Один из цилиндров не работает... Так ты далеко не уедешь, сволочь.

Там, внизу, немец, видимо, пришел к тому же выводу. Он отсоединил аккумулятор, из футляра для инструментов вынул новую свечу. За это время тыльной стороной

тонкой белой ладони он дважды вытирал вспотевший лоб. Ласло едва заметно кивнул своим мыслям, потом неожиданно сказал:

— Если б знать точно, что он сволочь...

Желая его успокоить, я ответил:

— А кто же еще? Сволочь, конечно.

Он покосился на меня:

— Да? Ты тоже так думаешь? Потому что это ведь совсем другое дело, когда знаешь кого-то лично и имеешь все основания его ненавидеть... Ну, впрочем, все равно. Ты прав, он наверняка сволочь.

Теперь Ласло уже с напряжением следил за немцем, ставящим новую свечу, и время от времени бросал быстрый взгляд вправо и влево на безлюдное шоссе. Потом выплюнул травинку, прикусил нижнюю губу и прополз немного вперед. С деревьев на нас падали желтые листья. Мотор внизу наконец завелся и работал ровно, без перебоев.

— Теперь порядок,— сказал Ласло как бы самому себе. Затем обернулся ко мне и с искаженным лицом процедил сквозь зубы: — Ползи обратно, за деревья! Быстро!

Я пополз, хватаясь за мокрую траву и подтягиваясь на руках. Ветер приклеил мне на шею мокрый лист — словно лягушка на меня прыгнула. Едва я дополз до выступающих из земли рыжих корней ели, как сзади прогремел карабин Ласло и на голову мне градом посыпались холодные капли. Я быстро скатился туда, где мы только что лежали. Ласло там уже не было: он мчался вниз по склону огромными прыжками, дергая на бегу затвор карабина. На шоссе безмятежно работал мотор мотоцикла, время от времени выпуская из выхлопной трубы белый дым. Немец лежал поперек сиденья, свесив руки к земле. Ласло поднял его, как мешок, и швырнул в канаву, забросав сверху бурьяном. Потом сел в седло, дал газ, повернул руль вбок и переехал через канаву. С надрывным, душераздирающим воем мотоцикл пополз вверх по склону, прямо ко мне, его то и дело сильно встряхивало, пружины седла стонали, пилотка, очки и плащ немца сползли в траву. Ласло, заметив это, сделал круг и подхватил плащ левой рукой.

Не прошло и полминуты, как мотоцикл, ломая молодую поросль, въехал в лес и в лицо мне ударил запах

горячего масла. Ласло сорвал с коляски брезент, вынул серый рюкзак, фляжку, завернутый в тряпку термос, взял все это под мышку и схватил меня за руку.

— Нет,— сказал он затем и отпустил меня.— Так дело не пойдет.

Он побросал все обратно в коляску, туда же кинул плащ, а потом посадил и меня. Я скорее лежал, чем сидел, в этом холодном, громыхающем жестяном ящике, фляжка давила в бок, рюкзак мешался в ногах. Мы спустились обратно на шоссе. Немца почти не было видно, из-под травы торчал лишь сапог да поблескивала зеленой эмалью потертая пряжка поясного ремня. В серой грязи на дороге краснело несколько капель крови. Ласло дал газ; мотоцикл, громовым ревом сотрясая воздух, рванулся вперед. Бешеный ветер бил мне в лицо с такой силой, что нельзя было поднять веки; казалось, если скорость еще немного увеличится, мы оторвемся от мчащейся под колеса грифельно-серой ленты и полетим по воздуху. Мы неслись мимо каких-то домов, мимо медленно тащившихся телег, в одном месте я даже как будто заметил солдат, сидящих у дороги под сухим деревом. Закрываясь ладонью от ветра, я следил за Ласло, который, сощурив глаза, с каменным лицом смотрел вперед, мой локоть иногда стукался о его колено.

Все это заняло несколько минут. На одном из поворотов, где по обе стороны шоссе темнели деревья, мы влетели в лес и еще довольно долго ехали вглубь, прыгая по корням и ломая ветви. Наконец мотоцикл, оглушительно ревя, съехал в заросший кустарником овраг; со дна его поднимался высокий, в рост человека, папоротник, почва была болотистой.

— Так-то будет лучше,— сказал Ласло. Он слез с завалившегося набок мотоцикла, вынул меня из коляски, тыльной стороной ладони вытер слезящиеся от ветра глаза и осмотрелся.— И шоссе, глядишь, пересекли.

Мы сразу же пошли дальше и часа через два ходьбы устроили привал на краю спешно покинутой вырубки, среди пахнущих смолой бревен и пней. Ласло отвернул колпачок термоса, понюхал.

— Чай с ромом,— сказал он.— Еще горячий.

Наполнив доверху пластмассовый стаканчик, он протянул его мне. Рука Ласло дрожала. Я никогда еще не видел его таким измученным, как в тот момент: он похо-

дил на старика, который преждевременно изнемог в борьбе с жизнью. Но я еще слишком плохо знал жизнь и людей, чтобы догадаться, что происходит в его душе, хотя каждый его поступок, каждая мысль были просты и понятны. Против воли я все еще думал о торчащем из травы грязном сапоге и о каплях крови на дороге; рука моя, которую я протянул было за чаем, вдруг отяжелела, и я сказал, что не люблю чай с ромом и не буду его пить. Ласло удивленно воззрился на меня, затем глаза его, помутневшие от гнева, расширились.

— Ты что это забрал себе в голову? — закричал он так, что лес зазвенел ответным эхом.— Для кого же я добывал этот чай? Не нравится, что я немца застрелил? Так мне это тоже, если хочешь знать, не нравится! Говорил я тебе, не сиди у меня на шее — вот и шел бы ко всем чертям. Будь я один, не знал бы никаких забот. Ну, а если уж ты со мной остался, так я тебе не дам сдохнуть с голоду!

Последние слова он произнес совсем тихо, со сдержанной яростью. Я выпил чай и съел два куска хлеба с маслом. Ласло набросил на меня серый резиновый плащ, сам завернулся в мокрую плащ-палатку и лег на землю, в тот день он больше не сказал мне ни слова.

Плотные темные облака, закрывающие небо, не ушли и на следующий день. Со всех сторон слышалось эхо разрывов, иногда ветер доносил продолжительный, прерывистый стук пулемета. Ночью на облаках играли отблески дальних пожаров, как беззвучный, в полнеба, крик о помощи. Бои шли вокруг нас, и мы, потеряв всякую ориентацию, с напряженными до предела нервами метались от вершины к вершине. На какой-то широкой просеке мы наткнулись на подожженные боеприпасы; отступающая часть, видимо, была еще близко, потому что огонь едва успел добраться по сухим маскировочным веткам до сваленных в кучу ящиков. Вскоре начали трещать в огне винтовочные патроны, потом, когда мы отошли на несколько сот шагов, землю потрясли друг за другом пять сильных взрывов. Ласло, не оглянувшись, сказал:

— Ящики с гранатами.

На следующий день, около полудня, грохот боя доносился уже только с севера и запада. Внизу, на дне долины, вдоль ручья, извивалась недавно сооруженная, белая еще гать, по ней цепочкой ехали шестеро всадников.

Ласло схватил бинокль и долго смотрел на них, облизывая языком потрескавшиеся губы, потом повернулся ко мне и прежним неловким движением убрал волосы у меня со лба.

— Ты, наверное, еще не видел русских,— сказал он. Я удивился, каким добрым стало вдруг его угрюмое бородатое лицо.— Вот бинокль, смотри: там, внизу, русские солдаты.

— Русские? Значит, война кончилась?

— Эх, если бы... Ну, мы-то с тобой можем больше не прятаться. Будем ходить там, где светит солнце. Давай руку, Мишка, пошли домой.

Он двинулся вперед большими шагами, я едва поспевал за ним бегом, то и дело спотыкаясь: некогда было смотреть под ноги. Широко раскрыв глаза, вглядывался я в ярко-желтые кроны берез, и к сердцу подступала грусть: мне почему-то казалось, что я больше никогда не увижу осеннего леса, тихо роняющего листья; будущее, даже завтрашний день, представлялось далеким и смутным, как затянутый серой завесой дождя горизонт.

9

И вот мы пришли, как сказал Ласло, домой. Солнце все еще пряталось в тучах, клубящихся в ветреном небе, все еще дымились развалины лесопильного завода, в густой грязи четко вырисовывались следы шипастых сапог немецких солдат-подрывников.

Мертвая, кладбищенская тишина лежала в поселке, сырой ветер выл в трубах нетопленых печей, стучался в забитые досками двери и окна. Венгерская полиция заставила всех жителей эвакуироваться, лишь трем-четырем семьям каким-то образом удалось здесь остаться. Среди них были и венгры, и румыны; ни те, ни другие пока не знали, как относиться друг к другу. В безлюдной тишине бродили они по поселку, забирались в пустые дома, влезали на чердаки — искали съестное.

Мы поселились в маленьком, состоящем лишь из комнаты и кухни домике; он был покинут уже давно, так что можно было не думать о возвращении хозяев. Дверей в нем не было, единственное окно зияло пустотой: стекла выбило взрывом, а рамы унесли крестьяне из соседней деревни. Из щелей в полу, между прогнившими досками,

росла высокая трава. Такое жилище — если не лучше — мы могли бы найти и в горах. Людей же, по сути дела, не было и здесь. Можно было подумать, что части освободительной армии пришли слишком поздно: врач застал больного уже остывшим. Ласло, однако, был спокоен и уверен в себе; он постарался сделать наш дом пригодным для жилья: добыл где-то две слишком большие для нашего окна рамы со стеклами и, прибив их к стене, закрыл оконный проем; ветер теперь уже не разгуливал по комнате. Из школы, где некоторое время размещался полевой госпиталь, мы притащили две железные койки и казенную печку-буржуйку. Ложась спать, Ласло все еще укрывался плащ-палаткой, а я — серым резиновым плащом. Около воротника плащ сладковато пах туалетным мылом.

Окно наше выходило прямо на машинный цех завода, стены цеха были покрыты копотью, рассечены широкими, в ладонь, трещинами. Ржавые, исхлестанные дождем остовы пилорам походили издали на порыжевшие могильные памятники. Ласло объяснил, что огонь выжег масло на них, потому они так быстро и покрылись ржавчиной. Среди машин иногда вдруг появлялся ребенок или старуха; они разгребали ногами мусор, должно быть сами не зная, чего ищут.

В деревне была создана народная милиция, в нее вошел и Ласло: многие крестьяне помнили его еще ребенком и знали, почему он в свое время, совсем юным подмастерьем, вынужден был уйти с завода. Теперь, взяв себе в помощь двух молодых парней, он обезвреживал минные поля в окрестностях, собирал гранаты и снаряды, в беспорядке разбросанные отступающими войсками. От взрывов, которые они производили, с потолка у нас кусками падала еще уцелевшая штукатурка. В эти дни Ласло приходил домой с серым от нервного напряжения лицом, настолько утомленный, что не мог даже есть.

— Вот закончим с минами, хотя бы в основном,— говорил он,— и возьмемся за машинный цех. Двигатели нам нужны и электричество.

В поселке, кроме него, только один старый кузнец мог работать с металлом. И все же вскоре они вдвоем начали восстанавливать завод.

Ласло все собирался пристроить меня куда-нибудь. Все говорил, что наведет справки,— ведь не может быть,

чтобы никто не думал о сиротах, оставшихся после войны; еще он говорил, что сиротские дома теперь будут не такие, как раньше. Мысль о том, что рано или поздно придется расстаться с Ласло, отравляла мне жизнь. Я почти все время лежал, охваченный какой-то непонятной слабостью, двигаться мог с трудом и часто кашлял — так сильно, что, казалось, голова вот-вот лопнет от прихлынувшей крови. Ласло как-то остановил на шоссе советскую машину с красным крестом и упросил сидевшего в ней капитана медицинской службы осмотреть меня. Врач, который немного знал по-румынски, объяснил Ласло, что у меня истощение; уезжая, он оставил бутылочку пахнущей анисом микстуры, мешочек пшена и полкило сахарного песку.

— Непонятный ты человек,— негодовал Ласло.— Столько перенес, а теперь, когда мы живем в покое и достатке, у него, видишь ли, истощение организма.

— Это меня покой и достаток доконали,— ответил я весело. Если разговор не касался предстоящего расставания, я всегда был весел и доволен. Ласло тоже рассмеялся, хотя и не без досады.

Зашла Жужа, соседка, она видела, что от нас вышел русский офицер, и заглянула полюбопытствовать. Было ей около двадцати пяти лет, муж ее не вернулся с фронта, однако, судя по всему, она не слишком по нему горевала. На Жуже было какое-то старое залатанное платье, босые ноги испачканы осенней грязью — и все же она была очень привлекательна: ее большие глаза напоминали цветом золотисто-зеленые надкрылья шпанской мушки, густые волосы и загорелая кожа тоже отливали золотом.

— Говорят, к вам офицер заходил, Лаци,— сказала она певучим, приятным голосом.

— Да, врач.

— Сына, что ль, осматривал?

Ласло беспомощно развел руками:

— Сколько раз тебе говорить, Жужа, что парнишка мне не сын? Я же рассказывал, где его подобрал. Могу рассказать еще, если хочешь.

— Ты это серьезно?

— Я всегда говорю серьезно, черт побери!

Жужа, недоверчиво улыбаясь, взглянула на меня, у нее были чуть-чуть редковатые, ослепительно белые —

как у молодых цыганок — зубы и полные, яркие губы. Пока они разговаривали, я смотрел только на Ласло. Было в его голосе что-то такое, что мне не понравилось: он словно оправдывался перед этой женщиной. Сейчас, без бороды, он выглядел удивительно молодо, с загорелого, обветренного лица исчезло угрюмое выражение, даже кожа возле глаз, покрытая прежде сеткой мелких морщин, теперь разгладилась. Солдатские брюки, запачканные грязью и машинным маслом, давно потеряли свой цвет; вместо старой рубашки, которая совсем разлезлась, он достал где-то новую, а солдатский китель сменил на белую полотняную куртку, которая уже лопнула по швам на плечах и локтях. Руки его и сейчас были черными — правда, не от смолы уже, а от копоти, машинного масла, железных опилок. На висках поблескивало несколько седых волосков.

— Вот думаю, куда бы его пристроить,— продолжал он беспечным тоном.— Как только немного освобожусь, займусь этим вплотную.

Что ж, думал я, будь что будет. Ведь я ему в самом деле не сын. Но Жужу я в тот же миг возненавидел до глубины души. Горящими глазами смотрел я на нее, ненависть моя только возрастала оттого, что вся она, ее лицо, тело, каждое ее движение были удивительно красивы. Мне бы хотелось видеть ее хромой или горбатой, с рубцами на лице. Собственно говоря, в те времена я питал антипатию ко всем, кроме Ласло; полный недоверия, я все ждал, что окружающие меня люди вот-вот сбросят человеческое обличье и превратятся в хищных зверей. Наверное, я был похож на собаку, которая не признает никого, кроме хозяина. По вечерам к нам заходил иногда старый кузнец, приходили и люди из деревни — худые оборванные крестьяне, которые уже мечтали о будущих счастливых временах. Они насквозь прокуривали комнату добытой у русских солдат махоркой, закрученной в газетную бумагу или в вырванные из старых книжек листы. А порой Ласло пропадал где-то допоздна. В такие вечера я с тоской вспоминал о ночах в заиндевелом осеннем лесу: там по крайней мере мы всегда были вдвоем, только вдвоем.

Жужа рассеянно слушала Ласло, изредка бросая на него задумчивый взгляд, иногда вставляла пару слов своим мелодичным голосом. Они вспоминали детство:

знали они друг друга еще с тех пор. Солнце уже садилось. Меня злило, что Жужа не уходит: на вечер у нас была намечена стирка. Наконец Жужа вспомнила, что ей нужно подбросить дров в печку, иначе ужин не будет готов до ночи. Она промелькнула за окном, последние солнечные лучи блеснули золотом в ее волосах. Ласло долго сидел, глядя в стену неподвижным взглядом и ковыряя ногти, потом сбросил на кровать куртку и потуже затянул широкий ремень.

— Ну, пошли стирать,— сказал он.— Белье собрал?

— А как же, до последней тряпки,— ответил я.

— Ничего не забыл?

— Ничего не забыл, не бойся.

Надо сказать, что тогда все наше белье было на нас. Ласло сунул руки в карманы и зашагал по извилистой тропинке, ведущей через поселок к Марошу. Было холодно, небо на западе отливало зеленью, где-то ревели тяжелые мотоциклы. Ни одно окно в поселке не светилось: дома большей частью стояли пустыми, да и затемнение пока не отменили, так как фашистские самолеты еще довольно часто гудели в небе. Безжизненной лежала под ногами земля, мертвыми были дома и очаги — напрасно мы ждали, что со дня на день в них возвратятся люди. Кажется, бои тогда шли еще где-то под Салардом.

На голом замусоренном берегу мы разделись и с помощью небольшого куска мыла постирали белье. Верхнюю одежду пришлось пока натянуть на голое тело.

— До чего ж студеная эта чертова вода,— сказал я.— Пора бы нам завести корыто или таз. Неужели, чтобы постирать бельишко, и зимой придется делать прорубь?

— Не придется,— ответил Ласло.— Завтра достану корыто. Если не найду готовое, смастерю сам. У меня тоже душа стосковалась по теплой воде.

Но нам совсем не о том хотелось говорить: другое было на сердце. Я вытаскивал мокрую рубаху, снова погружал ее в воду и смотрел на матовые подрагивающие круги, что бежали, все расширяясь, к противоположному берегу, к голым неподвижным ивам. Вода была совсем черной, над нею жидкими струйками плыл туман; яркий, режущий глаза блеск звезд предвещал мороз. Ласло, оттирая руки песком, задумчиво сказал:

— Вижу я, Мишка, дело твое отодвигается. Эх, ладно, мать честная, не будем больше пока говорить об этом.

С той минуты мир предстал передо мной совсем в ином свете: все вокруг обрело смысл, сердце согрела надежда, хотя жизнь среди руин по-прежнему была суровой и безрадостной. Я вынужден был признаться себе, что хворь моя была притворной или по крайней мере сильно преувеличенной — и все из-за того, что я боялся расстаться с Ласло. Пожалуй, я даже и не притворялся — меня делала больным перспектива вновь остаться в одиночестве, во всяком случае, с того вечера я начал выздоравливать не по дням, а по часам. Мне часто хотелось петь, но я не знал таких песен, которые могли бы выразить то, что меня переполняло. Песни, запомнившиеся с приютских времен, не могли идти в счет, я беспомощно озирался, не понимая, чего же мне не хватает; казалось, судьба обделила меня в чем-то, что дано любому другому человеку. Долго еще предстояло мне ждать, пока появится в поселке электричество, пока заговорят те несколько старых радиоприемников, что сохранились здесь с довоенных лет, и музыка наконец прогонит мучительное ощущение, будто я потерял что-то очень важное. Еще долго предстояло ждать и терпеть, пожалуй, поэтому я до сих пор так люблю ликующие, взлетающие к небесам финалы, в которых долго сдерживаемые чувства словно прорывают невидимую плотину и сердце человеческое, вырвавшись на свободу, устремляется в захватывающую дух высоту.

Когда по вечерам у нас собирались люди — а собирались они часто, потому что было их мало и они тянулись друг к другу,— я суетился вокруг них, как радушный хозяин: подвигал им круглые чурбаки, служившие нам стульями, подавал горящую лучину — прикурить цигарку, набирал в кружку воды, когда кто-нибудь хотел пить. Правда, я один был таким оживленным и подвижным — остальные сидели, глядя куда-то вдаль, разговор шел вяло, с долгими паузами.

— Не слишком-то спешат земляки возвращаться по домам...

— Не могут, видно. Фронт близко.

— Зима, говорят, будет холодная...

— Достать бы мотор, чтобы хоть электричество было...

Ласло редко вставлял слово: он точно ждал кого-то — не тех, кто здесь сидел,— других людей; он никогда об

этом не говорил, но я чувствовал, что весь он полон ожиданием. Часто мне хотелось его спросить, можно ли уже сказать, что солнце светит и для нас? Или нужно еще подождать? Странная это была осень, стылая, холодная, как грязь на дорогах; жизнь еще не проснулась окончательно — она лишь протирала глаза и зевала, но и в этом медленном пробуждении таилась какая-то скрытая пока энергия.

10

Не знаю, как уцелела эта стена, когда все кругом лежало в развалинах, но мне она вполне подошла; она представляла собой прямоугольный треугольник с основанием бо́льшим, чем высота. Я взобрался наверх по катету треугольника и улегся на живот, верхние кирпичи, расшатавшиеся в своем цементном гнезде, оказались у меня под локтями и грудью, и держать бинокль было очень удобно.

Ласло часто уходил из дому с преувеличенно спокойным видом, говоря, что идет проветриться. Однажды, взяв бинокль, я прокрался за ним и увидел — правда, с довольно большого расстояния,— как он обезвреживал на склоне горы небольшое минное поле с противотанковыми и противопехотными минами, как, лежа в грязи, выдергивал у них ядовитый зуб-взрыватель и затем бросал их в кучу, словно это были поленья. Я не сказал Ласло, что видел его, сам же он ни словом не обмолвился, хотя ему и раньше приходилось выполнять такую работу и он никогда не скрывал этого от меня — разве что я узнавал о ней немного позднее, когда он возвращался домой. Однако с тех пор как я своими глазами увидел его за этим занятием, в сердце у меня поселился страх; мысль о том, что и сейчас, когда война давно ушла из этих мест, я могу потерять его в любую минуту, постоянно преследовала меня. Каждое утро, когда он уходил из дому, я крался за ним; правда, чаще всего он шел на завод, где они вдвоем со старым кузнецом приводили в порядок мастерскую, ремонтировали станки, рисовали на клочках бумаги какие-то схемы. Но вот сегодня, под вечер, за Ласло пришла женщина — и я, хотя не слышал их разговора, каким-то шестым чувством вновь ощутил

угрозу, которой вдруг повеяло от затаившихся в земле снарядов.

Ласло стоял на коленях у осыпающейся стены котельной — один под серыми тучами, низко плывущими в небе; свинцовый предвечерний сумрак окружал его, как вода; вдали виднелась деревня: белые и синие стены домов, черная черепица на крышах — жизнь шла своим чередом, никто не играл в прятки со смертью, никто, кроме Ласло. Помощники его находились где-то поблизости, в укрытии, и должны были задерживать случайных прохожих — к этому пока и сводилась их задача. Только Ласло не имел права прятаться. Он стоял на коленях на небольшом куске фанеры, в своей белой полотняной куртке и грязных солдатских штанах; перед ним, на уровне его живота, из кучи обломков что-то торчало — я не мог разобрать, тяжелая мина или небольшая авиабомба: и у той, и у другой стабилизаторы на хвосте почти одинаковы. Ласло, чуть ли не с нежностью поглаживая снаряд, очищал его от земли и кирпичного крошева; казалось, он играет им, как ребенок любимой игрушкой; порой на его лице даже как будто появлялась ласковая терпеливая улыбка — когда сверху скатывался кусок кирпича или штукатурки, чтобы найти себе более надежное место внизу, у подножия кучи. Время от времени я ненадолго переводил бинокль на наш дом и видел голую землю вокруг него и узкую тропинку, ведущую от дороги к дверям. Рядом стоял домик Жужи, такой же маленький, но гораздо более аккуратный; она как раз что-то делала на крыльце, я видел ее округлые смуглые руки, падающие на спину волосы, сухие серые листья плюща. Жужа, конечно, не знала, чем занят в эту минуту Ласло, и мне почему-то было ужасно обидно думать об этом. Хотелось, чтобы все люди затаив дыхание следили за его работой.

Конечно, было бы легче, ничего не подозревая, валяться дома, а если уж я оказался здесь, спокойнее было бы, отложив бинокль, лежать на влажных кирпичах и смотреть на темные, со светлой каймой облака, быстро и бесшумно плывущие в небе. Но ведь Ласло тогда остался бы совсем один. Сидя дома, я получил бы небольшую отсрочку и лишь спустя четверть или полчаса узнал бы от чужих мне людей о случившемся; но мне не нужна была даже минута отсрочки — я и сейчас, став взрослым, пред-

почитаю переживать случившееся в тот же момент, без отсрочек и проволочек. Я лежал на стене с биноклем в руках и думал: если уж счастью моему суждено оборваться, то пусть оно оборвется сразу, вместе с рванувшимся вверх облаком пламени и бурого дыма. Я лежал на стене, на расшатанных, постукивающих подо мной кирпичах — и перед моим мысленным взором, как самая прекрасная мечта, стояла одна картина: Ласло и я, взявшись за руки, идем домой. Это было все, чего я еще хотел от жизни.

Никто из случайных прохожих так и не появился около котельной — Ласло мог работать без помех; бомба уже выглядывала из земли до половины, но другая половина — передняя — все еще была скрыта обломками. Ласло сделал небольшую передышку, выгнул спину, потянулся, поиграл мускулами на руках, потом внезапно наклонился и ухватил бомбу под самым стабилизатором. Из облаков ненадолго появилось садящееся солнце, красноватым светом залив всю долину и Ласло, тянувшего бомбу; я отчетливо видел его глаза, которые в тот момент превратились в черные угольки, и губы, ставшие едва заметной белой полоской. Его движения были медленными и осторожными, и я знал, что это, может быть, последние его движения.

Бомба наконец выползла. Подперев ее коленями, чтобы не скатилась, Ласло наклонился над нею, даже перегнулся через нее. Это повергло меня в отчаяние, хотя в такой ситуации нет никакой разницы между несколькими дюймами и несколькими шагами. Он ощупывал, очищал пальцами взрывное устройство: я догадался, что этот тип бомбы ему недостаточно знаком и он лишь сейчас изучает его. Я смотрел только на его руки: они двигались точно так же, как в тот момент, когда он отвинчивал колпачок с термоса немецкого мотоциклиста. Медный взрыватель вдруг оказался у него в пальцах, и Ласло, сам не веря своим глазам, повертел его, потом сунул в карман. Грубо, как ребенок надоевшую игрушку, он отшвырнул от себя бомбу; я отчетливо слышал металлический звук и хруст раздробленных кирпичей, а потом хриплый голос Ласло, в котором не было и нотки облегчения:

— Эй, ребята! Можно уносить.

Вылезли из своих укрытий помощники и, обхватив

бомбу, понесли ее в лес, чтобы взорвать где-нибудь в овраге.

Я спрыгнул со стены. Спрятать бинокль было некуда, и я просто повесил его на шею. Ласло заметил меня и, разминая затекшие ноги, двинулся прямо ко мне, взял за руку, и мы пошли домой.

Странно, но я тоже не чувствовал облегчения. Ведь в окрестностях было разбросано еще много мин и снарядов. Дул холодный ветер, стучали голые ветки ив на берегу Мароша, вдали, на обочине шоссе, дугой изгибались тополя. Посмотрев на Ласло снизу вверх, я увидел, что лицо его залито потом, пот проступил и на куртке: на спине и под мышками.

— Пойдем быстрей,— сказал я.— Простынешь.

— Не простыну. Дай подышать свежим воздухом.

— Я очень тебя прошу, Ласло, не разряжай больше мин.

Он отпустил мою руку, вынул сигарету, закурил и выдохнул дым прямо мне в лицо.

— Честно говоря, мне в этих минах тоже мало радости,— сказал он сухо.— Но не могу же я допустить, чтобы невинные люди взлетали на воздух.

— Ты тоже невинный!

— Конечно, невинный. Как ягненок. Только такой ягненок, который кое-что понимает в минах. Не забывай об этом. И не сердись, пожалуйста, но хватит с меня этого Ласло. Как-никак, живем вместе, ты бы мог меня звать и поласковее.

— Например, Лаци?

— Например, Лаци.

— Ладно.

Но я уже в тот момент знал, что ничего из этого не выйдет и что для меня он на всю жизнь останется Ласло. Мы шли не спеша, нам нужно было сделать всего шагов триста среди обугленных остовов старых грузовых платформ; ветер приносил откуда-то горьковатый дым сжигаемого в садах мусора. Солнце опять спряталось в тучах или, может быть, уже зашло за горизонт; угрюмые холодные сумерки опускались в долину.

Перед домом нас ожидал полицейский — приземистый человечек, весь как будто состоящий из ремней, желтых нашивок и обмоток. Я с ним пока ни разу не сталкивался, но слышал о нем немало дурного: он еще до войны

служил в этой деревне и теперь, когда снова смог сюда вернуться, совсем озверел. Он на всех углах кричал, что не желает тут видеть живого венгра, но и румынам щедро раздавал пинки и зуботычины, а смазливых молодух забирал со своими подручными в участок. Я понятия не имел, зачем он явился к нам. Ласло вежливо пригласил его в дом, зажег лампу и спросил, что ему угодно.

— Документы,— коротко бросил полицейский.

Он поискал глазами, куда бы сесть, но сесть было некуда: желтый свет лампы освещал круглую чугунную печку, железную койку Ласло, несколько кастрюль с отбитой эмалью да круглые чурбаки вдоль стен с облупившейся штукатуркой. В комнате он увидел бы лишь мою койку: мы поставили ее туда, чтобы Ласло, вставая рано утром, не будил меня. Чурбаки служили нам стульями, но полицейского они не устраивали. Он остался стоять, с каменным лицом ожидая, когда мы выложим ему документы. Однако таковых у нас не было.

— Для чего документы? — спросил Ласло.

— Не ваше дело!

Ласло кивнул мне, чтобы я ушел в комнату, и закрыл за мной дверь. Я не слышал, что они говорят, это не давало мне покоя, и вскоре я открыл дверь и опять вышел в кухню — тихо, стараясь не шуметь. Ласло стоял у окна, спиной к полицейскому, и, глядя в темноту, говорил:

— Придет время, мы точно узнаем, кто служил нацистам, а кто нет. В этом мире нет вечных тайн. А теперь... Видите, у меня и ружье есть на всякий случай. Спокойной ночи!

— Повернуться ко мне! — закричал полицейский.— И стоять смирно!

Ласло не повернулся, голос его был спокоен:

— Убирайтесь отсюда. И радуйтесь, что шкура осталась цела.

Он наконец обернулся, и мне показалось, в комнате стало темнее от его угрюмого лица и холодных неподвижных глаз.

— Пора уже положить конец шовинистической травле и самодурству кретинов-полицейских, вы не находите, господин фельдфебель? Перед войной — вы, потом — венгерские жандармы, теперь опять вы... С нас хватит, понятно? Скоро здесь снова начнется жизнь, только не

старая, а новая жизнь, совсем новая... Взгляните на мои руки: мы вдвоем пытаемся отремонтировать хотя бы несколько станков, я обезвреживаю мины, снаряды... Почему бы вам, вместе с вашей сворой, не взяться собирать разбросанные боеприпасы? Скажете, не разбираетесь в них? Нет, фельдфебель, дело здесь совсем в другом — дело в том, что вы трус и мерзавец, и, если вы сейчас же не уберетесь отсюда по-хорошему, я вас возьму за шиворот и выкину ко всем чертям. Я кончил.

Полицейский ушел, пригрозив рассчитаться. Ласло заложил руки за спину, тяжело ступая, прошелся несколько раз по кухне и комнате, потом остановился передо мной и, словно впервые попав сюда, оглядел наше жилище.

— И вот это хотел у нас отнять этот кровопийца?

— Зря ты его не вышвырнул,— сказал я.

— Ничего, скоро мы с товарищами из деревни вышвырнем его совсем. Держу пари, он здесь недолго останется!

И действительно, через четыре дня его вышвырнули. Ночью на деревенской площади при свете фонарей и коптящих черным дымом факелов готовились к отъезду полицейские клики Маниу*; они потребовали для себя десять телег и доверху нагрузили их скопившимся в подвалах сельского управления имуществом: радиоприемниками, бельем, собранным в покинутых домах, мебелью. По обеим сторонам площади, вдоль заборов, наблюдая за этой погрузкой, толпились молчаливые крестьяне: в дымном свете факелов поблескивали глаза старух в темных шалях, мелькали высокие бараньи шапки ребятишек, хмурились морщинистые, заросшие щетиной лица мужчин. Бойцы народной милиции с ружьями в руках окружили телеги и заставили снять все, что не принадлежало полицейским. В конце концов те уехали на двух, далеко не полных телегах. Рассеялись по деревне фонари и смоляные факелы, один за другим гасли, исчезали, уступая место мирной домашней темноте, мы же с Ласло побрели к себе в заводской поселок, где горький запах копоти смешивался с затхлым дыханием заколоченных нежилых домов.

---

* Маниу — один из реакционных деятелей в коалиционном правительстве Румынии 1944—1946 гг.

Даже дрова для печки причиняли нам немало хлопот. Фашисты вывезли с товарного двора обработанное дерево, пригодное для использования, и все, что смогли увезти с заготовочного двора. Оставшиеся кряжи переработать на дрова было не так-то просто, и крестьяне из деревни искали более доступное топливо — ломали, например, заборы, несмотря на то, что несколько рабочих семей, живущих в поселке, охраняли завод, насколько это было возможно.

Ласло запретил мне добывать дрова подобным способом. А топить было нужно. Вдвоем с Виктором, сыном чахоточной вдовы, мы раздобыли пилу и теперь целыми днями распиливали несколько старых, но не сгнивших еще буковых бревен. Здесь я впервые узнал, что такое труд: это не походило ни на одно из тех дел, которыми я занимался прежде, это была настоящая работа или по крайней мере что-то очень на нее похожее. Пила шла легко, выбрасывая мне на ноги струю мягких, терпко пахнущих опилок, и на каждое неверное движение отзывалась резким звоном, как бы напоминая: не сгибай меня, тяни легче, без усилий! К вечеру спина и ноги гудели от усталости, но на сердце было легко и радостно; постепенно я заложил дровами стену в кухне и в комнате до самого потолка.

Печка же у нас была одна — казенная круглая буржуйка; она не могла согреть весь дом, даже если бы мы поддерживали в ней огонь круглые сутки. Я натаскал кирпичей от взорванного брикетного пресса и начал складывать в комнате очаг, такой же, как у Жужи. Иногда раз по десять на день я бегал к ней, чтобы посмотреть, все ли делаю правильно. В доме у Жужи была чистота, и, как мне тогда казалось, царила невероятная роскошь, особенно меня поражали лежавшие на полу пестрые цветные дорожки. Она тоже несколько раз заходила к нам: опасалась, как бы мое сооружение не рухнуло мне на голову; прикусив губу, она молча наблюдала, как я работаю, и время от времени прерывисто вздыхала. Я не забыл, как Ласло оправдывался перед Жужей, и продолжал ненавидеть ее; тем не менее мне было приятно, когда она стояла у меня за спиной и я, подняв глаза, мог видеть ее золотые волосы, падающие на гладкий лоб. Жужа

была чуть-чуть выше меня. Она могла подолгу, не мигая, смотреть на какой-нибудь предмет — при этом пухлые губы ее подрагивали едва заметно и без всякой видимой причины.

Работу мою в конце концов закончил Ласло. Надо сказать, что шедевра у нас все равно не получилось: очаг мы складывали без всяких огнеупорных материалов, на глине, которую перед этим долго держали в доме, чтобы она оттаяла. Жужа теперь стояла за спиной у Ласло, часто мешая ему, однако он не сердился, а, взяв ее за плечи, поднимал, как ребенка, и переставлял на другое место, и оба они смеялись. Жужа уже не расхаживала босиком, на ее маленьких ногах были старые, стоптанные — домашние, как она говорила,— туфли. Платье чаще всего было слишком большим для нее, заношенным, но чистым. От волос Жужи исходил сладковато-терпкий волнующий аромат — такой аромат стоит в залитых солнцем фруктовых садах, едва тронутых увяданием. Не нравилось мне, как они с Ласло улыбались друг другу. Однажды она вызвалась постирать рубашку Ласло. «Твои рубашки» — так она сказала. Ласло вежливо отказался. У нас с ним по-прежнему было всего по одной рубашке, и по-прежнему мы стирали их в Мароше раз или два в неделю.

Поддерживать порядок в доме было моей обязанностью. Я же готовил пищу, правда, это не отнимало много времени: насколько я помню, всю осень и даже всю зиму мы питались мамалыгой, картошкой и печеной кормовой репой. Масло, жиры, сахар мы разве что видели иногда. Конечно, если бы я попросил, Ласло наверняка смог бы все это достать; но я не обращался к нему с подобными просьбами, а ему самому это просто в голову не приходило. Единственной нашей радостью была печка: мы оба любили огонь и до поздней ночи жгли дрова, слушая уютное потрескивание и глядя на успокаивающую молчаливую игру бликов на стенах. Каждый вечер перед приходом Ласло я нагревал воду и потом тер ему спину — за неимением мыла — мелким речным песком.

Жизнь наша, как я теперь вспоминаю, не была легкой. Особенно страдал я от мысли, что слишком мало делаю по хозяйству. Когда наступал вечер и волевое лицо Ласло расслаблялось, смягченное усталостью, я начинал ходить взад и вперед, проверяя, достаточно ли я устал, и

если находил, что недостаточно, меня мучили угрызения совести.

В один из таких вечеров я долго не мог уснуть: лежа на своей койке, я время от времени вставал, подкладывал дров в обе печки и раздумывал о том, сколько мне пришлось пережить с прошлого лета — больше, чем за все предыдущие годы. Вдруг я услышал, что Ласло встал, оделся, а затем тихо вышел из дома. Я тоже встал, подошел к окну. Ласло стоял перед домом в накинутой на плечи куртке, смотрел на небо и задумчиво поглаживал подбородок. Была лунная студеная ночь; на фоне неба четко вырисовывалась зубчатая, черная с серебристой каймой, стена леса; в белом сумраке казалось, что земля покрыта серо-голубым инеем. Ласло нерешительно пересек двор, поднялся на крыльцо Жужи, погладил сухие плети плюща, которые, как повсюду на свете, взбегали по натянутым бечевкам до самой крыши. Крыльцо было в тени, и я скорее угадал, чем увидел, как Ласло постучал в дверь. Прошло некоторое время, потом дверь открылась, и на пороге смутно забелела ночная рубашка Жужи. Они обменялись несколькими словами и вошли в дом. Я подождал немного, но свет в окнах так и не вспыхнул, дом оставался темным и тихим; лунное сияние, как холодная мутная жидкость, стекало на черепицу крыши, и на голую землю двора ложились косые тени нескольких столбов, оставшихся от забора.

В то время я еще не знал, что человеку свойственны самые разнообразные чувства, что людей могут связывать уважение, дружба, любовь и еще бог знает что — и все это порой прекрасно уживается в одном сердце, нисколько не мешая друг другу. Мое сердце без остатка было отдано Ласло, и мне казалось, так будет всегда. Теперь, когда мое предубеждение против Жужи оказалось справедливым, я со всей ясностью понял, что мне в этом доме нет места. Медленно вернулся я к своей койке и лег, натянув на себя плащ и сшитое из мешковины одеяло. Я решил дождаться Ласло и сообщить ему, что ухожу. Что такое труд, я уже знал и считал, что смогу заработать на жизнь, помогая заготавливать дрова или складывая печи, нужно лишь найти людей, которые будут платить за это.

Я ждал Ласло, но он не возвращался, и сон в конце концов сморил меня. Утром я вспомнил о своем намере-

нии, но Ласло меня опередил, будто между прочим, он сказал:

— Да, если ночью вдруг увидишь, что меня нет, не беспокойся. Может случиться, мне придется ненадолго уйти.

Он устало жмурился, казалось, голова его вот-вот упадет на грудь, черные глаза были затуманены счастьем. Видя, как ему хорошо, я, забыв обо всем, сказал только:

— Когда же ты будешь отдыхать?

— Жизнь — это не только отдых,— ответил он неохотно. Затем набросил куртку на плечи и направился к двери.— Вскипяти чаю и принеси мне в мастерскую.

Через полчаса, принеся ему чай, я застал привычную картину. В пустые проемы окон и широкие щели в стенах врывался пронизывающий утренний ветер, пол был засыпан известью, кирпичной крошкой и мусором. Ласло вручную вращал шпиндель стоящего в углу ветхого токарного станка, а старый кузнец в проволочных очках направлял резец.

12

Перед рождеством Ласло принес домой стопу школьных учебников; он взял их у учителя, только что вернувшегося в поселок. Ласло долго объяснял мне, что этот год мы уже потеряли, но с осени я обязательно пойду в школу, по учебникам же я смогу подготовиться на случай, если понадобится сдавать вступительные экзамены.

— Зачем ты мне все это толкуешь? — сказал я с неудовольствием.— Если приказываешь мне выучить эти книги, так и скажи.

— В таком случае, приказываю,— сказал он твердо.

— Хорошо. Какие и к какому сроку?

Он перебрал книги, определяя их толщину. Если б я знал в тот момент, что настанет время, когда он сам получит такой же приказ, я бы, конечно, воспринял все это менее трагически. Пока же я смотрел на книги с выражением мрачной решимости — это выражение я перенял у Ласло; к книгам меня никогда не тянуло, но, если на то пошло, мы еще посмотрим, кто кого! На дворе немного потеплело, частые и обильные снегопады укрыли землю бе-

лой шубой, снег с глухим шумом съезжал с крутых крыш. Ласло бросил мне учебник географии для пятого класса.

— Вот, держи. Даю тебе на это три недели. Хватит?

— Это что, география? Значит, все будет так, как во время войны?

— Ну, горы и реки остаются на своих местах. Впрочем, если тебе география не нравится, для начала можно взять арифметику. Так что же, хватит трех недель?

— А потом будешь спрашивать?

— Без всякого снисхождения.

Он посчитал, какое число будет через три недели, и написал его карандашом на замусоленной обложке. Мы торговались над каждой книжкой и записывали даты, чтобы потом не было споров. То, что предметы полагалось осваивать параллельно, а не один за другим, даже не пришло нам в голову.

— Ну, смотри, берегись,— сказал под конец Ласло.— Меня на мякине не проведешь. Я ведь в этих учебных делах страсть какой опытный. Но у учителя хлеб отбивать не буду — если застрянешь, иди прямо к нему.

Мы подлили в лампу воды — керосин был на исходе,— и я принялся делить книгу на двадцать одну часть. В конце концов у меня вышло девятнадцать частей; два дня я оставил про запас. Ласло курил и, помешивая дрова в печи, с интересом следил за моей работой. Он был убежден — и, надо сказать, не ошибался,— что в этот вечер заложил основы моего будущего. Глубокая тишина окружала дом, к оконному стеклу липли белые хлопья, словно их тянуло к теплу и свету. Мне захотелось выйти за дверь, постоять, прислушиваясь к едва уловимому шороху падающих с черного неба снежинок, ощутить на щеках их таинственное холодное прикосновение; потом я стал думать о том, как, должно быть, величаво спокоен, загадочен сейчас, под этим сплошным, заполнившим все пространство снегопадом, хвойный лес. Ласло последний раз затянулся зажатым в пальцах окурком, бросил его в печь и откинулся на кровать, устало уронив руки; он зевнул, широко раскрытыми глазами уставился на пятнистый, вымазанный глиной потолок. В этот момент кто-то остановился перед дверью, топая, стряхнул с ног снег и зашарил по двери, ища ручку.

— Ну, что еще там? — сердито крикнул Ласло.— Всю краску мне соскребешь!

Дверь, тихо скрипнув, открылась. Рой снежинок влетел в кухню и, опустившись на пол, превратился в прозрачные жемчужные капли. На пороге стоял мужчина в солдатской шинели и белой папахе, с нашивкой дивизии имени Тудора Владимиреску* на рукаве. Он щелкнул каблуками, небрежно козырнул левой рукой, в глазах его блестела с трудом сдерживаемая радость.

— Здравия желаю!

— Бондок! — тихо, будто самому себе, сказал Ласло.— Сам Валентин Бондок во плоти.

Он грузно поднялся, словно отяжелел от нахлынувших чувств, обнял и крепко прижал к себе гостя. Бондок, слегка отодвинув Ласло, внимательно глянул ему в лицо и глубоким гортанным голосом, немного прерывающимся от волнения, сказал:

— Вот мы и встретились с тобой, Лаци.

— Вот и встретились,— ответил Ласло.— Не сердись, но я должен тебя обнять.

— Только правую руку не прижми.

— А что с ней?

— Пулевое ранение.

— Долго же я тебя ждал. Когда ты прибыл?

— Полчаса назад.

— Тебе, конечно, мать сказала, что я здесь?

— Об этом я уже в Марошвашархее знал. Фрич сообщил, из второго взвода.

Гость бросил на стол мокрую папаху, огляделся. Ласло помог ему снять тяжелую жесткую шинель и объяснил — довольно своеобразно — мое присутствие:

— Вот это, видишь, парнишка у меня. А теперь иди, садись. Рассказывай, что с тобой было.

— Дай сначала взглянуть на тебя, Лаци... Не верится, что еще четыре месяца назад мы с тобой были в лагере...

Бондок вытащил сложенный лист бумаги, потрепанный, истертый на сгибах. Развернув, он показал его Ласло.

---

* Тудор Владимиреску — герой освободительной борьбы румынского народа против турок в начале XIX в. Его именем была названа дивизия румынских добровольцев, созданная в Советском Союзе в конце 1943 г. и принимавшая участие в освобождении от гитлеровцев Румынии, Венгрии и других стран.

— Узнаешь?

— Гитлер и фашизм находятся на краю гибели... Ах ты, господи, Валентин, да ведь это ж я писал!

— Мне Фрич дал.

— Значит, это он спрятал? Ведь при расследовании трех листовок так и не нашли... Мне тогда очень хотелось знать, у кого они были.

Они не обращали на меня внимания, занятые друг другом. Взяв книгу, я тихо ушел в комнату. Свет керосиновой лампы из кухни, широкой полосой падая на пол, оставлял во мраке стены и углы комнаты. Я лег на кровать, заложив руки за голову. В кухне моего ухода не заметили. Говорил Бондок:

— До меня еще дойдет очередь, а теперь давай ты рассказывай, старина. Очень мне любопытно, что было после того, как нас увели из лагеря.

— Могу рассказать,— ответил Ласло.— Много всего произошло.

Так я наконец узнал историю побега Ласло Такача, узнал о лагере, о комнате коменданта, о желтозубом Кертесе, офицере с лошадиным лицом, ефрейторе по имени Кеви, который подвешивал Валентина Бондока за вывернутые назад локти; я как бы собственными ушами услышал прогремевшие в комнате Кертеса выстрелы и сигнал тревоги, поднятой перепуганной охраной, узнал все, о чем Ласло мне никогда не рассказывал. Затем речь пошла о тех днях, которые мы провели вместе. Я слушал его спокойный — то мрачный, то веселый,— такой дорогой мне голос, слушал довольный отрывистый смешок Бондока, и мне становилось все грустнее оттого, что я не мог быть рядом с Ласло раньше: уж вдвоем-то мы бы устроили в этом лагере еще больший переполох... Через открытую дверь в комнату плыл густой табачный дым, в нем тонул и без того слабый свет лампы; балки у меня над головой потрескивали под тяжестью снега. Бондок глухо спросил:

— Значит, капитана и ефрейтора Палоташа?..

— Так уж вышло. Жаль, в Кертеса я промахнулся.

— А потом еще немца на мотоцикле.

— Да.

— Странно даже, что этот паренек все выдержал.

— Парень-то? О, он у меня как железо.

— Что-то с ним надо делать.

— Конечно. Будет учиться.

— Значит, оставляешь его у себя?

— По-другому все равно не выходит.

— А я недавно получил весточку от Чонтя. Он в Брашшо.

— Да? Что и говорить, поволновался я, когда вас увели.

— А мы за тебя беспокоились.

Задребезжал на плите вскипевший чайник, в те времена мы вместо чая заваривали всякую траву, чаще всего — ежевичные листья. Бондок пил, крякая и отдуваясь, потом спросил:

— Из чего это вы делаете такой отличный чай?

— Из сена какого-то. Мишка собирает. Не хочешь ли к чаю вареной картошки?

Потом они говорили о заводе, о том, что к весне люди наверняка вернутся, что надо бы добиться от фирмы средств на восстановление и что советские инженерные части могут оказать значительную помощь. Бондок изложил целый план борьбы с национальными разногласиями, с румынским и венгерским шовинизмом. Потом они советовались, как проверять политическое лицо возвращающихся домой людей. Тут я уже слушал без прежнего внимания, так как мало что понимал. Я размышлял, почему Ласло сказал обо мне «как железо» и что мне нужно делать, чтобы на самом деле стать таким. Схватив учебник географии, я поднес его к лицу и с угрозой прошептал:

— Ах, ты... я ж тебя съем за эти три недели...

13

Наступившая весна прогнала гнетущую, тревожную и все же такую милую для меня зимнюю тишину. Не верилось, что война все еще продолжается и что очень многие люди только сейчас вздохнули свободно. Над поселком носились свежие шумные ветры, слепящий водопад света низвергался на окрестные горы, ночами пахло гниющей прошлогодней листвой, и от этого влажного терпкого аромата становились шершавыми губы. Покрытые узловатыми почками ветки ольхи, сережки на вербах трепетали в сияющем воздухе. Из-под талого снега вновь по-

казались мокрые закопченные руины завода: обугленные балки курились на солнце, обломки разрушенных стен глубоко ушли в мягкую, раскисшую почву, выдавливая из нее мутную, темную влагу.

Синее небо с барашками облаков бороздили теперь только «свои» — советские и румынские самолеты. Трубы домов, еще недавно угрюмых и пустых, то здесь, то там начинали робко дымиться; изгнанная немецкими прикладами жизнь вновь возвращалась в заброшенные, выстывшие стены. Но что это была за жизнь! Какая-то растрепанная, взбаламученная, она суетливо металась в загроможденном развалинами и обломками русле. Я наблюдал за взрослыми — никогда еще их не было вокруг меня так много — и невольно пытался их классифицировать. Презрение вызывали у меня не находящие себе места, целыми днями бесцельно слоняющиеся по соседям люди; они появлялись и на территории завода, бродили по тропинкам, протоптанным в талом снегу, ко всему принюхивались, все ощупывали, приставали к идущим по шоссе советским и румынским солдатам, выпрашивая у них хлеб и табак. Когда в поселке появлялся свежий человек — с фронта, из концентрационных или трудовых лагерей,— они, каркая, как воронье, слетались к нему посмотреть, нельзя ли чем поживиться, а затем снова спешили куда-то, и жадный взгляд их искал не дела, а свалившейся с неба поживы. Я презирал их, так как подсознательно чувствовал, что это лишь пена на поверхности жизни, а настоящая жизнь течет там, где трудятся Ласло, Бондок и с ними все больше таких, как они, людей. Они откапывали из-под осевшего снега все, что можно было как-то использовать в тот период тяжких лишений, целыми днями пилили, стучали молотками, пробовали снять двигатель с подбитого танка, стоящего у дороги в нескольких километрах от поселка. Они, коммунисты, были движущей силой в буквальном смысле слова, вручную двигая приводы станков, вытачивая первые, самые необходимые детали, словно никто еще и не изобрел ни паровой машины, ни двигателя внутреннего сгорания. Все в поселке лебезили и заискивали перед директором, недавно вернувшимся на завод и щеголявшим еще в военной форме, только коммунисты разговаривали с ним на равных, даже с некоторым превосходством, потому что знали цену своему труду, понимали историческое при-

звание своего класса, видели контуры будущего, едва начавшего вырисовываться. Я всем сердцем был на их стороне; постоянное общение с ними, споры, которые я внимательно слушал,— все это было для меня как ветер и солнечные лучи для созревающей пшеницы.

Каждый день я хоть на десять минут взбирался по склону горы у поселка в небольшую рощицу, где росли ель, бук, береза, рябина и множество молодых ракит. Уходить дальше я пока не осмеливался: в горах все еще оставалось много мин, гранат, брошенных боеприпасов. Я вдыхал лесные запахи — что ни день, новые,— подставлял лицо солнцу и ветру, чувствуя, как вливается в меня первозданная, всепобеждающая мощь природы. Впервые встречал я весну не на вытоптанном, голом дворе приюта, за железной решеткой, и она, эта весна, во всем своем великолепии разворачивалась перед моим изумленным взглядом. Когда я стоял среди качающихся, обнаженных пока деревьев и ветер, проникая сквозь худую мою одежонку, вызывал во всем теле сладкую дрожь, казалось, что и шум паводка на Мароше, и блеск отесанных стволов на заводском дворе, и постоянное ощущение голода, и дымный полумрак кухни, и десять страниц учебника истории, которые нужно выучить до вечера,— все это какая-то веселая игра, постоянно дарящая мне безоблачную радость. В эту весну на глаза мне часто навертывались слезы.

Ласло с удивлением присматривался ко мне, не понимая, что со мной происходит; он чаще, чем обычно, ладонью убирал мне со лба волосы, которые, кстати говоря, сам подстригал старыми зазубренными ножницами, и заглядывал в глаза: нет ли у меня жара. Я тоже за него волновался: в последнее время он сильно исхудал, от зимнего голодания и ежедневной тяжелой работы глаза его запали, черты лица обострились. Когда я, склонившись над тазом, тер по вечерам свои худые плечи и торчащие ребра, мне часто приходилось ловить на себе его взгляд, в котором были сочувствие и жалость. Но ведь я тоже его жалел. Точнее, тревожился за него. Тревожился, так как видел, что гложет его какая-то скрытая боль, душевный недуг, причины которого я пока не знал. Ласло был скуп на слова, но в то же время обладал удивительной способностью даже молчанием выражать свои чувства, мысли, настроения. Правда, в полной мере понимал его

только я — понимал скорее сердцем, чем разумом, так как он очень заботился о том, чтобы его горе, его гнев не становились бременем для других. Бог знает где и какой ценой научился он так собой владеть. Во всяком случае, я уже знал, что самообладание присуще лишь очень сильным людям, у которых хватает энергии и на постоянное обуздание самих себя, которые относятся к себе как к частице целого и потому не придают большого значения собственным страстям.

Я видел, что Ласло страдает, но причину этого узнал лишь случайно.

Произошло это ночью, я вдруг проснулся — сам не знаю отчего, обычно я сплю крепко. Сильный ветер с гулким звуком, напоминающим далекое пение трубы, налетал на кровлю. Холодный сквозняк гулял по моему лицу, ногам же было тепло от нашего с таким трудом сложенного очага. В кухне слышался тихий разговор.

— Неужели в тебе нет хоть немного самолюбия, Жужа? — говорил Ласло.— Ну зачем ты пришла? Не нужно это. Ведь и так все ясно, к чему отпираться?

— Ну хорошо, я не буду отпираться,— отвечала Жужа плачущим и все же каким-то безучастным голосом.— Пожалуйста, если тебе так хочется, я скажу всю правду. Он принес пять литров керосина и кило сахару. И ей-богу, почти не дотронулся до меня, ушел, потому что в это время ты постучался.

— Ушел? Выскочил в окно! Это не одно и то же.

Некоторое время оба молчали. Ветер зло трепал дранку на крыше, рев его проникал сквозь стены. Наконец Ласло холодно произнес:

— Эх ты, несчастная.

Он подождал, желая, видимо, чтобы слова его дошли до Жужи, потом спокойным тоном, в котором только я мог услышать боль и страдание, продолжал:

— Я тебе одно могу сказать, Жужа: не унижай себя, пожалуйста. Ни передо мной, ни перед кем-либо другим. Или для тебя это не унижение? Керосин и сахар... И это в то время, когда мы ремонтируем двигатель и скоро у нас опять будет электричество...

Жужа что-то сказала, так тихо, что я не расслышал. Они разговаривали, не зажигая света. Неплотно прикрытая дверь на улицу дребезжала под порывами ветра, словно дом стучал зубами. Ласло воскликнул вполголоса:

— И это ты мне говоришь? Да ведь я только тебя одну и любил, еще с той поры, когда ты пятнадцатилетней девчонкой была. Помнишь, меня с завода выгнали? Мне тогда из-за тебя одной было жаль уходить. Вот встретились мы снова, и я подумал: ну, пришлось подождать десять лет, ну, была ты замужем за другим, зато теперь ты наконец моя, теперь ты со мной... А ты...

— Если в самом деле любишь, значит, простишь,— едва разобрал я ответ Жужи.

Послышался скрип, негромкий металлический щелчок, а затем снова голос Ласло:

— Вот, видишь? Эта штука не подводит! Если бы я знал, что все люди такие, как ты, я бы давно себе пулю в лоб пустил: зачем жить, если на свете нет человеческого достоинства, если нет силы, нет цели, ради которой стоит трудиться до седьмого пота! Зачем жить, если счастье можно получить за две копейки, как товар на рынке! Только не все такие. Ступай домой, мне спать надо.

Но он, конечно, не спал уже до самого утра. Не мог заснуть и я, слушая, как тяжело ворочается Ласло на своей койке; на дворе в предрассветной тьме яростно метался весенний ветер, донося шум бьющейся о берег реки. Где-то в глубине души я всегда подозревал, что Жужа нечестно поступает с Ласло: не нравилось мне, что одной мимолетной улыбкой, едва заметным движением пухлых губ она даже меня сумела очаровать, меня, который возненавидел ее с первой встречи.

Встали мы в обычное время, едва забрезжил рассвет, и мутными от бессонницы глазами посмотрели друг на друга. Умываясь, Ласло пытался запеть, но из горла у него вырвалось лишь какое-то хриплое завывание. В остальном он держался так же, как всегда. Что до меня, то я никак не мог взять себя в руки, и, когда мы пили чай, Ласло вдруг спросил:

— Ну, выкладывай, что там у тебя?

— Ничего,— ответил я.

— Ты редко пытаешься мне врать,— заметил Ласло,— и всегда неудачно. Лицо у тебя как витрина: все видно, что на сердце. Выкладывай, говорю! Слышал что-нибудь ночью, так?

— Конечно,— ответил я.— Слышал, ветер выл. И еще — разговаривали двое.

Ласло продолжал отхлебывать чай, не обращая вни-

мания на иронию в моем голосе. Уходя, он надел свою старую засаленную солдатскую фуражку и бросил мне:

— Больше не ходи туда. И не проси ничего.

— И не подумаю. И раньше ведь, кажется, не я туда ходил.

— Если будешь напрашиваться, заработаешь подзатыльник,— крикнул он скорее с горечью, чем со злобой.— Раненых не бьют, знаешь об этом? А у меня сердце болит, ясно?

Он ушел, с треском захлопнув за собой дверь. Мне было стыдно, и я пошел вслед за ним в машинный цех, чтобы он увидел, как я к нему привязан. Он работал внизу, в конденсаторной камере; мне пришлось взобраться на маховик, чтобы видеть его и в то же время не мешаться под ногами у рабочих. Грустный, сидел я на холодном чугуне; в пустые оконные проемы и в щели между досками наспех сколоченной крыши дул теплый, пахнущий смолой ветер, поднимая вверх заметенные в углы опилки и сыпля их на фуражку Ласло; пусть этот ветер, думал я, унесет и наше горе.

14

Нас было двое поехавших из поселка в город поступать в гимназию. Голова моя была забита массой самых различных сведений, дат, правил — всем тем, что я твердо усвоил из учебников. Я знал даже номера страниц, где печатались рисунки и схемы; из документов же у меня была только фальшивая справка, которую достал где-то Ласло.

— Это вынужденная мера,— объяснял он мне.— То есть мы вынуждены были иметь справку и приняли для этого меры.

Хотя справка была фальшивой, она отвечала действительности: в ней говорилось, что Михай Дарко окончил четыре класса начальной школы с посредственными оценками по всем предметам.

Когда мы явились в гимназию, оказалось, что приемные экзамены лишь пустая формальность: комиссию интересовали не наши знания, а сможем ли мы вносить высокую плату за обучение и еще более высокую плату за проживание в интернате, причем за интернат нужно было платить частично деньгами, частично натурой. Нас,

разумеется, не приняли; погруженные в мрачные мысли, возвращались мы домой. В переполненном замусоренном вагоне Виктор, с которым зимой мы вместе пилили дрова, всхлипывал, то и дело лез в карман за платком и насморочным голосом уныло повторял: «Как же так? Я ведь все знал. На все вопросы ответил. Столько учил, аж в глазах позеленело». Я вспоминал, до чего тяжко было порой выучить дневную норму, которую никак нельзя было перенести на следующий день, потому что тогда пришлось бы учить вдвое больше. Ласло, правда, не подгонял меня, но, когда приходил день, обозначенный на обложке учебника, он брал книгу и придирчиво экзаменовал меня по всему материалу. Попасть в школу было самой главной моей задачей. Я даже как-то забыл о том, что, если удастся поступить, с Ласло мне придется расстаться. Теперь-то я останусь с ним. Но я чувствовал, что его это не обрадует. Нерадостно было и мне.

— Слушай,— сказал я Виктору,— у меня сейчас терпение лопнет.

— Я же столько учил, аж в глазах позеленело,— ответил Виктор.

Немного позже он с надеждой в голосе спросил:

— Тебя Лаци Такач поколотит?

— Нет. Только посмотрит.

— Эх-хе-хе. Вот и я боюсь, что мать на меня только посмотрит.

Он очень этого боялся. Когда поезд подошел к нашей станции, он предложил ехать дальше и где-нибудь спрятаться. Я еле вытащил его из вагона; сопя и всхлипывая, он шел за мной, волоча перевязанные бечевкой учебники чуть ли не по земле.

Ласло я дома не застал. Он был у Бондока, сидел там на своем обычном месте, на ящике с дровами, зажав в зубах самодельный мундштук, курил и чистил ногти. Еще на улице я почувствовал запах жареного лука. Я остановился на пороге, и все, кто был в комнате: Ласло, Бондок и Бразаи, точильщик,— повернулись ко мне. Я молчал.

Ласло протянул ко мне руку; я подошел, и его ладонь накрыла мое плечо. Он подвинул меня к себе, грустно, с состраданием заглянул в глаза.

— По какому предмету провалился?

— Ни по какому,— ответил я.— Экзамены — пустяки. Просто меня не приняли.

— Это как же так?

— Многих не приняли. Там требуют плату за обучение, пшеницу...

Ласло и Бондок переглянулись.

— Ничего! Будет рабочим,— заметил Бондок.

— Ясное дело,— сказал Ласло,— рабочим будет. Только все же обидно. Заслужил парнишка более широкую дорогу в жизни: упорство у него редкое да и судьба несладкая.

Бразаи, точильщик, рванул на груди свою драную рубаху и крикнул:

— Эх, пресвятая дева Мария! И ради этого мы шли до самого Берлина и сворачивали шею Гитлеру? Ради этого гнили по тюрьмам?

— Кто это мы? — спросил Ласло.

— А разве другие? Валентин ведь шел на Берлин, и ты чуть не пошел, да и я наверняка бы тоже пошел, если б не был старым пьяницей. И в тюрьмах вы тоже оба гнили!

— Мы не гнили,— сказал Ласло устало.— Зачем преувеличивать? И тебя с нами не было.

Но Бразаи продолжал стоять на своем.

— А потому что не позвали меня. Сказал кто-нибудь: иди, мол, товарищ Бразаи, прими участие в классовой борьбе? Никто не сказал! Только если какая-нибудь забастовка была, я мог высоко держать революционное знамя. Нет, забыли вы обо мне!

Он неожиданно притянул меня к себе худой грязной рукой — так близко, что в нос мне ударил самогонный перегар. В маленьких влажных голубых глазках Бразаи вдруг блеснули ум и доброта.

— А что ты скажешь, маленький пролетарий, если именно старый Бразаи найдет способ помочь тебе?

— Только не вздумай его напоить,— живо откликнулся Бондок.

Я часто видел Бразаи пьяным. Он спрятал где-то целую канистру самогона из репы и понемногу пил его, разбавляя водой. Напившись, он куролесил на улицах поселка, остатки седых волос и давно не бритая борода поблескивали на солнце сединой, длинный крючковатый нос становился ярко-красным, рваную одежду трепал ветер, люди со смехом оглядывались на него. Завидев солдат, он начинал выкрикивать команды — однажды его чуть не побили за это.

Я не мог себе представить, как этот человек собирается мне помочь. Я чувствовал лишь его огромную доброту: взгляд у него был как свет солнца осенью, когда природа уже готовится к зимнему сну.

— Чего ты от него хочешь? — спросил Бондок.— Не морочь ему голову. Этот парень и в рабочих будет не последним.

— Болтай, болтай, Валентин, язык ведь без костей,— ответил Бразаи, болезненно щурясь.— Болтать тебе никто не запрещает. Пусть только Такач не вмешивается: он парнишке все равно что отец, а потому не может рассуждать объективно. Спрашиваешь, чего я хочу? А если я тебя спрошу: что ты думаешь о династической системе? У короля вот, скажем, сын тоже король...— Бразаи стал загибать свои узловатые пальцы.— У министра — министр. У ветеринара — ветеринар или, на худой конец, аптекарь там или писарь. А у рабочего — рабочий. Ну, что ты на это скажешь?

— Вроде неправильно это,— неуверенно ответил Бондок.

— Неправильно? Вот-вот! Тогда долой такой порядок! Пусть все зависит от способностей! Я не говорю, что парень должен быть королем — на этом я не настаиваю,— но пусть будет хотя бы ветеринаром, пресвятая дева Мария!

— Правда твоя. Только ты ведь сам видишь, не приняли его в гимназию. Пшеницы у нас во всем поселке нет.

— А потому что процветают династические порядки! — торжествующе воскликнул Бразаи. В первый момент мне показалось, что он говорит о пшенице.— Так вот, соберу я делегацию, и пусть в той школе прозвучит голос рабочего класса. До каких пор будут присылать к нам в поселок чужих ветеринаров и писарей? Хватит, скажу, товарищи! Одежда у меня есть и получше этой, не бойся, а если еще я дня два не буду пить, так и запах спирта выветрится. Уж я выскажу кое-что этому школьному директору. Например, ради чего мы шли до самого Берлина?

С ехидством и высокомерием взирал он на друзей, словно этой речью сразил их наповал. Ласло скрутил себе новую цигарку, вставил ее в мундштук и долго раскуривал, щелкая зажигалкой, которая выбрасывала облака дыма, искр и пламени. Он пока не сказал ни слова. Зато

Валентин Бондок с задором бросился спорить, и вскоре речь уже шла не обо мне, а о том, почему советская армия к концу войны стала еще более мощной, хотя можно было бы ожидать, что после стольких сражений она ослабеет.

Стемнело, когда мы отправились домой. Я чувствовал, что Ласло хочет быть сегодня особенно ласковым и добрым со мной, только не знает, как это сделать. В тот вечер, окажись мы порознь, нам было бы очень сиротливо и одиноко. Я украдкой взглянул на дом Жужи: из трубы поднимался к небу жидкий дымок, но крыльцо оставалось темным — и вообще нам не было до нее никакого дела! Ласло предложил было отменить сегодняшний поход на речку, но я считал, что не заслужил такой поблажки, и, молча взяв ведро, отправился за водой.

Я пошел к Марошу, потому что мягкой речной водой легче было мыться и не так много уходило мыла. Со склона горы, из рощицы, ветер доносил запах грибов. Среди плакучих ив бродили осенние дымки. Набрав в ведро воды, я постоял, разглядывая круги, бегущие к противоположному берегу, на которых дрожали отражения звезд; меня уже не пугало то, что я останусь здесь. Я хотел жить, и больше ничего. Жить, вдыхать терпкий аромат ив и знать, что мне есть для кого носить эти ведра воды.

Перед сном Ласло сказал:

— Давай учи все сначала. На будущий год снова попытаем счастья.

— Да ведь я все знаю наизусть, как стихи,— ответил я.— Ты ведь сам проверял.

— На будущий год, думаю, у нас и денег будет побольше. И я сам поеду с тобой в школу. Неужели для таких, как ты, всегда будет закрыт семафор?

Он стиснул кулаки и так мрачно посмотрел перед собой, что мне стало немного не по себе.

15

Я думал, старый Бразаи на другой день забудет все, что он наговорил у Бондока: мало ли что может наболтать человек спьяну. Но я ошибся. Уже утром он пошел

по заводу и поселку, призывая массы на беспощадную борьбу против династических пережитков. Для пущей важности он потрясал каким-то старым календарем, ожесточенно стуча по нему ладонью. В календаре ни слова не было о династической системе, старику он нужен был лишь для того, чтобы колотить по нему рукой: сухой звук удара словно бы усиливал его слабый, тонкий голосишко.

Валентин Бондок сразу же присоединился к нему — прежде всего, из опасения, как бы Бразаи не натворил глупостей. Они вдвоем и руководили всей затеей с посылкой делегации. Рабочие собрали денег на дорогу, женщины приготовили кое-какую еду. Директор — который, как все директора на свете, имел на заводе своих осведомителей — быстро узнал о происходящем и предложил было свою помощь, но Бондок от нее отказался.

В город поехала делегация из пяти человек, трое из них были мне почти незнакомы. К вечеру они вернулись и привезли бумагу с печатью: в ней говорилось, что мы с Виктором должны немедленно явиться в интернат.

А спустя час Бразаи пришел к нам и поставил на середину стола бутылку спирта, разведенного водой.

— Вот какие дела-то! — рассказывал он, счастливо посмеиваясь.— Валентин всего несколько слов сказал. «Пора, говорит, открывать дорогу для пролетарской молодежи. Мы требуем принять этих двух ребят; если никак нельзя по-другому, потом заплатим, а сейчас нам самим нечего есть». Только и сказал, а может, и того меньше. О фашизме и династической системе — это уж я говорил, я им высказал волю рабочего класса. Ласло, сынок, попробуй-ка спирту, он, правда, вонючий, но крепость в нем есть.

И он пододвинул бутылку. Ласло Такач отодвинул ее обратно. Он невидяще смотрел в стол, выглядел старым и усталым, волосы упали ему на глаза.

— Непривычно мне будет одному,— тихо проговорил он.— Все-таки уже год, как мы вместе.

— Попробуй, я тебе говорю. Крепость в нем есть.

— Отстань, не люблю я этого.— Он взглянул на Бразаи и неохотно улыбнулся.— А я не думал, что ты такой, Бразаи.

— Да уж я такой, что и говорить.

— Навек я тебе благодарен.

— Извиняюсь, благодарность без рюмки — не благодарность.

Ласло вздохнул:

— А, холера тебя забери, давай.

Он хлебнул спирта прямо из горлышка: его передернуло, но он хлебнул еще. Вскоре оба они забыли обо мне. Лежа на кровати, я наблюдал, как пьянеют Ласло и Бразаи. Сначала они старательно угощали друг друга, потом каждый подолгу держал бутылку, неохотно отдавая ее другому. Бразаи становился все более веселым, Ласло — все более мрачным. По смуглому лицу его катился пот, густые сросшиеся брови опустились вниз, почти скрыв сердитые глаза. Я начал опасаться, как бы дело не кончилось плохо. Не знаю, за кого Ласло во хмелю принял Бразаи, только вдруг он начал жалобно упрашивать его:

— У тебя такое мягкое сердце, позволь мне помириться с Жужей!

Старик широким жестом распахнул свой праздничный пиджак, рванул рубаху, так что по всей кухне брызнули пуговицы, и завопил:

— Вот тебе моя грудь! Знаю, у тебя в ящике ножик! Режь меня, если я тебе в чем-нибудь откажу!

— Люблю я эту женщину,— сказал Ласло так, словно выругался.— А ведь у нее ни души, ни сердца. И для чего такие живут на свете? А вот люблю ее!

— Режь меня! — восторженно орал Бразаи.

Потом Ласло перепутал Бразаи еще с кем-то. С ненавистью глядя на старика, он обвинял его в том, что тот отрекся от пролетариата.

— Вот что, Шаркади, охотней всего я бы вышиб тебе зубы. Не верю я, что ты вулканизаторщиком был: наверное, каким-нибудь писарем или торговцем шляпами. Вулканизаторщики такими не бывают. Ты еще пожалеешь, что не послушался меня!

Бразаи яростно протестовал против того, чтобы его причисляли к писарям, и называл столько свидетелей, что от их имен у меня звенело в голове.

— И вообще,— он яростно стучал по столу,— я всегда тебя слушался! Всегда! Даже когда вы меня изолировали! Только не говори, что я Шаркади, потому что это неправда.

— Нет, ты Шаркади, сволочь!

— Да нет же! Меня здесь все знают!

— Тогда зачем ты предал свой класс?

— Я? Свой класс? Предал? Нож! Нож! Вонзай сюда, в самое сердце!

— Как же, жди,— отвечал Ласло презрительно.

Около полуночи Бразаи уже не мог говорить и только пел что-то слабым, блеющим голосом, Ласло же безостановочно ругался. Я поднялся с кровати, взял бутылку и выбросил ее во двор. Затем встал рядом с Ласло, вплотную, чтобы он меня заметил. Он уронил мне на плечо бессильную руку и грустно взглянул на меня из-под нависших бровей.

— Все! — пробормотал он.— Бразаи, пшел домой! Не видишь, ребенок здесь?

Он тяжело поднялся, вытолкал Бразаи за дверь и сам вышел следом. Вернулся он непривычно бледным и, вытирая ладонью рот, прошел прямо к ведру с водой, окунул в него голову, потом еще и еще, я даже испугался, что он захлебнется. Я подал ему полотенце и отправился к колодцу: если Ласло ночью захочет пить, пусть в доме будет свежая вода. Когда я пришел, он лежал на кровати, подушка под его головой намокла. В открытую дверь вливался холодный, напоенный влажной свежестью ночной воздух. Я затопил печку и сел рядом — подкладывать дрова, пока у Ласло не просохнут волосы.

Лампу я погасил, чтобы лучше было видно, как на стенах, словно в прежние наши зимние вечера, пляшут красные отсветы. В комнате бегала мышь, часто стуча лапками по гнилому полу; вот она, осмелев, вылезла на порог кухни и, усевшись, стала чистить усы. Маленькие глазки ее поблескивали в полутьме красными бусинками. Ласло вдруг заговорил тихо и монотонно:

— Ты что не ложишься, Мишка?

— Сейчас лягу.

— Хочешь, купим тебе скрипку? Или гитару.

— Ладно.

— А что касается меня...

— Не переживай. Спи спокойно.

Никто не имел права в чем-либо его упрекнуть, тем более я. Он ведь и трезвым мог все вынести, немногие на такое способны. В тот вечер Ласло пытался найти что-то, но так и не нашел. Может быть, ему хотелось забыться, отдохнуть от постоянного напряжения, может,

он хотел дать волю тоске и за несколько часов пережить то, что, по всей видимости, еще долго мучило бы его. Я думаю, он так и не получил облегчения, разочаровавшись в самогоне из репы и обманувшись в самом себе. Что и говорить, человеку просто необходимо время от времени испытывать какое-нибудь необычное, отличающееся от повседневного состояние, когда чувства обретают крылья, слова звучат горячее, мысли становятся ярче. Такое состояние приходит, когда сидишь в одиночестве на трухлявом чурбаке и смотришь на игру облаков в небе или когда находишься в веселой дружеской компании, где все хмельны не столько от вина, сколько от радости жизни; но, когда бы ни посетило тебя это настроение, встречай его с открытым сердцем, искренне, как щедрый подарок судьбы. Ведь счастье так редко нам выпадает, на то оно и счастье.

Так сидел я у печки, ожидая наступления нового дня и размышляя о том, что день этот будет таким же, как все прочие дни. Утром Ласло снова станет твердым, как сталь, которую раскалили и затем опустили в воду; встретив Жужу на улице, он спокойно, вежливо поздоровается с ней и пройдет мимо — потому что никогда не сумеет простить ей мелкую, пустую ее душонку. Может быть, он пойдет к Бразаи, разыщет канистру с самогоном и забросит ее в Марош. Как и вчера, чистым, синим и ясным будет небосвод, влажной, подернутой дымкой — земля; к полудню все высохнет, прогреется, а небо затянет легкая перламутровая пелена. Как и вчера, будет рычать и реветь снятый с танка мотор, пыхтеть первая отремонтированная пилорама; люди снова займутся своими обычными делами: будут трудиться, слоняться без толку или заниматься спекуляцией — кому что подсказывает совесть. И только я попрощаюсь с небритым, угрюмым солдатом, который всего год назад в кустах малины черными, испачканными смолой пальцами клал мне в рот кусочки мамалыги; только я попрощаюсь с задорным Валентином Бондоком, с ехидным и добрым старым Бразаи, с прозрачной водой Мароша, с рощицей на склоне, с улыбчатой, светлой осенью, спускающейся с гор. Только я попрощаюсь со всем тем, без чего жизнь не стоит и ломаного гроша, и увезу с собой надежду, что когда-нибудь снова вернусь сюда.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЛЕСОВОДА



1

Жарким летним днем 1953 года нам вручили аттестаты зрелости. Я тут же сунул свой в сумку вместе с большой фотографией нашего выпуска.

Город казался вымершим: толпа, наполняющая обычно улицы, рассосалась по пляжам, санаториям, домам отдыха. Уже отцвели липы, но аромат их еще плыл над горячим булыжником улиц. Яркие афиши кричали со стен о приближающемся Всемирном фестивале молодежи в Бухаресте. Виктор, сопя, тащил свой деревянный сундучок. Он был в черном выходном костюме: боялся помять его в сундучке. По мостовой навстречу нам прошли три стройные девушки в коротких юбках, в руках они держали одинаковые пляжные сумки с фестивальными эмблемами. Виктор, блеснув желтоватыми белками, оглянулся было им вслед.

— Эй, Виктор, перестань глазеть,— тут же громко пожурил он себя.— До победы еще далеко. Впереди осада Бабешского университета. О, я ворвусь в его стены и после долгих лет борьбы провозглашу себя учителем истории. А если захочу, возьму на себя еще и полномочия учителя географии.

— А не получится ли у тебя тридцатилетней войны? — спросил я.

— Не получится. Я возьму штурмом все крепостные валы, пусть даже у меня в глазах позеленеет. И еще нынешней осенью водружу свое знамя на башне Бабеша.

Медленно и с достоинством — насколько позволял

оттягивающий руки груз наших пожитков — шли мы по тротуару к станции. Солнце припекало, мокрые рубашки липли к спинам. Каждый наш шаг был прощанием с этим городом. Казалось, в нем прожито много-много лет: так привыкли мы к его воздуху, к его шуму, теперь мы сбрасывали его с себя, как изношенную одежду. Мы не собирались больше возвращаться сюда — мысли наши были уже далеко. Но в эти минуты серый булыжник мостовой снова напомнил нам о странной закономерности: во время учебного года нас тянуло в долину Мароша, а на каникулах мы скучали по городским огням.

В поезде Виктор сидел задумчивый, молчаливый, время от времени ощупывал карман: там ли аттестат. Воспоминания лишили его обычной болтливости, мне тоже не хотелось разговаривать. Опустив стекло, я подставил голову прохладному ветру; на поворотах в лицо мне летел паровозный дым. Под насыпью, на каменистом берегу Мароша, гнулась под ветром ольха, а дальше, на опушке леса, ярко горела рябина. Я вдыхал запах реки и думал о том, что, пожалуй, сегодня же вечером пойду на рыбалку.

На станции у лесопильного завода Виктор пожал мне руку и выпрыгнул из вагона. Сундучок я подал ему через окно. Поставив сундучок на землю, Виктор терпеливо дожидался отправления поезда.

— Через пару дней приеду,— сказал я.— А ты пока договаривайся.

— Договорюсь,— ответил он.— У нас здесь законные права. Заработаем свои денежки, пусть даже в глазах позеленеет.

Поезд тихо, без толчка тронулся. Мы улыбнулись друг другу на прощание, Виктор помахал рукой. В отдалении показался огромный, как ангар, распиловочный цех, за ним — красная кирпичная стена машинного зала, двор, заполненный сырьем; потом проплыла ремонтная мастерская, когда ее решили строить, наш ветхий домишко пришлось снести. Дом Жужи еще стоял, почти вплотную к мастерской; сама она там уже не жила: уехала в Совату, экономкой на чью-то летнюю виллу. Крыльцо голубело от распустившихся чашечек цветов, я смотрел на них, и тихая, сладкая грусть охватывала меня. Вверху, на склоне горы, моя рощица вся была залита золотистым солнечным светом; казалось, до меня доносится горячий,

дурманящий запах бузины. Рощица эта навсегда осталась для меня радостным воспоминанием; никогда не забуду о блаженных часах, которые я провел там в одиночестве и которые обогатили мою душу, научили мечтать о том, к чему стоит стремиться, для чего стоит жить. Я смотрел на рощицу из окна вагона, и было странно, что нельзя сейчас пойти туда, погладить белую, покрытую зеленоватой пленкой кору берез, словно я, не поздоровавшись, прошел мимо старого друга.

Уже не видно было ни завода, ни дома Жужи — только высокая труба да легкий столб дыма над ней. После национализации директором завода был назначен Валентин Бондок, и мы с Виктором каждое лето работали здесь плотниками, грузчиками или подавальщиками на циркулярной пиле; в город мы возвращались с мозолистыми, покрытыми ссадинами руками. Но этой весной Валентина перевели в трест, а нового директора мы не знали. Конечно, мне стоило только попросить Ласло Такача, однако с подобными просьбами я никогда к нему не обращался.

Трудно было представить завод без Валентина, без его белой тенниски и горячего, быстрого взгляда. Летом Валентин и у пилорам, и в конторе неизменно появлялся в белой теннисной рубашке. Это была его повседневная рабочая одежда. Он не признавал никакой позы, никаких внешних проявлений мнимого авторитета: он умел лишь бороться и работать — и это как бы изнутри освещало его ровным и сильным светом. Конечно, теперь, оказавшись во главе деревообделочного треста, в котором работала не одна тысяча людей, он едва ли по-прежнему ходил в тенниске, скорее всего, ему пришлось надеть костюм.

Остался позади крытый толем, низкий, длинный барак, в котором жил когда-то старый Бразаи. Я был на его похоронах, бросил горсть земли в могилу, думая о том, что душу этого человека всю жизнь согревали мечты, но он был слишком слаб, чтобы бороться за их осуществление. Пожалуй, лишь один-единственный раз сумел он проявить твердость характера — когда в пух и прах разбил династическую систему и помог нам с Виктором поступить в школу. Я смотрел на ветхий барак, жильцы которого постепенно перебрались в более удобные квартиры, и мне хотелось увидеть там, у дверей,

сгорбленную поджарую фигуру старика: разве не заслужил он того, чтобы еще пару лет, пенсионером, посидеть на крыльце, подставляя солнцу морщинистое, в серебряной щетине лицо.

На станции в райцентре меня никто не встретил: я хотел приехать неожиданно и потому не послал телеграммы. Я тащил свою сумку и гитару в полотняном чехле по длинной, извилистой улице, ведущей к центру города; здесь тоже было жарко, но влажный ветер с гор немного смягчал зной. Райкомовский вахтер, сидя в крохотной дежурке, играл сам с собой в шахматы. Он лишь коротко кивнул, когда я поставил сумку в углу дежурки.

— У себя? — спросил я.

Он опять кивнул.

Поднимаясь по лестнице, я успел причесаться и привести в порядок одежду. На каждой третьей ступеньке у стены стоял цветочный горшок. Здание, обычно шумное, людное, сейчас, в эти полуденные часы, выглядело пустынным; только дежурный стучал на машинке в просторной приемной, в которую выходили двери кабинетов секретарей.

— Придется подождать, Мишка,— сказал дежурный.— У него сейчас трое. Но если хочешь, я доложу.

— Нет, нет, я подожду.

Я подошел к окну. Каждый раз, приезжая на каникулы, я стоял здесь, у этого окна, иногда по часу. На лужайке под окном настороженно замерла большеухая косуля со своим пятнистым малышом, который все пытался спрятаться в тень матери, словно боялся света. Со стороны гаража шла тетя Эржи, уборщица, несла косулям в переднике черешни, очищенные от косточек. Она остановилась у изгороди и, улыбаясь, долго смотрела, как косули выбирают из травы красные сочные ягоды. Я помахал ей рукой, но она меня не заметила.

Я ждал уже минут пятнадцать, а может быть, и дольше; здесь, в этой комнате, ожидание никогда меня не тяготило. За спиной дважды открывалась дверь, но я не оглядывался, по звуку догадываясь, что это все еще не та, обитая кожей дверь кабинета первого секретаря. Наконец она открылась. Я обернулся лишь тогда, когда шаги вышедших донеслись уже с лестницы. Ласло стоял на пороге и пристально смотрел на меня; в углах его резко очерченного рта пряталась улыбка, лицо на несколько

секунд разгладилось, стало светлее от радостного и немного смущенного выражения. Я быстро пошел к нему; он отодвинулся, пропуская меня вперед, и закрыл дверь. Мы были с ним одного роста. Я обнял его и прижался лицом к его седеющему виску.

— Пробуешь на мне силу? — спросил он суховато.— Знаешь ведь, что это плохо кончается.

Едва я услышал его голос, ко мне возвратилось самообладание, которое он же воспитал во мне, пожалуй, даже не намеренно, а одним своим примером. Собственно говоря, мы никогда не ощущали необходимости в подчеркнутом выражении чувств. Я отступил назад, не дожидаясь, пока он двинет меня кулаком в бок.

— И браться не стану за такое безнадежное дело,— ответил я спокойно.— Просто хотел сосчитать твои седые волоски.

Ласло невольно поднял руку к виску, но ничего не сказал — лишь улыбнулся и нахмурил густые брови. С тех пор как он стал партийным работником, под глазами у него появились темные круги: он слишком много читал, учился и слишком мало спал. На его широком столе среди бумаг и сейчас лежал какой-то учебник. Я взял его, посмотрел на дату, поставленную на обложке и обведенную красным карандашом.

— Вижу, срок прошел,— сказал я.— Можно спрашивать?

— Без всякого снисхождения!

Удивленно и немного грустно разглядывали мы друг друга. В эту минуту особенно остро чувствовалось, как давно мы вместе и как сильно за это время изменились и мы сами, и весь мир. Мы смотрели друг на друга, и, наверное, все то, чем мы жили, все наши мечты о будущем, о счастье отражались в наших глазах. Он ни о чем меня не спрашивал, и без того уверенный, что экзамены сданы успешно, что по всем предметам у меня высшие оценки. Я все еще держал в руке учебник, который вдруг живо напомнил мне те давно минувшие вечера, когда Ласло гонял меня по пройденному материалу. Он тихо повторил:

— Можешь спрашивать без всякого снисхождения.

— Обогнал я тебя, Ласло. Тебе еще целых два года учиться,— сказал я.

И тут же пожалел об этом. Однако он не рассердил-

ся; по-отечески ласково, без обычной насмешливой улыбки оглядев мое худое тело, по-мальчишески нескладные руки и ноги, он сказал:

— Дурачок! А разве ты не хотел бы, чтобы те, кто придет тебе на смену, знали больше тебя? Я должен радоваться, что ты меня обогнал. Ведь если ты разучишься видеть дальше своего носа, значит, кончилось твое счастье — это ты и сам знаешь не хуже меня.— И, немного помолчав, добавил: — Ты, наверное, помнишь еще...

Я догадался, о чем он думает: о Жуже, о пяти литрах керосина и килограмме сахара, и решил перевести разговор на другую тему.

— Пойдем вечером на рыбалку?

— Нет, вечером я занят. А вот завтра пойдем, прямо с утра.

— Тогда сегодня я попробую один.

— Ладно. Только поешь в буфете.

В приемной его уже ждали несколько посетителей. Он постоял в дверях, глядя мне вслед. Поглаживая пальцами цветы в горшках, я медленно спустился по лестнице.

2

У Ласло не было своей квартиры. Долгое время он снимал комнату где-то в городе, а последние два года жил при райкоме, в одной из маленьких гостевых комнат, которую ему нередко приходилось делить с командировочными, приезжающими из областного центра или из Бухареста. Холостяцкая жизнь постепенно убила в нем естественную для человека потребность в комфорте, в удобном жилье; он часто говорил, что прекрасно спит и на жестких нарах в бараке лесорубов, и на сиденье машины, и даже за столом.

Возле его кровати, на низеньком полированном столике, стоял радиоприемник. Ласло, впрочем, никогда его не включал, чтобы не мешать спать другим; в кабинете же у себя он часто, даже работая, слушал радио. На шкафу лежали удочки и запыленное охотничье ружье — с ним он изредка ходил на охоту, сопровождая какого-нибудь бухарестского гостя. В этих случаях он поражал всех своей удивительной меткостью. Но рыбачить он лю-

бил больше — особенно ловить форель в стремительных горных речках.

Положив сумку на соседнюю койку — это, собственно, и была моя постель,— я размышлял, чем бы сейчас заняться. В высокое, в любую погоду распахнутое окно врывался ветер, надувая пузырем желтые шелковые занавески. На пестром ковре шевелились кусочки какой-то разорванной открытки. От нечего делать я поднял их и терпеливо сложил, чтобы узнать, что там изображено. Это была фотография Медвежьего озера, на заднем плане — лес и небо, покрытое облаками. Положив открытку на ладонь, я перевернул ее и прочел две короткие строчки: «Привет из Соваты. Будешь ли в этих краях? Жужа». У меня было такое чувство, будто я заглянул через замочную скважину в чужую комнату; я быстро бросил клочки обратно на ковер, но хорошее настроение улетучилось. От этих нескольких слов на меня повеяло холодным расчетом и редкой настойчивостью. Хотел бы я знать, сколько таких открыток разорвал Ласло; но еще больше мне хотелось знать, почему он не женится, если так хладнокровно рвет Жужины весточки. Потом я подумал, что о хладнокровии здесь, видимо, говорить не приходится — наверное, Ласло все еще любит Жужу. Позже я убедился в том, что не ошибся, однако тогда мне пришлось задуматься над другим вопросом: как человек, подобный Ласло, вообще может любить такую женщину? Должно быть, к тому моменту, когда он понимает, с кем имеет дело, изменить уже ничего нельзя: созревшее чувство не просто вырвать из сердца — остается делать вид, будто чувства этого не существует. Со временем, пожалуй, оно проходит, перегорает, но человек лишается той эмоциональной восприимчивости, которая необходима для зарождения новой любви, становится похожим на поле, сожженное жестокой засухой.

Словно холодным ветром повеяло вдруг на меня. Я быстро взял удочку, катушку, подобрал крючки и отправился на Марош.

Ласло пришел домой около полуночи, разделся и, уже склонившись над тазом с водой, спросил:

— Поймал что-нибудь?

— Три усача. Отдал их тете Эржи.

— Завтра наловим больше. Говорят, сейчас форель берет.

— Даст бог, сбудется твое пророчество.
— Аминь. Хочешь еще одеяло?
— Нет. И под одним жарко.

Я смотрел на его мокрую мускулистую спину, которую когда-то каждый вечер тер мелким речным песком. На одно мгновение все, что произошло с тех пор, показалось неправдоподобным, придуманным — потому, должно быть, что мне некогда было размышлять над тем, как быстро бежит время. Теперь же я вдруг увидел все в каком-то новом свете. Сняв с гитары чехол, я коснулся пальцами струн, но даже тихий мелодичный звон не успокоил меня.

— Тебе уже тридцать восемь,— сказал я.

Он удивленно обернулся, перекинул полотенце через плечо, глаза его блеснули.

— Ну и что?
— Я просто думаю. Быстро пролетели эти восемь лет.
— Не зря пролетели.
— Знаю. И это самое важное.
— Только это и важно. Больше ничего.
— Все-таки не мешало бы тебе жениться.

Он снова удивленно взглянул на меня, хотел было что-то возразить, но сдержался и сказал лишь:

— А тебе не мешало бы иногда помолчать.

Через некоторое время, уже в темноте, он заговорил более мягким тоном:

— Есть люди, у которых траур только внешний: скинул вечером одежду, и нет траура. К сожалению, я не отношусь к этим счастливчикам.

Он включил свет, сел, свесив ноги с кровати, закурил.

— Помнишь Жужу?
— Еще бы!
— Так вот, если хочешь знать, я до сих пор не могу ее забыть. Ведь я десять лет к ней стремился, а потом, недолго, был даже счастлив. Да только, видно, на этом счастье мое и кончилось.

Должно быть, потому, что вспомнили мы о старом и Ласло тоже вернулся мыслями в ветхий, продуваемый сквозняками домик, машинальным движением он погладил меня по голове, убрав со лба волосы. Я уже трижды был влюблен: два раза в девчонок-гимназисток и один раз в зрелую женщину, мать двоих детей; раздумывая сейчас над этим, я пришел к выводу, что это были, по

всей видимости, довольно жалкие переживания, а настоящая любовь — это нечто совсем другое, чего я еще не знаю. Ласло встал, прошелся по комнате босиком, в полосатой пижаме, несколько раз глубоко затянулся сигаретой, торопясь ее докурить. Взгляд его вдруг упал на разорванную открытку; он долго смотрел на нее, словно удивляясь, почему она до сих пор здесь.

— Зря ты трудился, складывал,— сказал он устало.— Я тебе и так все расскажу, если захочешь. Вообще-то с тобой и в детстве случалось, что ты без всякой нужды отягощал свою совесть. Как-то раз в котловине ты слопал еду, которую я и так хотел отдать тебе. Бог знает почему мне это тогда показалось таким важным, но было бы здорово, если бы ты подумал обо мне и оставил что-нибудь, все равно я бы тебе все отдал.

— Не сердись, пожалуйста, я...

— Да я не сержусь. Ведь секрета здесь нет никакого. Только подобного между нами не должно быть.

Он погасил свет и лег. Я чувствовал себя ничтожным, мелким человеком, с черной, как эта беззвездная ночь, душонкой. Ласло уже засыпал, когда я снова заговорил.

— Забудь, пожалуйста, что я тебе сказал в кабинете.

Он вздрогнул, разбуженный, и некоторое время размышлял над моими словами.

— Это ты о чем?

— Что я обогнал тебя. Слаб я еще для этого.

— Черт побери! — засмеялся он.— Хорошенькая новость! Значит, зря я с тобой столько возился.

Такой вывод был обидным не только для него, но и для меня. Все-таки я закончил среднюю школу, блестяще сдал все экзамены — я один знал, чего это мне стоило,— четыре года был секретарем школьной организации ИМС *; кроме того, за это время я научился обращаться с деревом, узнал его характер. Пожалуй, лишь отдых, заслуженное безделье так и остались мне незнакомыми. И все потому, что я сказал себе: буду твердым, как железо, все сделаю, чтобы Ласло не разочаровался во мне.

— Если я не ошибаюсь,— сказал я, сдерживая досаду,— о человеке судят по его работе.

---

* ИМС (*венг.*) — Союз рабочей молодежи, молодежная организация в Румынии.

— Да,— тотчас отозвался он.— Только многие понимают это по-своему: считают, что хорошая работа дает право быть бесхарактерным, распущенным, самовлюбленным эгоистом. А коммунист не может идти на уступки даже с самим собой: если ты человек, будь человеком во всем. Так что позволь мне судить о тебе не только по работе.

Где-то в здании долго, настойчиво звонил телефон. Я дождался, пока дежурный снимет трубку, и хотел еще что-то возразить, но, услышав глубокое, ровное дыхание Ласло, понял, что он уже спит. Вскоре заснул и я.

8

Рассвет едва занимался, когда мы встали, оделись, натянули холодные и легкие резиновые сапоги. В саду тихо щипали траву косули; я остановился у проволочной сетки, они подошли и ткнулись мне в ладонь черными влажными носами. Ласло взял в комнате вахтера приготовленный с вечера пакет с едой, сунул его под мышку и махнул мне, чтобы я поторапливался.

На улице, у тротуара, стоял зеленый вездеход. Шофер поздоровался и спросил, можно ли заводить. Улыбнувшись, Ласло высадил его из машины.

— Вы меня не поняли, товарищ Михай. Я ведь сказал только, что беру машину, а не просил нас везти. Сожалею, что испортил вам воскресный сон, можете идти продолжать.

— Ну что ж, жена на меня за это не рассердится,— сказал тот, не очень пытаясь скрыть радость.— Счастливого пути, товарищ Такач. Запасное колесо на месте, свечи тоже припасены. Счастливого пути!

— Спасибо.

Ласло сел за руль, я рядом с ним. Удочки и сверток с едой мы бросили на заднее сиденье. Остывший за ночь мотор завелся с трудом, треща и кашляя. Ласло некоторое время прогревал его на холостом ходу, потом тронул машину с места. Мы промчались мимо окраинных домишек и на полной скорости вылетели на шоссе.

Ночной мрак неохотно отступал, рассеивался, на горах лежали белые полосы тумана, холодный, покалывающий горло утренний воздух врывался под брезентовый

верх вездехода. Обильная роса лежала на траве, на обочине шоссе, во дворах еще не проснувшихся хуторов, на глиняных горшках, пестреющих по плетням. Я думал о вчерашнем дне: он был утомительным и оставил во мне неприятный осадок. Ласло сидел, откинувшись назад, смуглые руки его спокойно лежали на баранке, которую он, казалось, едва поворачивал. Рубашка с короткими рукавами распахнулась на груди. Без особого напряжения, немного даже расслабленно сидел он за рулем, как человек, который отдыхает душой и телом после многодневного труда и которому нет никакого дела до бешено летящего вездехода. Стрелка спидометра колебалась между восемьюдесятью и девяноста, хотя дорога здесь была довольно плохой.

— Играешь с опасностью? — спросил я.

— Ничего подобного,— он улыбнулся.— Машина вполне надежная.

— А нервы у тебя тоже надежные?

— Конечно. Ты не замерз?

— Нет.

Вообще-то я замерз. Хотелось включить отопление, но я постеснялся: если ему тепло, то тепло должно быть и мне. Не снижая скорости, мы мчались вверх по крутой извилистой дороге, среди темных, молчаливых елей; я вцепился в дверцу, и все же на поворотах меня сильно бросало из стороны в сторону. Ласло говорил о перспективах района, о планах, о проблемах, которые предстоит решить. Я внимательно слушал его, зная, что, когда мы прибудем на место, говорить об этом нам уже будет некогда. Меня действительно интересовало все, что здесь происходило — должно быть потому, что с самых первых дней я был свидетелем возрождения этого разрушенного войной края. Как бы между прочим Ласло вдруг сказал, что скоро переходит на другую работу.

— Куда? — спросил я, ошеломленный этой новостью.— В область?

— Да, только, думаю, в другую.

— На партийную работу?

— А это как смотреть. В органы безопасности,— ответил он.

Я испытующе смотрел на Ласло. Конечно, оставлять работу здесь ему не хочется, хотя бы потому, что он знает свой район, как никто. Переходить на новое место, за-

ниматься совершенно незнакомым делом — это значит начинать все с начала, с нуля, а начало чаще всего бывает самым трудным. Однако Ласло никогда не боялся начинать с начала, о чем бы ни шла речь. Он внимательно следил за дорогой, бегущей среди тяжелых от росы еловых лап; глаза его блестели, ресницы, длинные и густые, как у девушки, подрагивали; концом языка он время от времени облизывал пересыхающие от ветра губы. Едва заметными движениями рук, державших баранку, он легко и уверенно вел послушную машину .

— И тебе не жаль уходить?

— А чего жалеть? Если бы я не согласился и меня бы спросили почему, я не мог бы привести ни одного разумного довода. А ты бы мог?

— Нет, я бы тоже не мог.

— Ну вот, видишь.

По брезенту хлестали ветки, мы ехали теперь по узкой и неровной каменистой дороге, из-под колес на ветровое стекло летела вода. Очевидно, на машине нам осталось ехать недолго, и Ласло, с непривычной для него взволнованностью, подвел черту под нашим разговором:

— Видишь ли, Мишка, я не считаю работу трудной, если у нее есть цель и смысл. Мир все время надо подталкивать, чтобы он двигался вперед, и не все ли равно, где подставлять плечо!

— Я это знаю,— сказал я.— Я тоже готов подставлять плечо где угодно.

— Так уж мы устроены, верно?

Он не ждал ответа — лишь улыбнулся, бросив на меня быстрый взгляд. Дорога пошла вниз; мы подъезжали к старому, полусгнившему бревенчатому мосту, который даже крестьянскую телегу выдержал бы с трудом. Ласло свернул с дороги в лес, ловко развернул машину, выключил мотор. И в ту же минуту, как в сказке, мы услышали волшебную музыку — стеклянный, чистый звон льющейся по камням воды. Мы взглянули друг на друга, и по нашим спинам мурашки побежали от долгожданной радости; в такие минуты хочется мчаться куда-то, спешить, чтобы не потерять ни частицы счастливого ощущения близости к природе, и кажется: предстоящий день неправдоподобно, несправедливо мал. Еще не встретившись с водой, уже думаешь о том, как трудно будет с ней расстаться.

Я выпрыгнул из машины на мягкий, податливый мох.

— Отсюда и начнем?

— Да. Пройдем вниз километра три, потом двинемся вверх по другому ручью.

Мы вытащили из машины рыболовные снасти. Удилища были гибкими, легкими, Ласло купил их в прошлом году в Праге. Солнце стояло уже высоко, узкие пучки яркого света пронизывали влажные кроны сосен, берез и ив, падая на заросли папоротника и нагроможденный по обоим берегам принесенный водой хворост.

Ласло шел впереди, держась шагах в двадцати от ручья; он прокладывал дорогу в густом кустарнике, подходя к воде лишь там, где рассчитывал что-нибудь поймать. Самые лучшие места — тихие омуты возле низко нависших над ручьем кустов, глубокие черные заводи под водопадами, где кругами ходила белая кружевная пена,— Ласло оставлял для меня. Бесшумно двигаясь в мокрой и высокой, по грудь, траве, подняв над головой удочку, он, не оборачиваясь, показывал мне через плечо, где нужно закидывать. Почти в каждом таком месте я вытаскивал скользкую, пятнистую, сильную форель. Сквозь шум воды я часто слышал довольное посвистывание Ласло.

В месте слияния двух ручьев мы передохнули, осмотрели улов, позавтракали. Ели мы недолго: не терпелось идти дальше. Одежда наша была насквозь мокрой, словно мы только что сами побывали в воде. Рыбная ловля была для Ласло не только отдыхом, но и удовлетворением где-то глубоко таящейся, еще от далеких предков, наверное, унаследованной страсти, для меня же — такой потребностью, которая легко оттесняла на задний план физические неудобства. Все мои чувства были открыты окружающему миру природы, я впитывал его в себя, полностью растворялся в нем, не ощущая ни холода, ни голода, ни усталости, ни течения времени, зато с необычайной остротой ощущая, что я живу, дышу, двигаюсь.

Второй ручей оказался более узким, но зато более стремительным. Идти вдоль него было сущим мучением: Мешали камни, покрытые скользким, легко рвущимся мхом, нагромождения трухлявых, с треском проваливаю-

щихся под ногой стволов и ветвей — эти завалы иногда полностью скрывали ручей,— заросли крапивы и папоротника выше человеческого роста; ржавые плети ежевики, усеянные кривыми шипами, сплетающиеся в непроходимый заслон. Лучи солнца, стоящего уже почти в зените, беспомощно застревали в сомкнутых кронах; внизу же, в густой тени, все, к чему ни прикоснешься, было холодным и влажным. Форель, которую мы вытаскивали здесь из заводей под водопадами, была очень темной окраски.

Наконец вокруг стало светлее: мы вышли в освещенную солнцем небольшую долину, где ручей растекался по мелкой желтой гальке. На склонах рос густой малинник. Ласло, послюнив палец, тер глубокую кровоточащую царапину на руке и исподлобья посматривал на меня.

— Взгляни-ка наверх,— сказал он.

Я взглянул на восточный склон долины, основательно вылизанный частыми ветрами. Из пестрого, залитого щедрым солнцем кустарника поднималась белая скала, похожая на башню; на ней отчетливо видны были карнизы и темные трещины-прожилки, за которые, пустив корни в тонкий слой земли, нанесенный ветром и дождями, цеплялись упорные кривые деревца. Когда я видел эти деревья впервые, они были еще совсем юными; с тех пор они выросли и закрыли своими ветвями значительную часть скалы. Я стоял, слегка ошеломленный: к такой встрече я совсем не был готов. Казалось, я снова ребенок, снова лежу один на траве — и мне лишь приснилось, что из кустов вышел небритый солдат с потным лицом, в испачканных смолой военных брюках, и все то, что было потом, тоже мне приснилось. Ласло взял меня за плечо, сильно сжал его, и мы одновременно взглянули вверх, на скалу.

— Помнишь? — спросил он.

— Помню.

— Там была наша палатка.

— И костер.

— А в последний вечер мы не разводили огня.

— Потому что увидели тех шестерых немцев, горных стрелков.

— Пятерых.

— Пусть пятерых. Но они были очень близко.

Мы замолчали, Ласло все еще сжимал мне плечо. Я спросил:

— Ты меня нарочно привел сюда?

— Да. Я подумал, здорово еще раз побывать здесь вдвоем.

— Действительно здорово.

Воздух, напоенный запахом малины, был горяч и неподвижен, хотя вверху, на скале, ветви молодых деревьев слегка шевелились под слабым ветерком. От нашей мокрой одежды шел пар.

— Солнце как светит,— сказал я.

— Да,— ответил Ласло.— И для нас светит солнце, это самое главное. Все, как мы рассчитывали.

Не помню, чтобы мы в те давние дни строили какие-то планы, но Ласло, видимо, казалось, что мы все детально продумали и рассчитали. Ведь я и сам был твердо уверен, что где-то недалеко отсюда находится серебряный волшебный сад, в котором по ночам в конце лета танцуют феи, и маленькие их ступни не стряхивают со стеблей прозрачные капли росы.

— Да, все, как мы рассчитывали,— повторил я.

На обратном пути мы уже не ловили рыбу и почти не разговаривали. Когда чувства переполняют тебя, самое лучшее немного помолчать.

На другой день Ласло с утра ушел на заседание бюро, и я напрасно ждал его целых полдня, лишь за обедом мы встретились ненадолго. Вчерашние царапины на его руках были закрыты длинными рукавами светло-зеленой шелковой рубашки, он выглядел озабоченным и, казалось, мог думать лишь о вопросах, о которых шла речь на бюро. После обеда он сел в машину и уехал куда-то на завод, на совещание. Когда он вернулся, его уже ждали председатель и секретарь районного народного совета, с ними он просидел до позднего вечера. Целый день я никуда не уходил: все ждал, когда мы останемся, хотя бы на короткое время, вдвоем. Мы оба страдали оттого, что находимся рядом и все же не вместе. Ночью я сообщил ему, что собираюсь уезжать.

— Почему? — спросил он с удивлением.— Хотя бы нынешнее лето провел со мной.

Он говорил мне это каждый год, и каждый год я все-таки уезжал на лесопильный завод и работал там все лето. Уже в юном возрасте, как и позже, я не умел от-

дыхать за чужой счет; я всегда исходил не из того, легок или труден тот или иной путь, а из того, куда этот путь ведет. Ласло понимал это и в глубине души одобрял меня. Вот и теперь я сказал в ответ на его слова:

— Это лето ничем не отличается от прежних. Я еще никуда не поступил. Да и тебя не хочу отрывать от работы.

— Ну, оторвать меня от работы не так-то просто.

— Знаю. Только тогда мы и видеться-то почти не будем.

Он не ответил, вздохнул, улегся и погасил лампу. Пожалуй, он немного даже жалел, что воспитал меня по своему образу и подобию.

Утром, во вторник, я позвонил Виктору. Ласло предложил было свою машину, но я отказался и поехал поездом. Виктор ждал на станции; едва завидев меня, он во всю глотку завопил:

— Смелый народ грузчики, вперед!

5

Не знаю почему, но это лето все же было не таким, как прежние. Я как-то по-новому, сильнее и острее, воспринимал все: и соленый вкус пота на губах, и аромат ночной фиалки, напоминающий запах пчелиного воска, и кислый винный дух, идущий от сухого дуба, и горячее марево над кучами распиленных бревен. Огрубевшие от тяжелой работы пальцы становились удивительно легкими, едва я касался гитарных струн. Иногда мне бывало грустно оттого, что я уже такой взрослый; а иногда я с детским волнением смотрел, как акация роняет в дорожную пыль свои мелкие ярко-желтые листья.

Работа грузчика не позволяла нам скучать. Скажем, ты спишь в своей постели сладким сном хорошо поработавшего человека — и вдруг в дверь барабанит кто-нибудь из конторы, тоже только что поднятый с постели: оказывается, железнодорожники пригнали те десять вагонов, которые мы ждали только завтра. Или сидишь вечером в кино, а тебя кто-то трогает за плечо и шепчет на ухо, что пришли порожние вагоны, которые должны были прийти позавчера. Нам с Виктором нравились эти неожиданные подъемы и авралы, хотя мы каждый раз и

ругались, старательно подражая другим грузчикам. Первой от стука всегда просыпалась тетя Шаби, мать Виктора: правда, она спала на кухне, и стучали чаще всего именно в ее дверь. Она бесшумно входила к нам в комнату и тихо, словно опасаясь, как бы мы и в самом деле не проснулись, будила нас:

— Ребятки, вас зовут... Вагоны пришли...

Виктор сразу вскакивал, распахивал дверь, чтобы тот, кто за нами пришел, не пропустил ни единого слова, и начинал:

— Чтоб тебя...

Ругался он виртуозно, употребляя витиеватые выражения, я же только вторил ему:

— Ах ты, холера, язва, чума...

Когда мы заканчивали работу и, зевая, глядя на звездное небо, плелись обратно, Виктор обязательно повторял свою обычную остроту:

— Я буду, наверное, самым образованным грузчиком среди учителей истории.

Мне было лень каждый раз придумывать новый ответ, и я говорил ему:

— Пока что ты историк только среди грузчиков.

Дни стояли жаркие, работать под горячим солнцем было трудно и изнурительно, я едва дожидался момента, когда можно будет сбросить пропотевшую одежду и лечь в холодную мелкую воду Мароша. Уцепившись за большой скользкий камень, я подолгу лежал там на животе; у горла бурлила вода, поднимаясь до самых губ; вытянутые ноги бросало из стороны в сторону стремительное течение; омывающий тело холодный поток и наполняющий всего меня шум воды уносили с собой усталость и заставляли сердце радостно биться. В конце концов я отпускал камень, и берега с ивами мчались мимо меня; казалось, ноги мои никогда уже не коснутся дна. Меня сносило на спокойное глубокое место, где на дне, сквозь прозрачную зеленоватую воду, поблескивал золотистый песок.

Виктор не ходил со мной купаться: запретили врачи. Он оставался дома и отдыхал за книгами. Однажды, придя с Мароша, я нашел его чем-то крайне озабоченным; сидя в кухне на скамеечке, он, как обычно, держал в руках книгу, но не читал, а лишь нетерпеливо стучал по ней пальцами.

— Ты Иошку Тимара знаешь? — спросил он строго.
— Еще бы,— ответил я с удивлением.

Тимар тоже работал грузчиком, и мы целыми днями были вместе. Это был жизнерадостный мужчина лет сорока, сильный как бык, умный и хитрый.

— Ну так вот,— продолжал Виктор,— приехала его дочь. Скоро сойдет ночная сень, так что бери свою гитару и пошли. Будем петь серенады.

— Во-первых, у Тимара нет дочери.

— Есть.

— Во-вторых, я не собираюсь драть глотку под окнами кого бы то ни было.

— Будешь драть глотку.

— Чего ради?

— Я же тебе говорю: приехала дочь Тимара. Романтическая история: супружество, разочарование, развод. Дочь живет с матерью в Темешваре*. Вырастает. Мать, загоревшись поздней страстью, выходит замуж. Дочь возвращается к отцу. Будет работать здесь, на заводе. Мы с тобой должны ее приветствовать.

— Словами куда ни шло, а от серенад избавь.

— Ну... хочешь, мы сделаем так, будто это я пою серенаду,— неуверенно сказал Виктор.— Я буду стоять рядом с тобой и воздевать руки, вот так, смотри...

— Ты хоть видел ее?

— Конечно. Во дворе.

— Красивая?

— Затрудняюсь четко выразить свое мнение, Мишка. Лучше пойдем и будем действовать. Мы изберем средневековый способ знакомства: пусть она видит, какие мы хорошие парни. Конечно, я не хочу сказать, что только средневековые парни были хорошими. Но все-таки — рыцарский подход...

— Для тебя это так важно?

— Очень!

Я вынес из комнаты гитару и старательно настроил ее. Это была довольно старая гитара, но звучала она отлично; Ласло подарил ее мне, когда я первый год ходил в школу. На улице было уже темно; под ногами шелестели опавшие цветы акации; затаив дыхание, шли мы

* Темешвар — венгерское название города Тимишоара в Трансильвании.

мимо домов, будто собирались сделать что-то запретное. Виктор заговорщически шептал:

— Начни с аргентинского танго... а потом тот романс о старом ореховом дереве...

— Еще и петь надо?

— Без пения нет смысла и начинать.

Окна в доме Тимара были темными. Собаки, к счастью, у них не было; мы перешагнули через низкую ограду и оказались в палисаднике, где стоял густой аромат табака, и я, чтобы не передумать, сразу рванул струны. Я сам поразился волнению, которое вдруг охватило меня: гитара пела звонко, мелодично, и я чувствовал, что, пожалуй, в самом деле влюблен в девушку, которая спит там, в темной комнате, и которую я еще не видел. Виктор как и обещал, воздел к небу руки, словно собирался поймать что-то, что ему должны сбросить с бледной, холодной луны. Я начал прямо с припева, стараясь петь тихо: перебудить весь поселок мне не хотелось.

Пой, звени, моя гитара,
Чтобы сердцу легче стало...

Но едва я дошел до слов: «Знаешь только ты одна да туманная луна...» — как окно открылось и послышался добродушный, хрипловатый голос Йошки Тимара:

— Вы что, ребята, тронулись? Заходите, если что надо!

Он зажег свет, застегнул на груди красную полосатую пижаму и пригласил нас в кухню. На щетинистом лице его была хитрая улыбка.

— Какие новости, товарищи? Вагоны прибыли?

— Нету вагонов,— беспечно ответил Виктор. Подвинув к себе ногой табуретку, он по-свойски уселся на нее.— Если бы прибыли вагоны, мы бы об этом в прозе сообщили.

— Тогда что вам в голову взбрело?

— У тебя в палисаднике очень хорошая акустика.

— Что верно, то верно,— сказал Тимар. Он сдвинул брови и крикнул: — Кати! Здесь к тебе делегация!

Из комнаты вышла рыжеволосая взлохмаченная девушка в зеленом халате. Маленькие белые ноги ее прятались в вышитых туфлях, тот же узор был вышит и на широком в ладонь поясе. От нее веяло жизнерадост-

ностью и решительностью, она спокойно пожала нам руки, глядя на нас большими светло-карими глазами.

— Вы хорошо поете,— любезно сказала она Виктору.— Только напрасно так высоко поднимаете руки.

— Да это не я пел, а Мишка,— ответил Виктор.— Но сегодня вечером он ударил по струнам исключительно по моей просьбе.

— Ударил по струнам! — с почтением повторила девушка.

Я не вмешивался в их разговор и за весь вечер, думаю, не произнес и двух слов. Я смотрел на волосы девушки, на сверкающие в них искры, на ее круглый маленький подбородок, следил за изящными движениями ее тонких белых рук. Тимар уселся в сторонке, закурил и молча пускал дым. Я думал, что не мог бы вот так запросто, как Виктор, болтать с этой девушкой, а если бы мне пришлось петь для нее, то я бы сложил новую, никем еще не петую песню.

Когда мы уходили, они вышли проводить нас. Тимар и Виктор ушли на несколько шагов вперед, и я тихо спросил у девушки:

— Можно, я буду писать вам?

Она с удивлением посмотрела на меня:

— Но ведь я здесь остаюсь жить.

— А я осенью уезжаю.

— До осени мы еще встретимся, верно?

Ничего не ответив, я вышел из ворот и, зажав под мышкой гитару, пошел рядом с Виктором по пыльной улице. Шагов через тридцать Виктор заговорил:

— Вблизи она не такая, как я думал.

— Нет,— сказал я.— Точь-в-точь такая, какой я себе ее представлял.

Я с трудом вспоминал черты девушки — лишь какое-то бледно-золотое сияние осталось в душе, подобное пламени негасимой лампады.

На следующий день приехал Ласло — попрощаться. Он уезжал в Бухарест получать указания, связанные с его новой работой.

Мы провели вместе полчаса, гуляя по заготовочному двору, спокойно разговаривая о лете, о работе, обо всем,

что приходило в голову. Ласло не делал мне никаких наказов: я и без того хорошо знал, чего он ждет от меня. Он курил одну сигарету за другой, тщательно затаптывая окурки в землю.

— Возможно, я еще смогу к тебе заехать,— сказал он.— Если не заеду, то сообщу адрес. Хорошо?

— Хорошо,— ответил я.

— Так я пошел. Уезжаю вечерним скорым.

Он крепко пожал мне руку, посмотрел в глаза. Я снова обнял его, прижавшись лицом к его лицу. На этот раз он ничего не сказал, не двинул меня кулаком в бок, лишь ласково оттолкнул и пошел к дороге, где стоял его вездеход. Я смотрел вслед, пока ветер не унес пыль, поднятую его машиной, затем медленно вышел на дорогу и пошел вверх по склону, по ведущей в рощицу тропинке, той тропинке, которую, можно сказать, я сам и протоптал в этой скудной, редкой траве.

Я уселся на свое любимое место — под молодой березкой; в то давнее, первое мое здешнее лето деревце это было не толще удилища, теперь на него можно было взобраться. Прислонившись спиной к стволу, я наблюдал, как ползет ко мне из долины вечерняя тень. Вот в последний раз вспыхнуло заходящее солнце. От прохладного ветра покрылись гусиной кожей мои голые руки. Стемнело, вспыхнули внизу фонари, и на территории завода стали видны широкие соприкасающиеся круги света. Из котельной поднимались белые облака пара; тяжелое пыхтение и резкий скрежет доносились сюда, как слабое жужжание. Над головой едва слышно перешептывались листья березы, влажная темень сгущалась кругом, рубашка стала сырой от росы. Меня переполняли разнообразные чувства: и грусть прощания, и надежда на будущую встречу, и сознание того, что я силен и крепок и что меня впереди ждет работа и не знакомые доселе переживания, которые этим летом обрушились на меня так неожиданно и радостно и которые были словно озарены золотистым сиянием. Я живу — об этом кричала каждая клеточка моего тела; во мне и вокруг меня, всюду, как упругий сильный ветер, шумела жизнь. Казалось, только раскинь руки, сквозь темноту полетишь вниз, к свету, туда, где с глухим стуком ударялись друг о друга еще теплые от солнца бревна, или, может быть, поднимешься к далеким холодным звездам.

Я учился на втором курсе Института лесного хозяйства. Однажды, на исходе хмурого февральского дня, я сидел в библиотеке, подбирая из немецких и русских журналов материал, дополняющий мои зимние наблюдения. В комнате стояла сонная тишина, лишь порой громко зевала в своем углу библиотекарша.

Ко мне подошел ассистент Раду и слегка тронул за плечо:

— Товарищ Дарко, вас спрашивают.

— Кто?

Он пожал плечами: очевидно, и сам не знал. Я поднялся, оставив свои заметки на столе — так как хотел еще поработать,— и пошел к выходу.

За дверью ждал меня незнакомый человек, молодой, коренастый, в короткой, подбитой мехом штормовке, в сапогах из мягкой кожи, на которые налип снег.

— Вы Михай Дарко?

— Да.

Он протянул мне крепкую руку с короткими пальцами, представился:

— Старший лейтенант Кэлугэру. Мне велено сообщить вам, что майор Такач тяжело болен. Он в госпитале. Если вы захотите к нему поехать, приказано помочь вам в этом.

Пожалуй, я все понял в тот же момент, понял, что пришел день, когда мне предстоит выдержать самое тяжелое испытание. Однако самообладание меня не оставило, довольно спокойным тоном я спросил:

— Что значит помочь?

— Все,— коротко ответил старший лейтенант.

— А точнее?

— Все, что вы сочтете необходимым. Мы попросим дирекцию института отпустить вас. Если вам неудобно ехать на поезде, можете получить машину. И если...

— Спасибо,— прервал я его.— Можно попросить машину через десять минут?

— Можно. Только покажите, где у вас телефон.

— Вот здесь, вторая дверь направо.

Я вышел на улицу и закурил, после каждой затяжки бросая взгляд на часы. Я пока ничего не чувствовал, кроме тупой, ноющей боли, как после удара электрическим

током. Леденящий ветер гулял над мостовой, над серым, утоптанным снегом, предвечерняя мутно-серая пелена уже опустилась на город. На горизонте, там, где холодная зелень неба смыкалась с черной линией гор, сияли первые звезды. Сигарета обожгла мне пальцы, я бросил ее в снег. Прошло десять минут, и передо мной затормозила кофейного цвета машина, я сел, шофер сразу же дал газ. В фосфоресцирующем зеленом свете приборов вырисовывался его жесткий, неподвижный профиль; я смотрел на линию его носа и рта, стараясь угадать, хороший ли он водитель и может ли понять, как дорога мне сейчас каждая минута.

— Очень прошу вас, поезжайте быстрее,— сказал я.

Ответом было приглушенное, все усиливающееся гудение мотора; растущая скорость прижала меня к спинке сиденья.

Мы мчались в сторону Бухареста по широкому шоссе, обсаженному тополями. Не знаю, как Ласло попал в столицу. Под Новый год я приехал к нему, он был весел и здоров, ждал меня готовым, и мы сразу отправились к Валентину Бондоку встречать Новый год. По пути мы заехали в поселок, по моей просьбе, и часа два катались на санках с Кати Тимар; усевшись втроем на коротких санях, мы развили такую скорость, что внизу, на покрытой льдом дороге, пришлось нарочно опрокинуться: иначе бы мы проломили забор около амбулатории. Все это вспомнилось мне так отчетливо, что теперь, когда я думал о словах маленького лейтенанта, мне казалось, что я схожу с ума. Из горла у меня вырвался глухой стон.

— Вам плохо? — спросил водитель.

— Нет,— ответил я.— Просто вспомнил кое-что. Как майор попал в Бухарест?

— Самолетом.

— Вы шутите? Самолетом, поездом — не все ли равно? Я другое имел в виду.

— Я понял, что вы имеете в виду,— бесстрастно сказал водитель.— И ответил на ваш вопрос. Его доставили в Бухарест самолетом, потому что нельзя было терять ни минуты. Специальным самолетом.

— Нельзя было терять ни минуты?

— Да.

На боковых стеклах машины лежал плотный слой наледи; я знал, что мы проезжаем через известные своей

красотой горы, затем по равнине, мимо величественных старых дубрав; но мне совсем не хотелось расчищать стекло и любоваться бегущими мимо пейзажами. Я видел только приборную доску, твердый профиль водителя, прыгающие цифры на спидометре. Даже пестрые, сверкающие огни Бухареста мелькали словно на расстоянии цветными размытыми пятнами за белесым экраном стекла. Наконец машина плавно затормозила и остановилась, гудение мотора стихло, на меня навалилась глухая, давящая тишина — и я вдруг почувствовал, что эта дорога невероятно измотала меня и мне очень трудно будет держаться в последующие минуты. Особенно я боялся того момента, когда увижу его и заговорю с ним; если я не поддамся слабости в этот момент, то дальше будет уже легче. Я вышел из машины и огляделся: мы находились в каком-то саду, под голыми ветвями огромных каштанов. Необъяснимой грустью веяло от них; по обеим сторонам аллеи, у подножий деревьев, громоздились высокие снежные барьеры. Белое здание госпиталя возвышалось над черным переплетением ветвей с холодным, невозмутимым спокойствием, во всех окнах горел свет. Я посмотрел вверх и, словно мне подсказало сердце, выбрал одно окно, из которого струился приглушенный синеватый свет. Это его окно, подумал я и почувствовал, как дрожат губы. Я сжал челюсти. Дрожь прекратилась, затаившись где-то глубоко внутри. Стало страшно. Подошел врач — пожилой седоволосый мужчина, взял меня за руку и повел в вестибюль. По лестнице, второй этаж, направо, сказал я про себя; действительно, мы поднялись на второй этаж и от лестничной площадки пошли по коридору вправо.

Ласло лежал в палате один. Из-под белого покрывала виднелось лишь его худое, застывшее, как гипсовая маска, лицо. У изголовья кровати горела небольшая синяя лампочка, углы комнаты тонули в темноте. Врач задержал меня в дверях и шепотом сообщил: из груди майора извлекли две пули, он в сознании, но двигаться и говорить не должен, да и не может. У меня было такое ощущение, что врач не сообщил мне ничего нового: я словно уже слышал, может быть во сне, эти приглушенные, страшные в своей лаконичности слова.

Подойдя к кровати, я наклонился; в слабом свете лампочки был еще различим неяркий блеск в глубоких

темных глазницах — от пылающего вулкана остались лишь тлеющие угольки, которые или разгорятся снова, или угаснут навсегда. Я прикоснулся губами к губам Ласло, узким, бескровным.

— Мне сказали, что ты выехал, — прошептал он. — Я как раз высчитывал, сколько потребуется на дорогу...

Ему нельзя было говорить. С тревогой наблюдая, как меркнет тусклый блеск его глаз, я не нашел ничего лучшего, как спросить:

— Ты почему не спишь?

— Теперь засну... Тебя хотел увидеть...

Я собирался ему сказать, что мы еще не раз увидим друг друга. Но мне подумалось, что так говорят тяжелобольным. Ласло — даже сейчас — ждал от меня других слов.

— Спи, — сказал я. — Я буду здесь, около тебя.

Подтащив к изголовью кровати жесткое кресло, обтянутое белым полотняным чехлом, я сел. Мне еще пришлось поправить сбившийся синтетический коврик на полу. Ласло молчал, свет падал на его неподвижно опущенные длинные ресницы. Губы через равные промежутки времени вздрагивали, словно он порывался что-то сказать. Я смотрел на него, пока все не слилось у меня перед глазами. Не знаю, много ли прошло времени, когда Ласло снова что-то зашептал. Вскочив с кресла, я встал на колени около кровати и приблизил ухо к его губам.

— Не думай, что я жалею... И ты не жалей ни о чем...

— Молчи, — сказал я. — Молчи, тебе нельзя говорить...

— Почему нельзя... если я могу... Гитару ты, жаль, не захватил...

Гитару? Какую-то долю секунды мне казалось, что я не смогу удержаться от рыданий. Но в конце концов мне удалось справиться с собой и ответить довольно спокойным голосом:

— Не успел. Не было времени забежать домой.

— Ну да, конечно.

— Ты не разговаривай. Лучше спи.

Бесшумно открылась дверь, вошли врачи, медсестры, неся какие-то колбы, резиновые трубки, шприцы; из темного угла выкатили не замеченную мною до сих пор установку для переливания крови. Отодвинувшись в сторону, я смотрел на Ласло, не видя больше никого вокруг, и

был счастлив, когда покрывало немного сдвинули и я смог видеть не только его лицо. Я знал, что врачи до последней минуты борются за жизнь больного, что они перестают надеяться лишь тогда, когда больной перестает жить. И все же я пытался убедить себя, что это переливание крови очень важно и что если бы у Ласло не было никаких шансов на выздоровление, то и кровь бы ему не переливали. Руки Ласло и сейчас были смуглыми и мускулистыми, и это наполняло меня ликованием и надеждой; я смотрел на его руки, и, когда их снова закрыли одеялом, мне показалось, будто у меня отняли единственный источник, из которого я черпал силы.

Вновь мы остались в палате вдвоем. Ночное небо за окном приобретало глубокий синий оттенок, черные ветви каштанов на его фоне сплетались в причудливые геометрические фигуры, в каждой из которых мерцало по яркой и равнодушной звезде. Тихо пощелкивали батареи парового отопления; ничто более не нарушало тишину, глубокую тишину, ледяными пальцами сжимающую живое, горячее человеческое сердце.

7

Я сидел возле Ласло, сидел уже давно. Слабый свет синей лампы на несколько часов сменился серым дневным светом. Усталости я не чувствовал — был только страх, что в любой момент меня может настигнуть самый тяжкий удар в моей жизни и что я окажусь перед ним беззащитным. Если в палате не было ни врача, ни сестры, я осторожно касался пальцами его руки под одеялом; мне казалось, так я смогу передать Ласло часть своего здоровья. Когда Ласло впервые ощутил мое прикосновение, он прошептал:

— Бьется сердце-то, Мишка... Небесная делегация... уходит домой, не солоно хлебавши...

— Поспешили там с делегацией,— ответил я.— Ты только не разговаривай, спи.

Я не разрешал ему говорить, мне казалось, что после каждого произнесенного слова тусклые искорки в его глазах становятся еще бледнее. И все же он короткими, отрывочными фразами, которые разделялись бесконечно долгими паузами, сумел рассказать мне, как все произо-

шло. Никто, кроме меня, пожалуй, не мог бы составить из этих обрывков цельную картину, но я слишком хорошо знал Ласло, как знал мир зимних гор и знал суровые, беспощадные законы борьбы. Глядя на сад под окном палаты, я видел снег, голые черные стволы деревьев, невесомый диск луны, холодный ее свет — и этого мне было достаточно, чтобы представить себя рядом с Ласло возле избы лесника, где пересекаются на снегу стежки собачьих следов и на крыльце висит смерзшаяся лисья шкура. Два часа тому назад Ласло еще сидел в своем просторном кабинете, спать ему не хотелось, и он решил проверить, как идут дела у капитана Скурту. О зверствах двух бандитов, за которыми они охотились, мне приходилось слышать; родители наших студентов, живущие в тех местах, писали, что у них убили и ограбили двух человек: одного на дороге, другого в собственной хате на окраине деревни; кроме того, одна женщина была избита до полусмерти и брошена в глубокий овраг. Скурту со своими людьми выслеживал бандитов уже несколько недель. Ласло прибыл в домик лесника ночью: он хотел лишь узнать, нет ли новостей, и дать несколько советов. Почти одновременно с ним туда пришел егерь и сообщил, что видел следы двух человек, ведущие к бревенчатой избе в северном углу Стáновой Поляны.

Скурту собрался было вызвать из деревни своих людей, однако Ласло решил не терять времени. Хорошо зная его, я догадывался, о чем он тогда думал: его собственная жизнь не дороже, чем жизнь любого другого человека; впрочем, может быть, он думал только о том, что нужно действовать без промедления. Они вышли вдвоем: капитан в охотничьем костюме и бекеше и Ласло, как был, в мундире, лишь вместо длинной шинели он взял у лесника легкую брезентовую куртку. Была ясная, лунная ночь, когда мороз пробирает до костей и любой звук отдается в воздухе, как в стеклянном колоколе, чуть слышным звоном. Они долго разглядывали избу с вершины горы: она стояла на самом краю обширной заснеженной поляны, рядом с еловой опушкой; огня в окнах не было, на серых стенах неподвижно лежал лунный свет, но спустя какое-то время в окне мелькнул еле заметный огонек сигареты.

— Зайдем с тыльной стороны,— сказал Ласло.— Может, там нет окна.

Им пришлось сделать большой круг: слишком громко хрустел снег под ногами. Капитан Скурту, наверное, снова подумал о том, что разумнее было бы вызвать людей и окружить поляну, но именно из-за скрипа снега не стал ничего говорить: в такую погоду даже два человека производят слишком много шума. Кроме того, он, как и Ласло, был уверен в своих силах, не боялся риска и до глубины души ненавидел бандитов. Я не был знаком с капитаном Скурту, но мне казалось, они с Ласло хорошо подходили друг к другу: каждый из них понимал, что такой момент нельзя упускать.

Подойдя к опушке, они укрылись в тени елей; перед ними, шагах в сорока, находилась задняя стена избы; на ней, высоко, под самой стрехой, чернело крохотное, в ладонь, оконце. Ярко светила луна; по следам видно было, что бандиты подошли к опушке именно с этой стороны; сюда же подходил и егерь. Это оконце не нравилось Ласло. Если те, кто находится внутри, опасаются неожиданного нападения, они, конечно, следят именно за опушкой, а не за открытой, просматриваемой из конца в конец поляной. Скурту спросил:

— Сходить за людьми, товарищ майор?

Ласло несколько минут размышлял.

— Нет,— сказал он наконец.— Видите, они не зажгли света: в любую минуту могут сняться и уйти.

— Вы правы. Но тогда...

— Тогда я иду к избушке,— сказал Ласло.— А вы, товарищ капитан, зайдите немного сбоку, чтобы видеть дверь.

— Не лучше ли мне пойти?

— Давайте не будем препираться. Делайте, как я сказал.

Скурту протянул ему свой автомат, но Ласло отказался.

— С пистолетом ползти удобнее.

Он сбросил куртку, снял сапоги, фуражку, посыпал снегом плечи и по следам бандитов — там, где хрустящая снежная корка была уже сломана,— пополз к избушке. Несмотря на все предосторожности, в синеватом, мертвенном свете луны отчетливо было видно каждое его движение, да и снег под ним все равно хрустел. Скурту, следуя приказу, отошел вбок. Ласло прополз уже более половины расстояния — до избушки оставалось шагов

пятнадцать,— когда из окошка под стрехой хлестнула длинная очередь; он говорил мне потом, что сразу узнал по звуку немецкий автомат; должно быть, его прятали еще с войны: проржавевший механизм работал туго и выстрелы были какими-то замедленными. Поднятый пулями снег запорошил Ласло глаза; он смахнул его левой рукой и, как только снова мог видеть, дважды выстрелил туда, где мелькал желтый огонек в дуле автомата; он попал точно в переносицу бандиту. Однако под грудью, в снегу, уже растекалась горячая кровь, силы быстро оставляли его; он еще видел, как Скурту бежит к избушке и из его автомата вырывается пламя, но звука выстрелов уже не слышал, а затем и глаза словно заволокло густым туманом. Теряющему сознание Ласло показалось, будто Скурту в нескольких шагах от избушки вдруг растворился в воздухе; на самом же деле капитан, стреляя на бегу длинными очередями, ворвался в избушку; оставшийся в живых бандит успел еще пальнуть в его сторону из венгерского карабина, но Скурту так стукнул его в висок, что того удалось привести в чувство только на следующий день в госпитале. Связав потерявшего сознание бандита, Скурту подхватил Ласло на руки, принес его в дом лесника, и там, на пороге, сам потерял сознание, но к ним тут же подбежал шофер, который весь вечер мирно продремал у печки.

Вот что я узнал из сбивчивого, прерываемого бесконечно длинными паузами рассказа Ласло, и, чтобы составить полную картину, мне этого было вполне достаточно. И еще я вспомнил, что как раз в ту февральскую ночь у нас по какому-то случаю были танцы; пока музыканты отдыхали, мы вышли в сад: ярко светила луна, на улице, под полозьями саней с колокольчиками, весело визжал снег, и все мы чувствовали себя счастливыми от переполняющей нас молодой силы и сознания, что впереди — долгая и большая жизнь. Я колебался, говорить ли об этом Ласло. Потом все же сказал:

— Знаешь, мы танцевали в ту ночь, как раз в то самое время.

— Правильно делали,— тихо сказал он. Я видел, что он хочет улыбнуться, но потрескавшиеся бледные губы его не слушаются.— Ведь в этом весь смысл... В том, чтоб люди радовались... чтобы были спокойны... В этом все дело...

Мы долго молчали, тишина начинала становиться тягостной, когда Ласло наконец едва слышно сказал:

— Я рад, что в ту ночь вам было хорошо.

На третий день мне сказали, что жизнь Ласло вне опасности и поэтому я должен покинуть госпиталь. Перед отъездом мне предложили выспаться в какой-нибудь тихой комнате. Но я ответил, что поеду немедленно: мне не хотелось быть под одной крышей с Ласло и в то же время не с ним. Из тихих разговоров врачей я уловил, что ожидается посещение министра. Прощаясь, Ласло долго и внимательно смотрел на меня, глаза его стали более живыми, шевельнув указательным пальцем, он сказал:

— Ну иди, Мишка...

Я осторожно прикрыл за собой дверь. В саду на меня обрушился морозный, чистый — до головокружения — воздух. Бухарест купался в ослепительном сиянии солнечного дня. Над домами и заснеженными садами плыли косые столбы бледного дыма и музыка автомобильных сирен. С наслаждением выдохнул я из груди запах лекарств. Слезились от яркого света глаза, но сердце билось ровно и спокойно. Я чувствовал, что долгие часы, проведенные без сна у постели Ласло, легли на мои плечи тяжелым, но прочным панцирем, и, какое бы горе меня теперь ни постигло, я благодаря этому панцирю смогу его перенести.

8

Каждое лето, едва в горах начинается рыболовный сезон, меня охватывает беспокойство. Я то и дело посматриваю на дорогу — на пыльное, белой лентой вьющееся под горячим солнцем шоссе; здесь, в горах, откуда ни глянь, всегда видишь лишь небольшой его отрезок. Часто приходится ждать по нескольку недель, но в конце концов желанный момент наступает: к дому подъезжает большой приземистый серый автомобиль и останавливается, окутанный облаком пыли. Кати сразу теряет интерес к остальным делам, в ее загадочных золотисто-карих глазах появляется задорное выражение, она покусывает свои мягкие губы и задумчиво говорит:

— Сапоги... Не помнишь, куда мы дели мои сапоги?

И мы втроем отправляемся в горы, туда, где мчатся бешеные, непокорные речки. Я иду впереди, и самые лучшие места — прибрежные омуты со склонившимися над ними кустами, глубокие черные заводи под водопадами, где кругами расходится белая пена,— оставляю для Ласло. Но и он обходит их стороной: оставляет для Кати, которая в своих маленьких резиновых сапожках и рыбачьих брюках продирается вслед за нами сквозь высокий густой кустарник. Сапожки у Кати короткие, брюки едва закрывают колени, так что икры ее стройных белых ног вскоре сплошь покрываются ссадинами и царапинами.

Через несколько дней серый автомобиль приходит опять, и Ласло уезжает в Бухарест, а я ловлю себя на том, что пытаюсь узнать его в каждом попадающемся навстречу рабочем в пропотевшей рубашке и с заросшим щетиной лицом. И, что самое удивительное, в каждом рабочем я нахожу что-то от Ласло: то голос, то движение, то взгляд — и все же я не нахожу его ни в ком, и потому меня постоянно мучает ощущение, будто мне чего-то недостает. Видимся мы теперь очень редко, раза два в год: работа привязывает его к Бухаресту, меня — к здешним горам. Если мы долго не встречаемся, я почему-то представляю его себе таким, каким увидел впервые; я знаю, что и он видит меня наголо остриженным, отощавшим подростком в грубой одежде и, когда идет по улице, ищет не среди взрослых, а среди детей.

Был он у нас и в этом году; чудесными летними днями мы снова ходили все вместе по зарослям вдоль горных ручьев, провели две ночи в горах, в охотничьем домике. Но и эти пять дней, как всегда, пролетели незаметно. Ласло начал готовиться к отъезду и вдруг сообщил, что скоро переходит на другую работу.

— Куда? — спросил я, не веря своим ушам.

— На партийную работу,— ответил он.— Я тебе потом обо всем напишу.

— И не тяжело тебе начинать все сначала?

— Нет,— он улыбнулся со сдержанной иронией, волосы его сильно поседели, но глаза по-прежнему полны были юного задора.— А почему мне должно быть тяжело? Я уже говорил тебе, Мишка: мир все время надо подталкивать вперед, и я, пока живу, согласен подставить плечо в любом месте.

Проводить его он не позволил, попрощался с нами в доме, крепко прижав нас, сразу обоих, к груди. Поверх красных цветов герани, которыми был уставлен подоконник, мы долго смотрели вслед машине, пока она не исчезла за поворотом. Снова мы остались вдвоем, и квартира показалась нам непривычно просторной, какой-то нежилой. Кати убирала со стола остатки завтрака; я подошел к ней сзади, обнял ее и прижался губами к взлохмаченным рыжим волосам, из которых в последние вечера вычесывал столько сухих хвойных игл. Было раннее утро, солнце только что встало, лучи его с трудом пробивались сквозь мягкую пелену горящих пурпуром облаков. В пепельнице еще дымилась сигарета, оставленная Лаци.

— Вот и уехал,— сказал я.

— Да,— ответила Кати.— На сердце почему-то тяжело.

— И у меня тоже.

В конторе лесничества со мной неприветливо поздоровался Мюллер, новый егерь. Ему не нравилось, что я водил своего гостя ловить рыбу в самые лучшие, заповедные места. Этот немолодой уже, с льняными волосами человек был вспыльчив и считал своей основной обязанностью непримиримую борьбу с охотниками и рыбаками. Сначала он разговаривал с пожилым краснолицым инспектором лесничества и не обращал на меня внимания, но в конце концов все же спросил:

— А что это за человек был у тебя?

Инспектор с удивлением посмотрел на Мюллера.

— Это же Лаци Такач, из мастерских.

А я сказал:

— Это полковник Такач.

— Знаю,— раздраженно ответил Мюллер.— А тебе он кто? Родственник?

— Нет,— ответил я,— не родственник.

— А кто же?

— Долго объяснять, дня не хватит.

Мюллер решил, что я над ним смеюсь, а шуток он не любил и потому рассерженно отвернулся от меня. Я сел за свой стол, но рабочая комната в этот день казалась мне тесной и душной. Хотелось как-то более деятельно жить и трудиться. Я чувствовал в себе слишком много сил, чтобы отдаться сейчас грустным размышлениям и,

склонившись над столом, раздумывать над тем, почему мне каждый раз так трудно расставаться с Ласло. Подобные раздумья были для меня уже пройденным этапом. Я решительно сложил бумаги, встал и повернул ключ.

— Скажи начальнику, что я ушел на Седреш.

Мюллер выглянул в окно: этого ему было достаточно, чтобы предсказать погоду на целый день.

— Вымокнешь,— сказал он.

— Ничего,— ответил я.

Кати дома уже не было: она ушла на завод, а мне бы очень хотелось сейчас ее видеть. Я повесил через плечо свое легкое служебное ружье — вдруг удастся порадовать Мюллера шкурой какого-нибудь хищника — и как раз успел к отходу второго утреннего поезда. Прицепив к хвосту поезда свою маленькую двухместную дрезину, я забрался на тормозную площадку последнего вагона, куда редко долетает копотный шлейф паровозного дыма.

От лесопогрузочной станции у горы Седреш я продолжал свой путь пешком. Дорога шла лесом; места эти, самые любимые мною в окрестностях, мы уже передали разработчикам, и я, как лесовод, уже не имел к ним никакого отношения. Однако я был знаком с планом лесоразработок, составленным одним пожилым инженером, и считал этот план неудачным. Хотя мне никто этого не поручал, я подготовил свой план и дней через пять собирался представить его на рассмотрение вместе со всей необходимой документацией. Вместо строительства железнодорожной ветки я предлагал более дешевое решение — подвесную канатную дорогу; я знал, что не ошибаюсь, но это нужно было доказать и другим. Именно потому, что я особенно любил этот участок, мне хотелось, чтобы его разработка проводилась как можно более разумно и экономно.

Здесь, в царстве терпкого, смолистого аромата, исходящего от старых елей, среди желтых, засохших от недостатка света ветвей, где в густой паутине висят опавшие иглы, меня снова пронизал с ног до головы мощный ток жизни; в голове роились новые мысли, новые решения. С самого высокого гребня смотрел я вниз, в туманную шумящую глубину, и ясно представлял себе всю картину лесоразработок; мозг мой легко находил ответы на все кажущиеся трудными вопросы.

К погрузочной станции я спустился уже после полудня. На небе, как и предсказывал Мюллер, собирались серые, с рыжими закраинами тучи. Когда смолкал шум работающих на станции машин, на горы спускалась непривычная, душная тишина. В это время прибыл последний поезд, но погрузку еще не начинали. Машинист, дядя Болдижар, сердито кричал, торопя людей. По долине осторожно, как бы пробуя силу, прокатилось эхо первого раската далекого грома. Я поставил дрезину на рельсы, разогнал ее и вскочил на сиденье.

Мне предстояло проехать почти сорок километров. Я не сделал еще и десяти, когда гроза догнала меня и дождь за несколько минут насквозь промочил мою выгоревшую на солнце одежду. Слева, со склона, с бешеной силой срывался вниз ветер, ветки деревьев, стоящих на солидном расстоянии от рельсов, хлестали меня по лицу. Ливень бил в глаза, ослеплял — ехать дальше было невозможно.

На одном из поворотов я затормозил, сбросил дрезину с рельсов, перешел вброд речку и укрылся в землянке старого пасечника.

Я и раньше заглядывал сюда, если слишком рано возвращался домой и слышал позади себя стук поезда. Иногда я покупал у старика сотовый мед для Кати.

Под закопченными, черными балками и сейчас клубился дым, затхлый, тяжелый запах едва не свалил меня с ног. Пока я сушил одежду у тихо потрескивающего огня, пасечник забился в угол: казалось, он слушает лишь дикий рев ветра да шум дождя; в его маленьких красных глазках застыло равнодушие. На тряпье, прикрывающее его тело, неприятно было смотреть, нынче только здесь, в этой проклятой землянке, можно было увидеть такое. Давно не бритая, седая борода старика свалялась, словно испачканная смолой. Мы сидели молча, по задней стене землянки журча струилась вода и мутным ручейком вытекала за дверь. Раскаленные камни очага шипели.

— Неважная погода для пчел, дядя Шаркади,— сказал я.

Он посмотрел на меня и снова перевел взгляд на огонь; опухшие веки его подрагивали, Страшным одиночеством веяло от этого старика — даже мое присутствие не могло его нарушить. Таким одиноким может быть лишь тот, чье сердце не любит никого и ничего...

— И для людей... неважная погода,— сказал он наконец скрипучим голосом.

— Скоро кончится лёт, тогда сможете вернуться в Марошвашархей.

— Да-а...

— Чем занимаетесь в городе, дядя Шаркади?

— Чем? А живу себе, вот и все...

— И то правда, в ваши-то годы...

— В мои годы? — он поднял голову. Впервые я увидел блеск в его глазах — печальный, тусклый.— А сколько мне лет, как вы думаете?

Не желая его обидеть, я ответил: шестьдесят.

— Убавляете,— сказал он мрачно.— Если я скажу семьдесят, поверите?

— Пожалуй, хотя...

— Ну так вот: мне еще и пятидесяти нет.

Он уставился в огонь, черты его обмякли, блеск в глазах погас; пожалуй, он вообще забыл обо мне. Гроза кончилась, но дождь продолжал лить, и через землянку все текла и текла грязная вода. Я начал рассказывать ему о новых лесосеках, он же в ответ бормотал что-то насчет того, что вот-де и город тоже строится. Сквозь монотонный шум дождя донесся стук колес: это прошел поезд. Я не стал ждать, пока совсем стемнеет и пока меня одолеет тоска, которой была полна эта землянка. Я попрощался, старик едва ответил: нахохлившись в своем тряпье, как ворон, сидел он на низком чурбане, глядя в огонь, над ним плавал серый густой удушливый дым.

Эта картина стояла передо мной все время, пока я ехал вниз. Какую жизнь прожил этот старик? Какие воспоминания встают перед ним в слабом свете дымного очага? Пока человек живет, он — вольно или невольно — копит воспоминания, наполняя ими свою память, как пчелы наполняют медом улей. То, с чем мы сталкиваемся сегодня, завтра становится воспоминанием — нашим ли, других ли людей,— превращается в источник силы или в балласт. Потому что все зависит от того, как мы живем, ради каких целей расходуем свои физические и духовные силы.

Дрезина стремительно катилась по мокрым рельсам, и капли дождя с силой ударялись мне в лицо. Влажный холодный ветер упруго бился о меня, наполняя грудь чистым дыханием гор; где-то внизу, в уютной комнате, уже,

наверное, разожжен огонь, который через некоторое время высушит мою мокрую одежду. Я думал о том, что все пережитое мною с детских лет просто и понятно, что нет в моей жизни ничего необычного, кроме тех улыбок, слез и чудес, которыми так богата человеческая жизнь, и что со мной еще многое произойдет. Может быть, я узнаю и боль, и беду. Но никогда не буду вот так равнодушно смотреть в огонь.



ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

У калитки я включил мотор, прислушался к выхлопам, частым и ритмичным, покосился на окна соседнего дома; стекло чисто и холодно отразило косые лучи предвечернего солнца. Занавеска не колыхнулась, ни малейшего признака жизни. А ведь я знал, что этот дом наконец-то ожил. Но сейчас, с темными окнами на ярком свету, неподвижный и по контрасту с жарким и частым дыханием прогретого металла, он казался вымершим. Какой-то солдат, топая и подымая сапогами пыль, поравнялся со мной; я отвернулся, чтобы не встретиться с ним взглядом. «Да почему, в самом деле? — взорвался я.— И что странного во мне мог заметить этот парень? В себе и только в себе я ношу нечто такое, о чем никто не догадывается, чего никто не может увидеть или почувствовать, потому что это сугубо личное; вряд ли глубоко запрятанное страдание способно внешне отличить меня от других людей. Да и они, наверное, тоже что-то тщательно прячут в душе. Все очень просто: каждую ночь я вижу ее во сне, только и всего. Может быть потому, что спать приходится урывками и сны видеть легче, это, пожалуй, и не сон, а какая-то полуявь». Солдат прошел мимо. А мне так и не удалось определить, исправно ли работает мотор; я неотрывно смотрел на окна соседнего дома. Расстояние точно измерено взглядом: в двадцати шагах от меня — ближнее окно, в двадцати четырех — другое. Я дал газ, нажал на сигнал, наклонил голову, словно меня встревожил отчаянный рев мотора, а сам

краем глаза следил за окнами. «Она не выглянет,— думал я.— Да я и сам этого не хочу». Я заранее знал, что так и будет; и все же мне непривычно, что при шуме мотора не колыхнется белая накрахмаленная занавеска. Конечно, можно привыкнуть к этому за два месяца — если бы ко всему можно было так же легко привыкнуть!

Я медленно тронул машину мимо разбросанных в беспорядке домов с одинаково белыми стенами и, даже не оглядываясь, чувствовал, как окно, отдаляясь, шлет мне вслед свои холодные отблески. Эти дома ставил лесопильный завод, каждый на одну-две семьи. Во дворах, где пока еще не пробилось ни единой травинки, торчали кособокие дровяные сараи, почерневшие курятники и свинарники — одинаково неуместные и сиротливые в новой, неприветливой обстановке.

Глубже, в центре поселка, несмолкаемый грохот и скрежет оповещал о строительстве корпусов химического комбината: из пыли, ядовитого запаха негашеной извести, бензинного смрада тянулись кверху, к чистому небосводу, стальные конструкции. Мне подумалось: прежде чем будут закончены эти корпуса, глядишь, и тут курятники и свинарники повылезают из оскудевшей земли раньше первых травинок; только, пожалуй, сделают их на этот раз из новых досок, не таких замызганных. В воздухе плавала цементная пыль; на чахлой зелени по краям кювета блестели шелковистые нити теплоизоляционной стекловаты. Дождь бы сейчас был как нельзя кстати.

По глубоко и неровно изрытой колеями проселочной дороге я хотел перебраться через ручей к буровой вышке. Отсюда пока что виднелась только верхушка ее над самым холмом, как забытый или брошенный кем-то старый потемневший ящик; время от времени ящик окутывало облако пара. В округе буровых вышек было разбросано немало: искали нефть и горючий газ. Я любил вдруг, с полдороги, свернуть к такой вот вышке, броситься на выгоревшую, вытоптанную траву, когда после захода солнца земля отдает свое тепло, сидеть, слушать хлопки затихающего мотора, смотреть на уходящую к звездам цепь лампочек. Меня тянуло к вышкам, словно я забыл там что-то — может быть тишину, смысл отпущенных мне свободных часов.

Уже несколько недель, куда бы ни ехал, я всегда останавливаюсь на мостах и смотрю на воду. В мутных,

желтых потоках не видно ничего, но из глубины чистых зеленых вод на меня глядит Кати. Вероятно, она сама повинна в этом колдовстве. Еще не так давно я мог видеть все, что пожелаю, и в тазу для умывания: коня, дракона, индейца, туберозу (даже чувствовал ее аромат) или дымящиеся кратеры. В последнее же время видел только ее, да ничего другого и не хотел бы видеть. По крайней мере хоть это было в моей власти — увезти ее с собой куда угодно, ведь чистое водное зеркало отыщется в любом захолустье.

Вот и сейчас я притормозил на мосту, установил мотоцикл на опоры и направился к воде. А как только перегнулся через ветхие перила и заглянул в недвижную гладь ручья, в глубину, где под тонким покровом ила спали ветви и листья, меня тотчас окутало знакомым мягким теплом и все тело мое сковала мучительная неуверенность, словно из-под ног вот-вот обрушится пыльный, изъеденный червоточиной деревянный настил. Я ждал этого ощущения, оно было давно мне знакомо и все-таки каждый раз заставало меня врасплох. Кости и мускулы мои казались не крепче скорлупок. «О многих вещах заранее известно, что они должны наступить, но избежать их человек бессилен,— уже не в первый раз подумал я.— Да, наверное, я и сам не захочу их избегать. Ведь иной раз важно не то, что случается с нами, а то, как мы это переживем».

Я постоял так несколько минут, движения на дороге не было, поэтому только моими были и мост, и ручей, и падающие на воду блики солнца — и я подумал, что уж это я наверняка найду всюду, куда ни забросит меня судьба.

В конце моста приткнулась старая ива; проносясь мимо, я сорвал листок, растер его между пальцев и поднес к лицу. В жаркие дни такой же слегка горьковатый запах исходил от Кати; сейчас мне показалось, будто это ветер принес его откуда-то издалека. Правил я одной рукой. Дорогу еще по весенней распутице разъездили тягачи, ползавшие по брюхо в грязи до буровой и обратно, и теперь пыль доходила до самых щиколоток; мотоцикл, переваливаясь, погружался в нее колесами, словно в воду, сухие колючки хлестали меня по коленям то справа, то слева. Надо было бы держаться за руль и другой рукой, но не хотелось расставаться с тревожащим запа-

ком листка. Мотоцикл вдруг высоко занесло на обочину, в кусты терновника, затем я медленно, тяжело опрокинулся в колею. Сначала почувствовал удар в плечо снизу, потом сверху меня придавило машиной. Раскаленная выхлопная труба уперлась в самую шею; зажигание еще работало, и казалось, смесь взрывается не в цилиндре, а у меня в голове.

Упершись локтем в карбюратор, я выполз из-под мотоцикла, меня выворачивало от тошнотворного запаха горелого мяса. Первой моей мыслью было, что и это все из-за нее; но только промелькнула эта мысль, и я тут же устыдился ее. Все же поразительно — ничто не способно заставить меня забыть этот образ. Я снова поднес к носу разбитые пальцы левой руки, да так и остался сидеть, окутанный желтым облаком пыли и — теперь уже только воображаемым — запахом ивового листка. Раздираемый жгучей болью, я смотрел на придавленные мотоциклом кусты терновника: неожиданно они поднялись, одним взмахом расправили свои колючие ветки на фоне выцветшего неба и резко стряхнули с себя пыль, разбрасывая вокруг помятые ягоды. Одна ягода щелкнула меня по лбу.

До больницы я толкал мотоцикл как придется. Солнце уже опустилось к горизонту, светило на меня слева, и длинная моя тень так же рывками ползла рядом со мной в пыли. По мосту я протащился не останавливаясь: опасался, что иначе уже не сдвину с места тяжелую машину, но знал, что и в следующий раз обязательно приторможу и снова сорву листок с ивы. Капли пота, мешаясь с пылью, набегали на глаза и туманной дымкой застилали мир, даже дорогу под ногами я различал будто сквозь марево; навстречу попадались люди, но, наверное, они не узнавали меня, да и я их не разглядывал.

Путь от больницы к дому оказался еще мучительнее, шею и левую руку стягивала тугая повязка. Когда первое онемение прошло, на меня со свежими силами набросилась боль. Иногда земля подо мной словно колыхалась, вставала дыбом. Строгая докторша велела мне лежать, избегая резких движений; очевидно, ей и в голову не могло прийти, что я сам буду толкать мотоцикл до дому. Не знаю, почему я это затеял, любой мальчишка-подросток с радостью помог бы мне. Думаю, из любопытства: выдержу ли?

Два окна как два закрытых глаза. Занавеска не колыхнулась. Грузовики с прицепами проносились мимо, подымая дорожную пыль, их грохот оглушал, словно мне на голову лопатами швыряли щебенку. На краю придорожной канавы вольготно расселся какой-то тип в рабочей спецовке, уже немолодой, вдребезги пьяный, он махал засаленной кепкой и резким, пронзительным голосом поносил шоферов. На меня он не обратил ни малейшего внимания. Затолкав машину в калитку, я через забор покосился на соседний тихий и пустой двор. Поставил мотоцикл в сарайчик и снова не удержался, глянул через забор, затем протопал к себе в халупу. Превозмогая боль, кое-как разделся и растянулся на широкой тахте.

В прохладном полумраке комнаты можно было даже не закрывать глаз. На стене за дверью висела моя кожаная куртка, с самой весны к ней никто не прикасался, на коже осела проникавшая сквозь щели в оконной раме мелкая пыль, и куртка — особенно спина и плечи — казалась серой. Когда Кати лежала здесь и мягким взглядом своим ласкала все вокруг, она наверняка заметила приставшие к куртке еще с весны брызги засохшей грязи. Теперь бы она, конечно, даже не взглянула на куртку. «Если она узнает, что стряслось со мной,— думал я,— наверное, все-таки зайдет проведать. И я увижу ее. И попрошу положить на лоб руку». По дороге мимо дома громыхали машины, по-прежнему слышались вопли пьяного; я старался лежать неподвижно, уличный шум не раздражал меня: я знал, что через любой шум уловлю постукивание ее мелких, частых шагов по каменному полу террасы. Но только Коша забежал домой на минуту — ко мне в комнату он даже не заглянул — и так же бегом выскочил обратно на улицу. Затем наступила ночь.

I

Этот дом — и соседний тоже — я впервые увидел ранней весной, в холодных, как сталь, лучах солнца; в его свете даже округлые предметы выглядели плоскими. Перед тем я провел три ужасные ночи: одну — в дороге на мотоцикле, две — в битком набитом рабочем бараке химкомбината, полуодетым, потому что все наши монатки застряли где-то у Предеал в крытом грузовике. Мне

страшно хотелось наконец-то по-человечески выспаться и окунуться в работу. И по сути дела, было глубоко безразлично, как выглядит дом снаружи. Зато Коше это было далеко не все равно; он рассеянно поправлял воротник своего синего ворсистого пальто и корчил кислые мины.

Таких домов полным-полно в любом городишке. Простое, без претензий, сугубо прозаическое здание, на бутовом фундаменте высотой в метр, одной стороной выходит на улицу, другой — во двор. Участок уныло правильной квадратной формы обнесен еще новым сплошным досчатым забором, отделяющим его от другого точно такого же участка, где красуется точно такой же шедевр архитектуры.

При пронзительно ярком свете дня особенно назойливо бросалось в глаза, какое здесь все еще новое, голое и необжитое. Только приткнувшийся к забору позади дома дровяной сарай выглядел старым, но и в его потрескавшихся, выгоревших на солнце досках поблескивали шляпки новых гвоздей. Двор после окончания строительства был захламлен разбросанными повсюду обломками кирпича, ошметками извести, песком, битым стеклом, щепками, кое-где торчали окаменевшие желваки цементного раствора; зимний снег, а после талая вода слепили все это в сплошную серую корку — ни дать ни взять материал для осиного гнезда. На соседнем участке строительные отходы так основательно смешались с почвой, что трава там даже не пробилась. Камень, голая земля, плохо побеленные стены, стекло, кричаще новая черепица крыш и желтые сосновые доски забора — вот и все, что замечал здесь глаз, ну и еще побуревший тающий снег у забора. На двух этих квадратах природа отсутствовала начисто, да видно, ни у кого и мысли не возникало ее сюда приглашать: даже весне здесь оказалось не под силу добавить хоть что-то из своей палитры.

— На один разнесчастный год сойдет и это,— утешал я Кошу. Из своего детства в Маломтелепе я вынес другое. Толем, жестью, горбылем залатанные хижины, но трава и цветы повсюду, даже на клочке земли не больше ладони. Начиная с ранней весны даже самой пронырливой капле дождя не удавалось упасть на голую землю.

— Уж крапива-то как пить дать пробьется из-под забора,— процедил Коша. Прищурившись, он оглядел двор,

и в глазах его читались усталость и покорность собственной участи.— Крапиву пока еще никому не удавалось заглушить.

— Вырвем,— отрезал хозяин мрачным и ленивым тоном,— не то подточит забор.

— Ладно, вырывайте,— сдаваясь, кивнул Коша.— Наше дело — сторона. Мы ведь не садоводы и разбивать тут ботанический сад не собираемся. Пошли, Геза, осмотрим все же дворец.

Речь шла о двух комнатах с отдельным входом. Обе двери выходили на общую широкую террасу. Хозяин — бывший машинист с заводской узкоколейки — строил дом с таким расчетом, чтобы пускать жильцов в обе комнаты; это давало ему примерно еще одну пенсию. Осенью, когда дом был достроен, старик овдовел и не стал приводить двор в порядок. Он равнодушно подпирал плечом стенку, пока мы с Кошей осматривали комнаты, наши замечания его не интересовали — разве что плата за эти покои.

Комнаты сдавались без обстановки. Беленые стены, некрашеный досчатый пол, смотрящее на улицу большое окно, коричневая изразцовая печь.

— Сойдет,— сказал я.— Эта мне, вторая тебе.

— Порядок,— согласился Коша.— Как хочешь.

Мы снова вернулись на террасу.

— Вот не знаю только, куда деть мотоцикл. В сарае они, наверное, держат дрова. Надо бы сколотить какой-никакой гараж.

— Я тебе помогу,— сказал Коша.— Разработаю проект.

— Спасибо. Желательно без башен, балконов, колонн и капителей. Что нам советует на этот случай поваренная книга? Возьми два столба, вбей их в землю на расстоянии двух шагов от забора...

— Забери с боков досками...

— Покрой толем...

— Ребята! — подал голос хозяин.— Я думаю, обедать вы будете в столовой. И ужинать, наверное, тоже. А если надо сготовить завтрак или еще там чего, моя дочь состряпает. Потом сочтемся...

Мы как по команде повернулись к этому человечку с полуседыми, какими-то серыми волосами, потом переглянулись.

— Красота! — откликнулся Коша.— Немало сложных ситуаций может возникнуть, пока мы живем здесь. К примеру, мы — не говоря уж об остальном — иногда меняем белье. Иногда у нас появляется желание поесть творожников. Можно все это уладить? А потом сочтемся.

— Стало быть, уборка, стирка, стряпня от случая к случаю,— перечислял старик, загибая пальцы,— если я правильно вас понял. Все можно уладить и за все сочтемся.

Коша толкнул меня в бок.

— Слышишь, Геза, гремят глаголы новых миров.— Затем обернулся к старику: — Рады будем возможности за все рассчитаться, и с лихвой. Хорошая по крайней мере вода в колодце? Мыло в ней мылится?

Мы все трое уставились на колодец с воротом; такие обычно бывают в деревнях, сруб его, естественно, сверкал новехонькими бревнами.

— Как родниковая. Я, почитай, уже лет тридцать пью воду из здешних горных ручьев. Так наша им не уступит.

— А мыло?

— Мылится, мылится, чего ж ему еще!..

Я подошел к колодцу, вытянул ведро — оно тоже было новехонькое, сверкающее оцинковкой,— взболтнул воду и отпил. Затем огляделся: и отсюда ничто не радовало глаз. Участок был слишком большим. Слишком большим, чтобы не украсить его хоть одним деревцем. На террасе соседнего дома, которая находилась напротив нашей и, словно зеркальное отражение, ничем не отличалась от нее, разве что расположением дверей, появилась невысокая женщина в синем платье. Выйдя из одной двери, она вошла в другую, не посмотрев в нашу сторону. Я опустил ведро.

— Вода хорошая. Даже очень хорошая. Боюсь, затмит все прочие напитки.

— Тогда придется ее подпортить! — крикнул Коша с террасы. Женщину он не заметил, схватившись обеими руками за перила из водопроводных труб и раскачиваясь, он рассмеялся.— Будем валить туда кухонные отбросы. После сочтемся.

Хозяин проронил только:

— Портить нельзя.

Я окинул взглядом окрестности. Тут проходила окраи-

на — наполовину деревня, наполовину рабочий поселок,— сплошь новые, с топора, свежеоштукатуренные или еще не оштукатуренные дома по обеим сторонам дороги. Маленькие, выбеленные до голубизны крестьянские домики рассыпались по холмам, как стадо овец. Деревообделочный завод обосновался восточнее, но совсем близко отсюда, по другую сторону холма; новый химкомбинат — на западе, километрах в двух. Широкая дорога соединяла его с шоссе, но громоздкие тягачи разъездили, разбили ее. Строительство еще шло полным ходом. Бараки не могли вместить всех рабочих, и большинство монтажников находило пристанище в поселке или у крестьян; по утрам грузовики, собирая монтажников в кузов, отвозили на работу. Первыми всегда появляются строители, они начинают объект и сразу же захватывают все углы, где только можно приткнуться; за ними по пятам следуют работники комбината, и вполне резонно: эти хотят обосноваться надолго, прочно. Мы, монтажники, болтаемся где-то посредине, в нас видят только гостей — да и кто ж мы еще, как не гости. Изучая окрестности, я поймал себя на мысли, что делаю это скорее с безразличием, нежели с интересом; все же падающий на холмы холодный свет пробил кору равнодушия и как-то взбодрил меня. Наверное, поэтому и припомнилась моя предыдущая работа; вдруг всплыли из прошлого все связанные с ней неприятности, но я и о них вспоминал как-то очень уж хладнокровно, словно с тех пор миновали долгие годы. Вдруг я понял, что довольно смутно представляю себе лицо Бороша, тамошнего главного инженера. А ведь хранятся же в моей голове более давние, какие-то турбореактивные, что ли, воспоминания, которым легче преодолеть десять-двадцать лет, нежели воспоминаниям о Бороше эти несколько дней. На прежнем химкомбинате для меня плохо обернулось даже то, что по опыту я не мог считаться зеленым юнцом. Если в двадцать лет из слесарки попадаешь в политехнический институт, то к науке приобщаешься не извне, а как бы изнутри, через практику, и в конце концов складывается убеждение, что за спиной у тебя не один, а, скажем, два института. Беда была в том, что я действительно верил: важен не только результат, но способ его получения, ведь количественно эффектные результаты можно достигнуть и беспринципным способом. У меня была превосходная квартира с центральным

отоплением, с ванной (вода холодная и горячая); восемь минут езды на мотоцикле — и я уже в центре города, у входа в театр. Однако, останься я там, рано или поздно не избежать мне неприятностей. Из-за главного инженера Бороша. Больше года я проработал с ним, и больше года он злоупотреблял своей властью главного инженера каждый раз, как дело касалось меня, я же без всяких церемоний высказывал свое мнение о нем и о его стиле руководства. Иногда я выполнял работу, которая была бы по плечу и практикантам из ремесленного училища, иной раз получал задание, требовавшее опыта целого конструкторского бюро. Я знал, что Борош эгоист, человеконенавистник, что его интересует лишь собственная карьера, слава, деньги и что наряду со всем этим в нем неугасимо тлеет меленькая жажда мести, но такое нелегко доказать языком цифр. Когда у меня уже не осталось сил терпеть, на первом же производственном совещании я встал — обычно мы выступали сидя — и задал ему вопрос: «Скажите, товарищ главный инженер, вы действительно считаете социализм своей частной лавочкой или у вас имеется на этот счет и другое мнение?» Меня не покидало чувство, что, не выскажи я этого прямо, напрасно тогда было меня воспитывать, прививать мне определенные взгляды. После этого Блеян, партийный секретарь, в разговоре с глазу на глаз сказал мне: «Послушай, Керекеш, в известном смысле ты прав. Но если ты не прекратишь свои выпады, придется обсуждать тебя на общем собрании, и тебе же еще влетит, потому что нельзя вести себя так по отношению к опытным, ценным специалистам, как ведешь себя ты. Не забывай, что с планом дела у нас обстоят великолепно».— «С планом,— ответил я,— дела у нас обстояли бы так же великолепно, если б, скажем, плетью подгонять людей. Поверь, Блеян, если бы этот тип был не только специалистом, но и человеком, с планом у нас обстояло бы еще лучше. Во всяком случае, я не хочу ставить собрание в неловкое положение, хотя, пожалуй, многие товарищи придерживаются иного мнения, чем ты. Я ухожу с работы».— «Ничего не имею против,— ответил Блеян.— Я помогу тебе». Но последовало то, чего я и ожидал: напрасно Блеян пытался мне помочь, Борош ни в какую не отпускал меня. Так что с первой моей работы мне пришлось уйти самовольно. Подобное обстоятельство отнюдь не лучшая производствен-

ная характеристика. Но для меня приемлем только тот путь, где не приходится по крупице растрачивать свою веру.

Кошу сюда направило предприятие. Он учился уже на втором курсе, когда я поступил в политехнический: без него не обходились ни один танцевальный вечер, ни одна заварушка. Сначала мы не очень-то замечали друг друга, однако на предыдущем строительном объекте неожиданно сдружились. Теперь мы решили поселиться вместе, и здорово было, что нам подвернулись эти две комнаты совсем рядом.

Светом и холодом пронизывало у колодца; удивительно, до чего же быстро померкли в памяти, с какой легкостью стали просто пережитым Борош, Блеян, коллеги, комбинат, вся моя там работа, которой я, говоря откровенно, все-таки гордился. Обидно, что так получилось, но сожаления я не испытывал, и даже теперь, по прошествии времени, не видел для себя иного выхода. Обида, я знал, сохранится недолго, потому что скоро ее вытеснят другие заботы.

Коша подошел к колодцу, отпил из ведра.

— Господи, из скольких колодцев я уже перепробовал,— сказал он.— Вода превосходная, мы с нее растолстеем. Ну как, Геза, разобьем тут лагерь?

— Идет,— согласился я. Из соседнего дома опять вышла женщина в синем платье, спустилась с террасы во двор, забор заслонил ее.— Думаю, ничего другого нам и не остается. Завтра, видимо, притащится и этот злосчастный грузовик со скарбом.

— Переночуем прямо на полу?

— Да. Я заскочу на комбинат, привезу со склада одеяла. А ты пока протопи печку.

Мне хотелось дождаться, пока женщина снова поднимется на террасу. Но Коша со старым машинистом уже направились к дровяному сараю, и я устало поплелся к калитке.

* *
*

Этой весной по ночам ливни жестоко хлестали землю; мой мотоцикл, как моторная лодка, врезался в жидкую грязь по пути к комбинату. Возвращаясь с работы, я подкатывал прямо к колодцу и выплескивал несколько ведер воды на заляпанную грязью машину. Правда, сперва

приходилось ждать, пока не остынет бак, а до тех пор я слонялся по двору, играл в футбол обломками кирпича, курил. Не было смысла стаскивать сапоги и заходить в комнату на столь короткое время. Я шатался по двору, смотрел на зеленоватое небо, вдыхал холодный, пахнущий снегом воздух с гор. Коша работал до одиннадцати вечера, продолжая то, на чем кончил я, а наутро я сменял его — связь между нами была весьма тесной; только эта же связь почти исключала возможность быть вместе.

Как-то раз, пережидая, пока остынет мотор, я подошел к забору, разделявшему два совершенно одинаковых двора. Забор был довольно высоким, из широких, плотно пригнанных досок, но, если подойти поближе, можно было заглянуть на ту сторону. Летом, на солнце, доски будут приятно пахнуть смолой, подумал я. На том дворе дровяной сарай тоже был новый, от ступенек террасы к нему вела выложенная кирпичом дорожка, к колодцу дорожки не было. Я не знал, кто живет там, еще не успел расспросить. Смеркалось, солнце проглядывало сквозь коричневато-кофейные облака, но на холмы уже пала тень, и только блекло-красную черепицу крыш еще освещали тусклые лучи заката. На дворе стояла женщина в синем платье. Она пристально смотрела прямо перед собой, так пристально, что я невольно поглядел в ту же сторону, но не увидел ничего, кроме голой влажной земли. С террасы я несколько раз замечал женщину в соседнем дворе; вяло поникнув, она стояла или, ссутулившись, пересекала двор, как человек, который не знает, что на него смотрят, или знает, но ему это безразлично. Сейчас, со сравнительно близкого расстояния — нас отделяло всего шагов пятнадцать,— я мог рассмотреть ее. Невысокая, чуть полноватая, темно-русые волосы в беспорядке. Изящные туфли — даже слишком изящные для этого захламленного двора — обуты прямо на босу ногу, острые тонкие каблучки глубоко вдавливаются в грязь. Лицо ее было бледным, и, когда женщина, сдвинув брови, смотрела, как сейчас, прямо перед собой, оно казалось мрачноватым. Немного погодя она отступила чуть в сторону и снова замерла. Она производила впечатление человека, что-то потерявшего, какой-то мелкий предмет, который нелегко обнаружить; а может быть, она просто наблюдала за пузырьками-секундами, вскипающими на поверхности времени.

Я ничего не знал об этой женщине. Подтолкнув носком сапога поближе к ограде обломок кирпича, я встал на него и положил локти на забор. «Поздороваюсь»,— решил я. Мне уже не раз хотелось поздороваться с ней, однако вместо приветствия я тихо сказал:

— Вы простудитесь в таком легком платье...

Женщина вздрогнула. Она что-то ответила, наверное, что ей не холодно — я не разобрал,— и, даже не взглянув на меня, повернула к дому. Мне было обидно, что она и взгляда не кинула в мою сторону. Женщина медленно поднялась по бетонным ступенькам террасы и исчезла за одной из дверей. Двор после ее ухода показался мне еще более сиротливым.

Я подождал: а вдруг она появится снова. Но женщина не выходила. Вдоль дороги громыхали грузовики — подвозили стройматериалы для блочных домов и буровых вышек или возвращались назад с комбината,— над забором я видел только темно-зеленые, в пятнах грязи крыши кабин и так и не определил, чьи это машины. Жидкая грязь широкими струями ударяла в забор, и он отзывался низким гулом, как барабан. Я подумал, что это своеобразный аккомпанемент преобразования — скоро поселок превратится в город. А я так и уеду отсюда под грохот грузовиков и хлюпанье грязи о забор и никогда не узнаю, почему такой грустной была эта женщина в синем платье.

Сойдя с кирпича, я потрогал мотоцикл, он почти остыл. Я опустил ведро в колодец.

Сзади, из закутка между домом и сараем, появилась Юци, дочь хозяина, держа в обеих руках по пригоршне сосновых стружек. Обычно в эту пору она протапливала наши комнаты. Девица была лет шестнадцати, ленивая и неразговорчивая; в ее круглых, широко раскрытых голубых глазах светилась хитрость. Юци редко смотрела в глаза собеседнику.

Я остановил ее.

— Кто живет по соседству, Юци?

— Товарищ Печи.

— Ах, так! Кем же он работает?

— Главным бухгалтером на деревообделочном.

— Он женат?

— Да.

— А детей у них нет?

— Был, да умер.

— Они только вдвоем и живут?

— Да.

— На слова-то можно бы и не скупиться, Юци,— сказал я.— Ведь их не убудет.

Я плеснул водой на заднее колесо снизу, чтобы попало и под крыло. Юци затопила печи в обеих комнатах и, выйдя, уставилась на меня, но, стоило мне оглянуться, тотчас потупилась и нырнула за угол дома. Вход в их квартиру вел с узенького переулка между глухой стеной и забором. Я давно собирался заглянуть к хозяевам, но все как-то не получалось. Вот и сейчас не зашел. Пока мыл машину, я раза два подходил к забору, но там никого не оказывалось, и это меня почему-то беспокоило.

Дома я переоделся в пижаму, разложил на столе чертежи, что прихватил с работы — техническую документацию на станки,— и между делом грыз печенье; можно было бы выпить рюмку коньяку, но в одиночку не хотелось. Все же я чувствовал себя словно выбитым из колеи. То и дело тянулся за сигаретой, и скоро в комнате стало сизо от дыма. Я распахнул дверь и, пока проветривалось, с террасы обежал взглядом соседний двор, в доме зажгли свет, на занавеску в окне падала тень мужчины. То обстоятельство, что женщина теперь не одна, странным образом меня успокоило. «Но почему же она так одинока? — спрашивал я себя.— Ведь у нее есть муж. Только глубоко личная, ни с кем не разделимая боль может ввергнуть человека в такое одиночество; вероятно, и эта женщина испытывает какую-то затаенную боль». Облака вдали за холмом отражали голубоватый рассеянный свет — там горели огни химкомбината; эту стену бледного сияния иногда всполохами прорезали желтые лучи фар грузовиков, переваливающих через вершину холма. Светящиеся гирлянды буровых вышек недвижно висели на фоне черного неба; отдаленный рев моторов заставлял дрожать морозный ночной воздух, разносясь по округе ровным, нестихающим гулом. Мне стало холодно, и я вернулся в комнату.

В полночь я услышал, как протопали по террасе сапоги Коши. Обычно, если я еще не спал, он забегал ко мне на несколько минут — отчитаться в работе и как бы сдать смену. Я бросил карандаш, но не встал.

— Банди!

Он распахнул дверь, бледный от усталости, весь в грязи. Тяжеленный портфель, который зачем-то таскал, хотя дома не любил заниматься, он опустил на пол.

— Ты в своем уме! До сих пор работать! — возмутился он.— Того гляди начнет светать.

— Я уже кончил. Так что же с этой стеной, сломают ее наконец?

— Нет. Заделают отверстия для трубопровода и проделают новые. Завтра вечером или послезавтра утром сможем вводить фильтры.

— Потому и спрашиваю.

Я потер воспаленные глаза; в самом деле, давно пора бы на боковую. Сам не знаю, зачем я зазвал Кошу, наверное, пытался спастись от тоскливого настроения. Сломают стену или нет — это я успел бы узнать и утром.

— Выпьем по рюмке коньяку, он него сны хорошие снятся,— предложил я.— Вон там, на шкафу, бутылка. Достань, будь добр.

Коша налил и угрюмо заметил:

— Очень кстати вспомнил...

Мы выпили, затем Коша снова наполнил рюмки, медленно, словно получая удовольствие от самой этой процедуры. Его густые светлые волосы упали на лоб, лицо, покрытое рыжеватой щетиной, не выражало ничего, кроме крайней усталости. Я был рад, что он здесь, со мной. Усталость у него никогда не сказывалась на настроении.

— Мне приснится почтовый голубь,— неожиданно заявил он.— Кругленький, пухленький такой почтовый голубок. А тебе рекомендую сон производственного характера, со станками, гайками, болтами-винтами.

Я рассмеялся. Знал, что Коша завтра с утра отправится на почту; в последнее время он частенько захаживал туда. Зайдет, обстоятельно выспросит: можно ли отправить соску в заказном письме? Как лучше упаковать живую лягушку, чтобы ее не раздавили? Если сдать ящик саранчи, обязаны ли работники почты кормить ее в дороге, и если нет, то кто станет отвечать за потерю веса? При некотором знании человеческой психологии нетрудно было представить себе и его способ знакомства, ибо не так уж много нового под луной: «Ну, а теперь, девушка, я признаюсь вам, чего бы мне хотелось, о чем я мечтаю. Вы поразитесь, сколько во мне откровенности и искренности,

широты души. Мы оба — свободные граждане, взрослые, самостоятельные люди... Если мы нравимся друг другу, это закономерное проявление определенных сторон жизни; в конце концов, ведь мы обитаем не в Вероне или каком-нибудь другом средневековом городе». Вполне возможно, что девушку не сразит ни беспримерная откровенность, ни дерзкий взгляд голубых очей Коши; но также возможно, что однажды ночью она на цыпочках прокрадется по террасе, полагая, что никто не слышит ее смущенного шепота: «Куда, Банди? Это твоя дверь? Здесь правда никого нет?» У Коши всегда были женщины. Повсюду он находил кого-то, кем увлекался хоть на короткое время. Мои же личные дела складывались както сами собой, словно помимо моей воли, или же вообще не складывались. Я не любил пускать пыль в глаза, не любил дурить голову кому бы то ни было. Даже самому себе. И все-таки — не знаю почему — я чувствовал себя во сто крат опытнее Коши. Это, кажется, признавал и он.

— За наше здоровье!

— Дельный тост! — поддержал я.— И за здоровье почтовых голубок.

Мы поставили на стол пустые рюмки. Коша сразу оживился, вытер губы тыльной стороной ладони и рассмеялся.

— Послушай, Геза, а ведь, наверное, ждет же нас впереди что-нибудь интересное?

— И немало,— ответил я.— Надеюсь, всех людей, не только нас. Ну, а что в таких случаях советует поваренная книга? Берем двух сонных инженеров...

— Кладем их в постель...

— Сервус...

— Сервус.

Пока комната снова проветривалась, я околачивался на террасе, куря последнюю за этот день сигарету. Через тонкую пижаму пробирал холод. Голый двор сейчас был скрыт темнотой; квадрат света, падающего из моих дверей, не доставал даже до колодца. Дул ветер, в черной высоте словно с шелестом проносились невидимые облака. Движение на дороге стихло, слышался лишь отдаленный гул моторов. Затем протрясся мимо дома автобус гастролирующего в поселке кукольного театра и остановился неподалеку. Шофер поднял капот тарахтящего двигателя. Несколько человек вышли из автобуса, закурили, проха-

живаясь взад-вперед по дороге. До меня долетел обрывок разговора. Молодой мужской голос спросил:

— Ну, так что, Пали, решено — собаку играю я?

Ответа я не расслышал; вскоре они уехали. Я вглядывался в темные окна соседнего дома: женщина в синем платье уже легла. Я представил себе, как она лежит без сна — открытые глаза прикованы к неясному прямоугольнику окна, словно ждут от него чего-то. «Наверное, ей нужнее, чем мне, какой-нибудь светлый прекрасный сон,— подумал я.— Ей он просто необходим». Я попытался даже представить себе в общих чертах этот прекрасный сон, но как назло ничего не приходило в голову. «Что за черт! Должно быть, я разучился видеть сны. Ну и ну! Лучше это для меня или хуже? Ведь в детстве я всегда видел сны и наутро мог их рассказать во всех подробностях». Я бросил сигарету, вернулся в комнату и, пока не закрыл плотно дверь, чувствовал холодное, остро пахнущее известкой дыхание двора.

У меня не было ни малейшего желания заговаривать на эту тему, но Коша начал сам:

— Ты заметил, по соседству живет какая-то женщина?

— Видел,— ответил я.— Ходит в синем платье.

— А еще?

— Что еще?

— По-моему, ее что-то гнетет,— сказал Коша.— У нее такой вид, будто она раздумывает, стоит ли ей жить в следующую минуту.

— Наверное, и в самом деле раздумывает...

— Наверно. Сегодня я встретил ее в магазине. Она разговаривала с продавцом, с тем, лысым, даже смеялась, но я подумал: да ведь этот смех не от души, он даже начинается не в груди, а где-то у зубов.—Коша задумчиво добавил:— Это бы еще ничего; одни люди грустные, другие веселые. Но когда женщина так тоскует, с ее мужем надо что-то сделать.

Я промолчал, не признался, как расстраивает меня вид этой женщины, как тревожит атмосфера безотрадной тоски и одиночества, которой окружена фигурка в синем платьице. Я не мог сказать даже, красивая она или нет, вблизи я не видел ее ни разу, да это меня и не интересовало. Мне не давала покоя ее тоска; порой она словно

просачивалась сквозь забор, чтобы охватить и меня. Нередко, особенно в детстве, мне доводилось распознавать печаль в уголках рта у мужчин, в глазах бродячих цыган, во взглядах женщин, она была как слабый отсвет боли, затаенной в сердцах. Но ни разу еще тоска, воплощенная с такой полнотой, не вила гнезда со мной по соседству. И во мне шевельнулось подозрение, что из-за этой женщины в синем платье моя жизнь здесь не останется безмятежной. Всего этого я не стал открывать Коше, хотя, пожалуй, он бы понял меня. Он вовсе не был таким грубым, каким часто казался.

— Не выношу я подобных ситуаций,— продолжал он.— Хотелось бы мне взглянуть, каков у нее муж.

— Мне тоже.

— Думаешь, такой же, как мы?

— С чего бы это?

— Странная история!

— Скорее, самая обычная.

— Может, и так, лично я был бы не прочь поселиться подальше отсюда. Угнетает меня это соседство.

— А меня угнетает, что я бессилен помочь,— сказал я.

— Жили бы рядом молодые девушки!.. Этакие куколки! Ну, а уж если не девочки, то хотя бы веселая супружеская чета. И чтобы жена обязательно была толстушкой и, стоя на подоконнике, мыла бы окна, а сама бы пела, и чтоб юбка была подоткнута выше колен... Вот это я понимаю. Но сколько ни листай поваренную книгу, в подобных случаях человеческая наука бессильна. Это подтверждают даже дипломированные врачи.

— Равно как и инженеры.

— К сожалению.

Я знал, что Коша сейчас подвел черту под этой историей, и так же отлично знал, что для меня она отнюдь не кончена.

Ее мужа я впервые увидал у калитки, на поросшей травой полоске земли между придорожной канавой и забором, которую здесь именовали тротуаром. Служебная машина доставила его домой, и он уже положил руку на щеколду калитки, но не отодвинул ее, а наблюдал, как разворачивается машина среди куч сваленной когда-то щебенки. В этот момент подкатил и я, затормозил и хладнокровно принялся разглядывать его. Передо мной был тщательно одетый блондин, светлые, словно выцветшие

на солнце глаза его излучали безмятежность. Такая внешность ни о чем не говорит. Но, глядя на него, я подумал: он слишком любит жить. Чересчур плотояден, безудержно, нещадно. Трудно было бы объяснить, что именно рождало такое впечатление, быть может, мягкие линии его рта или осанка. Он тоже обратил на меня внимание, правда, скорее, на мой мотоцикл; затем, прижав к боку шляпу, которую раньше вертел в руке, он толкнул калитку. Все же было в нем что-то антипатичное. Помоему, он забыл на лице официальное выражение, хотя, кажется, умел быстро менять маски; даже в посадке головы, в развороте плеч угадывалась готовность и к надменной напыщенности и к почтительному поклону. «Он из той породы людей,— подумал я еще,— у которых для каждого есть свое лицо». Охваченный смутным, неприязненным чувством, въехал я во двор. На террасе соседей за мужчиной захлопнулась дверь. Я вспомнил, как однажды обрадовался, увидев тень этого мужчины на занавеске, а ведь, пожалуй, именно эта тень заслоняет солнце от женщины в синем платье.

Вскоре мы встретились опять, это было субботним вечером в доме культуры. Жители деревни, рабочие лесопильного завода, строители и монтажники химкомбината в адской тесноте танцевали под бумажными гирляндами, протянутыми вдоль потолка. Играл оркестр с лесопилки, только барабанщика, уехавшего в командировку, заменял один из наших каменщиков, цыган. Оркестр и публика отдыхали, когда прибыли мы с Кошей. На сцену взобрался худющий учитель в очках, турнул топтавшиеся там пары, повернулся к публике и вдруг запел йодли. Казалось, его высокий голос, отделившись от певца, своевольно порхает по залу и хозяину никогда больше не заполучить его обратно. Все смолкли, пораженные. Даже духота как будто спала; голос учителя напомнил присутствующим о далеких скалах, овеянных ветром горных хребтах. Я хлопал, пока не онемели ладони. Тем временем снова грянул оркестр, опять закружились пары. И тут я увидел Кароя Печи. Он танцевал с какой-то румяной круглолицей красоткой; откинув назад голову и прикрыв глаза, он напевал что-то, но голоса его я не слышал. Коша курил, стоя рядом со мной, ждал свою почтовую голубку.

— Глянь-ка, наш сосед,— воскликнул он.— Предает-

ся вечному, как мир, наслаждению. Ручаюсь, что жену он забыл дома.

— А может, она здесь где-нибудь,— возразил я,— разве отыщешь человека в этакой толчее.

Мы переглянулись; оба знали, что женщины здесь нет. Об этом говорило поведение Печи, об этом и еще кое о чем: он танцевал, словно был один в зале, не сомневался, что остальные вовремя отодвинутся, уберутся с его пути. Однако наши не знали, кто он такой. А хоть и знали бы, им бы и в голову не пришло уступать место кому бы то ни было; атмосфера строительного участка не развивает подобострастия, как постоянная, может, даже навечно сложившаяся служебная субординация. После каждого столкновения с другими танцующими парами Печи моргал и в притворной извиняющейся улыбке обнажал свои белые зубы; скалился он так предупредительно, что мог вызвать разве что отвращение. Коша махнул рукой:

— Каюк! Он искушает саму судьбу.

— Почему?

— Смотри в оба, что будет дальше! Сколько раз я сам оказывался жертвой собственного зазнайства!

Однако не случилось ничего из ряда вон выходящего; молодой инженер-строитель — я частенько видал его озабоченно хлопочущим возле товарных платформ — жестом подозвал двух электриков, парней одного с ним возраста. Я не слышал, что он сказал им. Электрики, смеясь, хлопали инженера по плечу, подмигивали, а потом куда-то исчезли, инженер же вздохнул с облегчением. Вокруг Печи возникло какое-то неуловимое напряжение, и скоро он уже не мог продолжать танец. Его стиснули плотным кольцом, толкали с разных сторон, наступали на ноги, пока он, наконец, сокрушенно поцеловав руку своей партнерше, не ретировался в буфет.

— Так ему и надо,— удовлетворенно заметил Коша.

Я тоже вышел в буфет. Печи попросил у буфетчицы вина и доверительно наклонился к ней.

— Сколько тут всякого сброда,— сказал он.— Надеюсь, Ибике, к вам они не пристают?

— Кто ко мне пристанет! — устало отмахнулась девушка.— А если бы кто и захотел, так другие не дадут.

Буфетчица налила ему вина. Я заказал коньяку, и, когда Печи завертелся по сторонам, ища, с кем бы чокнуть-

ся, и потянулся ко мне, я пристально взглянул ему в глаза. Он улыбнулся. «Какой липкий тип,— подумал я.— Всех-то он готов покорить и считает, что для этого достаточно его слюнявой улыбочки». Того, что я искал в нем,— злобности — я не нашел. «Да и отчего бы ему быть злобным?» — спросил я себя. Мы выпили и повернули обратно в зал. В дверях Печи вежливо пропустил меня вперед. Наверное, чувствовал себя здесь хозяином. На сцене снова пел йодли учитель, лицо его раскраснелось, волосы растрепались, должно быть, он успел хорошенько угоститься. Его своевольный голос опять устремился ввысь, и учитель с любопытством глядел ему вслед; а мне опять показалось, что под ногами у меня хрустит заиндевелый мох горных вершин.

В понедельник после обеда женщина прошла в сарай, вынесла лопату и начала было перекапывать землю около террасы. Наверняка хотела посадить цветы. Но через минуту бросила это занятие, отшвырнула лопату и бесцельно побрела через двор. Носком туфли она подталкивала перед собой ржавую консервную банку.

Наблюдал я за ней из двери комнаты; я стоял там еще до того, как она появилась. «Невозможно,— думал я,— невозможно быть грустным постоянно. Веселье врывается в жизнь каждого, пусть даже как непонятная, необъяснимая смена настроений. Но человека, который всегда чувствует себя так, будто нервы его опущены в кислоту, конечно, бежит веселье; судя по всему, именно так обстоит дело и в данном случае». Дул холодный и будто серый ветер, рвал юбку женщины, подымал волосы и крутил по земле невесть откуда взявшиеся сухие дубовые листья. Я чувствовал досаду и горечь, словно уличил кого-то — может, себя самого — в недобросовестной работе.

Прикрыв дверь, я прошел вдоль забора, взобрался на тот обломок кирпича, который пододвинул в прошлый раз. Облокотился на забор. Так и есть: женщина стояла шагах в восьми от меня, гораздо ближе, чем прежде. Не замечая меня, она смотрела на консервную банку, иногда переворачивала ее носком туфли, словно хотела разглядеть со всех сторон.

— Говорил ведь, что вы простудитесь в таком тонком платье,— подал я голос.

Вдруг мне пришло на память, что где-то, уж не по-

мню в каком саду, я видел астру; белый цветок казался полным жизни, но стебель его был мертв, и все вокруг тоже побили, пригнули к земле холодные осенние дожди и утренние заморозки. Цветок словно плыл, колыхался над голой, перенасыщенной водой почвой. Я помнил даже то неповторимое странное чувство, какое охватило меня, когда я заглянул через забор из штакетника в чужой сад, будто я слышал немую мольбу астры, но мольба эта не была обращена ко мне.

Женщина обернулась. Лоб ее почти целиком закрывала взлохмаченная ветром прядь волос, но более темные, нежели волосы, правильно очерченные брови были открыты. Губы ее казались бескровными.

— Мне не холодно,— отозвалась она спокойным грудным голосом и нерешительно сделала шаг к забору.— Даже, пожалуй, нравится этот ветер, упругий, хлесткий...

Она была моложе, чем я думал, не старше двадцати пяти. Но в ней словно начисто было вытравлено то девичье обаяние, которое многие женщины еще сохраняют в этом возрасте. Бледное лицо озарял тусклый свет глаз, напоминавший тихое, покойное мерцание углей, припорошенных пеплом. А ведь глаза у нее были голубые.

— Мы с вами соседи,— сказал я.— И меня огорчает, что вы всегда грустны.

— Мне очень жаль...

— Случается, я приезжаю домой в превосходнейшем настроении, а увижу вас — и его как не бывало; чувствую, и меня начинает что-то угнетать. Трудно быть веселым, если рядом с тобой грустят.

— Мне очень жаль,— повторила женщина.— Я постараюсь не попадаться вам на глаза. Вы тоже могли бы не смотреть сюда...

— Думаете, это так просто?

— А разве нет? Человек должен защищать себя.

— Но как?

— Как может.

— У меня нет такой возможности. Я ведь даже не знаю, что гнетет вас; разумеется, это ваше личное дело; и все же я не могу не сочувствовать вам. Меня злит собственное бессилие. Как же тут прикажете защищаться?

— Странно, что вы так заботитесь обо мне,— заметила женщина.— Я уже отвыкла от этого. Я хочу сказать... от внимания.

Она сделала еще несколько шагов к забору, подняла на меня взгляд, слабо улыбнулась, глаза ее влажно блеснули. Да, глаза были синие, но с какой-то необычной темной поволокой. По глазам я и узнал ее. Но удивление тут же сменила неуверенность: я испугался, что эта печаль еще прежняя, что она не прошла со временем, а стала лишь глубже.

У меня уже готово было сорваться с губ ее имя; сам не знаю, с какой интонацией я произнес бы его. Но из-за угла дома показалась Юци с охапкой сосновых стружек. Покосившись на нас, она лениво обогнула дом, вошла в мою комнату, и, прежде чем за ней захлопнулась дверь, я решил, что ничего не скажу. Не напомню о той дождливой осенней ночи и о том дне в лесу, потому что общие переживания лишь до тех пор общие, пока мы вместе испытываем их, а после на них оседает пыль дорог, по которым каждый пошел в одиночку. Что до меня, то и годы спустя, в институте, меня часто пронзала бессильная боль, словно ныла какая-то застарелая рана, но кто знает, что значила та наша встреча в жизни Кати? Наверное, она уже не помнила меня. Люди ведь иногда стараются не только помнить, но и забыть — это я знал. Почему-то мне не хотелось говорить о том, как искал я ее в каждой девушке, в которую влюблялся, и как мне больно было, что не нахожу, и что невольно я сравнивал с ней каждую женщину — с ней, которую видел всего два раза. Эта непонятная тоска позднее прошла и не вернулась даже сейчас, когда я через забор всматривался в ее бледное лицо. «Если бы я никогда не видел ее лица,— думал я,— теперь я был бы менее чувствителен ко многим вещам». Я всегда знал, что мы еще встретимся, хотя и не ждал этой встречи; только странно было, что через восемь лет все так отчетливо сохранилось в моей памяти, даже вспыхивавший на стволе березы солнечный луч.

II

Тогда я оставался работать и после смены, мы с мастером монтировали опытный образец нового автомата, а по вечерам я учился. В тот день, когда я наконец скинул рабочую одежду и, ничего не подозревая, вышел с завода, вдруг полил дождь. Я помнил, что еще в полдень, когда я бежал в столовку, под ногами шуршали сухие

листья каштанов и в раскрытые окна ветер тоже забрасывал желтые листья. Сейчас, вечером, улицы были безлюдны, лишь синие и красные отблески неоновых реклам вспыхивали на мокром асфальте; в один день лето сменилось осенью.

Я едва успел на последний автобус. В автобусе, как обычно, плавал желтоватый полумрак — причудливая смесь света и тьмы,— но я хорошо различал пассажиров. Вместе со мной их было шестеро. Всех я знал в лицо, каждый вечер они возвращались домой с этим автобусом, и мы проводили вместе на мягких кожаных сиденьях около получаса — самое бесполезное время суток. Я знал, что к конечной остановке нас останется двое: старик в темном костюме, всегда занимающий место у двери, и я. «Тут даже дождь ничего не изменит»,— подумал я.

На второй остановке вошла девушка, ее никто не провожал. С зеленого нейлонового плаща струйками стекала вода. Легким движением она протянула кондукторше бумажку в пятьдесят бани и сказала: «Билет, пожалуйста»,— как будто здесь можно было купить что-то другое! Руки ее, выглядывавшие из рукавов плаща, были по-детски маленькие, покрасневшие от холода и очень подвижные. Именно на руки я и обратил внимание. Затем девушка прошла через весь автобус и опустилась на сиденье рядом с передней дверью; из-за высокой спинки сиденья, справа от жирного загривка шофера, виднелся только треугольник ее капюшона. С плаща девушки мне на плечо скатилось несколько капель и медленно просочилось сквозь свитер. Мне подумалось, что много девушек проходит и проходило прежде мимо меня, появляясь откуда-то и куда-то исчезая, но ни одна не удосужилась одарить меня хотя бы дождевыми каплями. Я невольно провел рукой по плечу, ощутил прохладную влагу и тут же забыл о случайной попутчице; облокотившись о колено, я сказал себе сперва по-русски, потом по-французски: «Ну, мой друг, начнем изучать химию! Parce que maintenant c'est le moment!» * На этот день я наметил себе довольно большой урок по химии, русскому и французскому. За стеклами автобуса безжизненно, холодно поблескивал мокрый город; жизнь укрылась за темными окнами, гулкими подворотнями, старыми — в лепных гипсовых украшениях — и новыми, совершенно гладкими стенами,

* Потому что сейчас как раз подходящее время *(франц.)*.

под плоскими и крутыми крышами, в кино, ресторанах, театрах, кафе. Без колыхания вечерней толпы освещенные четырехугольники витрин и пестрые неоновые рекламы казались лишенными смысла.

До окраины никто больше не сел. В автобусе незаметно похолодало, под фанерным потолком, выкрашенным в белый цвет, гуляли сквозняки. Я зябко поежился. Каждый день, в это время и на этих улицах, на ничейной территории между опытным образцом и учебниками меня захлестывала усталость. Я знал, что дома стану бодрее, поужинаю, мать уберет со стола, оставит меня одного на кухне, и я среди потревоженных поздним светом сонных мух еще часа два позанимаюсь.

Автобус круто свернул на конечную остановку, его последний резкий толчок вывел меня из оцепенения. Мотор заглох; теперь явственно слышался шум дождя, барабанящего по крыше. На этот раз нас было трое: качнулся впереди капюшон, по мне скользнул безразличный взгляд синих глаз. «Приехали, граждане,— зевнула кондукторша,— конечная остановка». Девушка сошла первой, за ней старик в темном костюме и, наконец, я. Утром я не предполагал, что пойдет дождь, на мне был только свитер. Под полотняным навесом у витрины нового гастронома спасалась от ливня какая-то девушка; та, что ехала в автобусе, присоединилась к ней, и обе принялись наблюдать за мной, да никого больше и не было видно вокруг. Я втянул голову в плечи, оглянулся на них.

— Не надоело вам?—окликнула девушка в капюшоне.— Какой смысл мокнуть, идите сюда.

— Почему же надоело?—отшутился я.—Я целую вечность ждал этого дождя.

Но все же нырнул под полотняный навес, прислонился плечом к раме, засунул руки в карманы и сделал вид, что погрузился в свои мысли. Девушки перешептывались, временами прорывался смешок. По натянутому над ними тенту хлестал дождь; в зрачках девушек и в капельках влаги на их волосах вдруг вспыхивали искорки.

Прочерченные, как по линейке, от города к пустырю лучами тянулись улицы, казалось, они уходили во тьму, в никуда; дуги фонарей и низко клубящиеся испарения от земли, набухшие влагой доски заборов и все вокруг словно прижимали к асфальту упругие струи. В грязи мо-

стовой желтели отполированные листья каштанов. Я уж приготовился было броском преодолеть оставшееся мне до дома расстояние в несколько сот шагов, когда девушка в капюшоне снова обернулась ко мне:

— Скажите... У вас нет желания распить где-нибудь бутылку пива? Конечно, где есть музыка...

Я посмотрел на них; обе девушки, улыбаясь чуть вызывающе, встретили мой взгляд. Позади них в витрине высилась пестрая пирамида овощных консервов, увенчанная бутылкой шампанского и картонной табличкой: «Предлагается большой ассортимент продуктов».

— Тут дело не в желании,— помедлив, ответил я.— У меня при себе мало денег. Я не предполагал...

— Что ж из этого! Разве я имела в виду, что платить будете вы? — Девушка в капюшоне обиженно дернула плечом.— Разве я сказала хоть слово?

— Не сказали, но....

— Ведь я же вас пригласила! Эй, такси! Сюда, сюда! — Из темноты вынырнула забрызганная грязью машина, девушка подбежала к ней, остановилась, освещенная светом фар, и воскликнула, поторапливая нас:

— Вот удача! Ну, давайте быстрее!

Шофер, бог знает почему, нажал на клаксон. Мы вздрогнули и стремительно кинулись на заднее сиденье. Не без труда нам удалось захлопнуть дверцу — мы еле-еле втиснулись, мокрый плащ прилип к моему плечу. Я вспомнил, как девушка садилась в автобус; кажется, уже тогда меня охватило какое-то неясное предчувствие, да и это неизвестно откуда взявшееся такси удивило меня. То, что последовало дальше, было не менее неожиданно, хотя я уже не удивлялся. Кончиком пальцев я коснулся руки девушки, но ощутил только гладкую ткань плаща.

— Простите,— пробормотал я.

— Да за что же?! — Девушка резко повернулась ко мне, ее широко раскрытые глаза блестели в полумраке и словно гипнотизировали меня.— Меня зовут Кати, мою подругу Рози. А вас? Ладно, пусть будет Геза. Нет, вы только полюбуйтесь на город! Правда, красиво? Кругом столько света! А асфальт — будто озеро с гладкой, спокойной поверхностью...

Тогда и я увидел, что асфальт действительно похож на темную водную гладь, на неподвижное озеро или мор-

ской залив, где отражаются огни кораблей. Слева появилась первая неоновая витрина, первый универмаг в центре, и тут я спохватился: за несколько минут я вернулся туда, откуда ушел чуть ли не час назад. Ну, мой друг, кто же сегодня будет штудировать химию? Кто станет делать переводы с французского? Город вбирал в себя скользящую по пустынной мостовой машину: из размытых потоков света к темному небосводу вздымались здания; громоздкие кубы, призрачные контуры, едва различимые гиганты возникали из серой пелены дождя, колышущейся от слабого ветра,— казалось, в этом странном, ирреальном мире возможно любое чудо. Нет, город не мог быть тем же, по которому я ехал час назад; за это время с ним должно было что-то произойти. Девушки болтали о каких-то пустяках. Вдруг лицо Кати совсем рядом с моим резко повернулось, из-под капюшона от тугих светлых завитков пахнуло необычным ароматом; приплюснув нос к боковому стеклу, она заговорила о чем-то, понятном лишь им:

— Темно! Значит, легли!

— Легли,— согласилась Рози, даже не взглянув в ту сторону.— Ох, до чего же здесь тесно... Лайошу пора бы вернуться.

Колеса машины фонтанами разбрызгивали скопившуюся на асфальте воду. Мне захотелось узнать, кто там уже лег, что это за Лайош и что, собственно, я забыл в этой машине. Но мир, похоже, утратил привычную мне четкость.

— Стоп! — воскликнула Кати и тронула шофера за плечо.— Мы здесь выходим.

Мы остановились у «Континенталя». Меня это не удивило. Я всегда предчувствовал, что рано или поздно случай приведет меня в этот самый шикарный ресторан города. Правда, я никак не мог себе представить, что попаду сюда по дороге с работы, в мокром свитере, без денег, с наполовину готовым опытным образцом в голове и по уши увязшим в химии. Трудно сказать, как я это себе представлял, но только не так.

— Загляните, есть ли свободные места,— распорядилась Рози.

Кати добавила:

— Присмотрите столик получше, ближе к оркестру. А мы тем временем рассчитаемся за такси.

При этой процедуре я и не жаждал присутствовать. Я вошел в вестибюль, гардеробщица окинула меня разочарованным взглядом. Конечно, надо было хоть что-то сдать в гардероб, но не мог же я снять с себя свитер. Швейцар с сонным лицом разом встрепенулся, распахнул передо мной дверь в зал и снова погрузился в безразличие; для него этот полный тайн ночной мир, наверное, давно стал чем-то будничным, хорошо знакомым и не сулящим ничего нового. Но для меня все здесь было ново. Я прошел внутрь, передо мной открылся бесконечно большой зал. Длинные ряды столиков, и за каждым — компания; сверкающие люстры, музыка, голубой табачный дым, запах духов и жаркого — и все это под крышей, где не страшен проливной дождь; стало быть, вот куда переместилась жизнь, которой так недоставало на улицах. В моем представлении, здесь должны были сидеть не простые люди, а «посетители» — особая каста, которую можно встретить только в таких вот залах, где играет музыка, где всегда весело. Поэтому я удивился, увидев за ближайшим столиком двух служащих с завода. Выходит, они тоже были посетителями. Перед ними стояла бутылка вина, тарелка с арахисом, лежали две пачки сигарет. Я даже уловил кое-что из их разговора:

— ...до первого января? По-моему, можно и раньше, все зависит от проектировщиков.

— На них сейчас рассчитывать не приходится. Значит...— Служащий с мрачным лицом наклонился к соседу, словно собирался выдать ему государственную тайну.

Установить, есть ли свободный столик, оказалось нелегко. Я не решался сосредоточить внимание на каком-либо определенном участке и рассматривал весь зал, который переливался у меня перед глазами жемчужными неоновыми волнами. На подсвеченной снизу эстраде оркестр тянул медленный вальс, и я вдруг вспомнил, что совершенно не умею танцевать. Меня захлестнула злость: а почему, собственно, я должен уметь танцевать? Или считать себя хуже других, если у меня никогда не находится свободной минуты на танцы и развлечения? Стиснув зубы, я двинулся напролом, запутался среди столиков, несколько раз просил передвинуть стул, оттолкнул с прохода ведерко со льдом и, когда дрожащий, потный, наконец выбрался к выходу, не мог бы точно сказать, действительно ли все места заняты. Девушки стояли на троту-

ере, пытаясь заглянуть в зал через запотевшее стекло. Мне стало жаль их.

— Бесполезно, мест нет,— мрачно сказал я.— Все столы заняты.

— Плевать я хотела на этот «Континенталь»,— заявила Кати.— Плевать мне на него, понятно? Только в таких случаях надо смотреть,— продолжала она другим тоном, коснувшись пальцем моей груди,— не собирается ли какая-нибудь компания сматываться. Люди ведь не только приходят, но и уходят. Хотя, повторяю, плевать мне на «Континенталь». Заглянем в «Дунай».

Все это время я неотрывно смотрел на нее и чувствовал, как запечатлеваются в моей памяти черты этой девушки, ее жесты, казалось бы, самые мимолетные. Голос ее продолжал звучать в моих ушах, даже когда она умолкала. Другую девушку позднее мне никак не удавалось припомнить, словно я и не встречал ее вовсе. Когда Кати говорила о ней, я никак не мог представить ее себе.

Мы обогнули площадь, держась тротуара, который в хорошую погоду днем и вечером скрывал сплошной поток прохожих; сейчас мы с удивлением увидели, какой он широкий. С высоты, куда не достигал яркий свет множества фонарей и реклам, бесшумно сыпал дождь, миллионами тонких серых нитей связывая землю с бесконечным простором вселенной, падал и сверкающими бисеринками оседал на плечах, на лбу. Мы шагали, почти касаясь друг друга и как будто дружно, но каждый по-своему оценивал прошедшие минуты и предстоящие часы. Я не ждал для себя ничего хотя бы потому, что просто не понимал, что со мной происходит.

«Дунай» выглядел почти так же, как «Континенталь», только в освещении, пожалуй, было больше голубизны, да духовой оркестр играл громче. Гардеробщица и здесь глянула на меня с разочарованием, такая уж у них, видно, судьба — разочаровываться в каждом, кто в пору осенних дождей разгуливает в свитере. С волос у меня текло, капли скатывались по лбу и норовили повиснуть на кончике носа, мне поминутно приходилось смахивать их. Посетители, которые, видимо, ведать не ведали, какая на улице непогода, улыбались, глядя на меня. Определенно у них имелись на то основания. Мне едва исполнилось девять лет, когда кончилась война; с тех пор прошло еще девять лет, но я не заметил, как изменилась

жизнь: слишком много работал, учился. В Маломтелепе развлекались иначе: заказывали вина и в семейном кругу или с приятелями распивали его, разоблачась до рубашек или даже до маек — зимой у печки, летом на веранде, в холодке. И самозабвенно резались в карты, в марьяж или шестьдесят шесть. Однако мне недосуг было пускаться в воспоминания: предстояло в срочном порядке раздобыть столик.

Теперь я действовал методично. Оглядел зал с одной позиции, потом с другой. Официант обратил мое внимание на компанию — двух пожилых женщин и молодого человека,— которая, по его разумению, собиралась уходить. На их столике уже не было ни еды, ни питья, только пустые рюмки, полная пепельница, крошки хлеба и несколько сломанных зубочисток. Я стал рядом, мне было безразлично, если они поймут, зачем я тут торчу, может, поскорее смотаются. В те годы я еще не знал, что люди испытывают инстинктивное отвращение к насилию, и, если стать рядом и ждать, чтобы они ушли, они именно поэтому постараются задержаться как можно дольше. Тяготясь ожиданием, я тупо смотрел в окно; сквозь желтоватую муслиновую занавеску вырисовывались два стройных девичьих силуэта. Я ободряюще помахал им рукой, они ответили. Оркестранты кончили перекур и заиграли на полную мощь; в зале загромыхало и залязгало, словно в набитом орехами вагоне рвались ручные гранаты. Пожилые женщины подняли головы и с одобрительной улыбкой переглянулись. Кати сделала мне знак рукой: дескать, поторапливайся. «Но как, черт побери? Не могу же я их взять и вышвырнуть отсюда». Уничтожающим взглядом я уставился на молодого человека, который взволнованно объяснял что-то терпеливо слушавшим дамам. Все же наступил момент, когда молодой человек, выдохшись, замолчал и полез в карман. Я схватил официанта за руку:

— Если они уйдут, оставьте для нас этот столик.

— Не беспокойтесь.

На улице девушки набросились на меня:

— Ну как? Есть надежда?

— Одни уже собираются уходить.

— Собираются...

— Да. Рюмки пустые.

— Превосходно! — Кати откинула капюшон, тряхну-

ла головой, волосы ее разлетелись в стороны, и на меня пахнуло ароматом полей.— Подождем, верно?— Она рассмеялась.— Времени у нас хватит. Сегодня повеселимся вовсю, согласны?

Лицо ее тонуло в золотистом тумане, синие глаза мягко мерцали и почему-то казались карими.

— Пойду караулить. Официант обещал, но на всякий случай...— выдавил я из себя.

— Ступайте.

Я снова окунулся в дымную духоту, оглушенный пронзительными воплями оркестра, как раз в тот момент, когда молодой человек непринужденно потянулся и махнул официанту:

— Маэстро, еще бутылочку. Только не найдется ли послаще?

И вот мы снова на тротуаре и снова под тем же надоедливым дождем, которому, казалось, конца не будет. Девушки совещались: Кати заявила, что на «Дунай» ей тоже плевать. Я молча терзался, чувствуя себя виноватым в том, что рестораны сегодня переполнены. Мокрый асфальт отражал манящие огни их окон, дождевые капли вспыхивали, попав в полосу света, прежде чем упасть на землю; было тихо, только гулко пели водосточные трубы. Кати запрокинула голову, глядя вверх, ее ресницы тоже были усеяны серебристыми бусинками.

— А ведь где-то нас дожидается свободный столик. Совсем близко от оркестра... Давайте бродить, пока не отыщем? — задорно предложила она.

Ко мне сразу вернулось хорошее настроение. Почему бы нам и в самом дел не побродить, пока не наткнемся на этот заждавшийся нас столик? Схватившись за руки, мы припустились бежать под дождем, среди веселого хоровода огней, разрывающих мрак, прямо по лужам, большим, как озера. Я сжал маленькую руку Кати, спрятал ее в своей ладони, словно мальчишка яблоко, и с беспокойством думал о том, хватит ли у меня характера отпустить ее, когда наша гонка кончится. Кати на мгновение замерла и свободной рукой указала на одно из закрытых окон:

— Смотрите! Какое странное!

Окно как окно, такое же, как тысячи других; однако, взглянув вслед за Кати, я тоже нашел его странным. Никогда бы не поверил, что самое обыкновенное закрытое

окно может показаться странным. Мы припустили дальше, гадая вслух, кто может жить за этим окном, чем он занимается и что ему сейчас снится. Так мы добежали до «Трансильвании». Свободных мест, конечно, не оказалось ни в одном из двух обширных залов ресторана. Столик, может, и ждал нас где-то, но только не здесь. Пришлось отправляться дальше. Я снова сжал в ладони детски крохотный кулачок Кати, еще сильнее, чем прежде. Мне хотелось согреть его, но у меня самого ладонь была холодной и мокрой. Этот упорно разыскиваемый столик мне, собственно, был ни к чему, мне и без него было отлично. Пожалуй, даже лучше, чем в любом теплом помещении, где я не смогу держать Кати за руку.

Прошел час, потом еще один. Промокший до нитки, уже в десятый раз вытирая лицо и шею, слонялся я вдоль столиков, с надеждой бросая красноречивые взгляды на официантов, которые ничем не могли мне помочь, и высматривал, не собирается ли по домам какая-нибудь компания. Я по нескольку раз побывал в одних и тех же ресторанах и убедился, что часть посетителей успела смениться, но это, по странному совпадению, случалось обычно в мое отсутствие. На улице было промозгло и холодно, в помещении — влажно и тепло; я то стучал зубами, то обливался потом. Перед глазами у меня плясали красные круги, какие-то загадочные огоньки вспыхивали на стенах домов и в мокрых волосах девушек, а может, только в моем воображении. И я едва поверил своему счастью, когда вдруг увидел перед собой столик, накрытый чистой скатертью, с вазой для цветов и солонкой, рядом с оркестром, который по-прежнему играл все тот же задумчивый вальс. Какое-то время я смотрел на это чудо, затем устало коснулся накрахмаленной скатерти.

— Позову своих спутниц,— сказал я торжествующему официанту. Он улыбался с таким видом, словно компанию, оккупировавшую столик, ему удалось вышибить в результате рукопашной схватки.— Прошу вас, присмотрите за столиком. Удержите его во что бы то ни стало.

Но когда я вышел на улицу, в пестром вихре неоновых огней уже не было видно остроконечного капюшона и двух жадных, вопрошающих глаз.

Я простоял минут десять в тоскливой надежде, что девушки со смехом вынырнут откуда-нибудь из подъез-

да. Несколько человек прошли мимо меня, я их не видел. Затем из вестибюля появился официант.

— Держать для вас столик?

— Нет, теперь ни к чему,— ответил я.— Девушкам надоело ждать, и они улизнули домой. Я несколько часов пытался раздобыть для них столик.

Официант закурил. Это был пожилой человек со смуглым лицом и тонкой ниточкой черных усов. Втянув голову в плечи, он молча смотрел на дождь.

— Ничего,— сказал он.— Все равно скоро мы закрываем, так что у вас осталось бы совсем мало времени.— Он слабо улыбнулся.— Вам здорово не по себе?

Я тоже улыбнулся.

— Разумеется! Ну, ничего не попишешь, раз так получилось. Доброй вам ночи! Мне еще целый час топать пешком до дому, а там, глядишь, и на завод пора.

— Доброй ночи!

Я пожал официанту руку и двинулся в путь. Одиноко брел я по широкому тротуару, светили фонари, бесконечной вереницей уходящие вдаль, асфальт напоминал недвижную водную гладь, и таинственными до жути казались окна, закрытые ставнями. «Наверное, теперь я всегда буду смотреть на них с этим чувством»,— подумал я. Со всех сторон меня обступал сонный город; здания, освещенные снизу, вздымались в темное ночное небо, сквозь дождевую завесу, колыхавшуюся от ветра, проступали их причудливые контуры. Спрятав глубоко в карманы мокрые окоченевшие руки, я принялся насвистывать какой-то мотивчик, однако смутная тревога не давала мне покоя: а что, если я никогда больше не встречу девушку в остроконечном капюшоне?

Как-то в середине октября, воскресным утром, я пешком отправился в центр города. На углу Липовой улицы путь мне преградила вереница убранных цветами свадебных машин. «Астры,— подумал я.— Почему же астры? Ну да, конечно, ведь в эту пору уже нет других цветов». Многие толпились на краю тротуара, с любопытством заглядывая в машины. И вдруг каким-то боковым зрением я уловил мягкий неуверенный взмах руки. Я медленно повернулся в ту сторону, предчувствуя, что не ошибся, и все же боясь разочарования. Две неде-

ли я ждал этого момента, этой встречи, не в силах представить себе, что она не произойдет. Я был уверен, что узнаю девушку по голосу или жесту. Конечно, ее можно было бы узнать по глазам, но не мог же я заглядывать в глаза всем встречным женщинам.

— Это ты! — как-то сдавленно крикнула Кати. В свете солнца, пробивающегося сквозь спокойные серые облака, она казалась усталой, поблекшей. С недоверчивой улыбкой всматривалась она в мое лицо; в первый момент я не нашел ее красивой. На ней был плащ, на шее — зеленая косынка из легкого шелка. Непокрытые волнистые белокурые волосы выглядели слегка влажными. Невольно я взял ее руку и спрятал в свою ладонь, словно яблоко. Этого две недели ждали мои пальцы.

— Я повсюду искал тебя,— сказал я.

Разумеется, я верил, что говорю правду, хотя, само собой, у меня не было времени ее искать, просто я постоянно думал о ней и внимательно смотрел по сторонам, в глубине души чувствуя, что мы обязательно встретимся. Украшенные астрами машины проехали, публика разбрелась, тротуар опустел. Держа Кати за руку, я перевел ее на другую сторону улицы. Там мы в нерешительности остановились. Кати снова повернула ко мне лицо: видно было, что она рада встрече.

— Ты любишь бродить один?

— Нет,— ответил я.— Не люблю. Просто я и еще несколько человек с завода учимся, и свободного времени остается в обрез. Так постепенно и откалываешься от друзей...

— Ты мог бы поехать со мной в фазанник? — спросила Кати.

— А кто мне мешает? Тогда повернули обратно, автобус идет с Круглой площади.

Курьезное совпадение: опять я без пальто и опять, наверное, пойдет дождь. Правда, деньги у меня на этот раз были; с того дня я не выходил из дому с пустым кошельком. «Может, все-таки дождя не будет,— думал я.— Утром долго держался туман. А если начнется дождь, спрячемся куда-нибудь». Под ногами у нас едва заметно курились стертые булыжники мостовой.

Отправления пришлось ждать в полупустом автобусе.

— Садись к окну,— посоветовала девушка.— Тогда не надо будет уступать место.

— Уж лучше я уступлю,— ответил я.

Я близко придвинулся к Кати и, по-прежнему держа ее руку, заглянул ей в глаза. Они были не просто синие, а как будто еще и золотистые, и от этого взгляд казался теплым.

— В прошлый раз я остался один,— сказал я.

— Знаю.

— Не скажешь, почему вы скрылись?

— Что ж, скажу. Тебе я все скажу, потому что ты славный парень.— Кати смотрела прямо перед собой, ее узкие темные брови дрогнули.— Рози утверждала, что я обладаю волшебной силой — ну, как колдунья, что ли,— и могу вытворять с мужчинами, что захочу. Вот мы и решили проверить...

«А правда, в ней есть какая-то непонятная магическая сила»,— подумал я, и меня охватила щемящая грусть. Я откинулся на спинку сиденья, невольно отодвинулся от Кати и даже выпустил ее руку.

— Сердишься? — окликнула меня Кати.

— Незачем было удирать втихомолку, не объяснив, что вы задумали. Никакой необходимости не было. Я и сам бы ушел, нисколько не обидясь, если бы вы признались в своей затее. Но сердиться я не умею,— добавил я.

— Вот-вот, я сразу поняла, что сердиться ты не умеешь. Ты чувствуешь, что мне и без того грустно, и все прощаешь...

Я посмотрел на нее: она и правда была какая-то притихшая, грустная, впрочем, я почувствовал это еще там, на углу Липовой.

Автобус тронулся. До ресторана в фазаньем питомнике мы не обменялись ни словом, смотрели на проплывающие мимо дома, поля, перелески. Проглянуло солнце, и неожиданно все окрест засверкало множеством красок; тень, словно сорванное покрывало, соскользнула с придорожных тополей, и листья заблестели, затрепетали, подмигивая светлой изнанкой.

— Как странно,— заметила Кати.— Все эти яркие, огненные краски — они ведь и раньше были у нас перед глазами, и все-таки мы их не замечали.

— Все дело в солнце,— сказал я.

На усыпанной гравием площадке перед ресторанчиком, среди цементных ваз с увядшими цветами, автобус остановился. Прежде этот лес был графским владением.

Потом здесь построили ресторан, наладили регулярные рейсы автобуса, и теперь лишь огороженные проволокой вольеры напоминали отдыхающим о прежней графской забаве — декоративных фазанах. Прорезая заросли дуба и бука, звездообразно разбегались чистые, ухоженные аллеи. У пересечения просек на стволах деревьев были развешаны деликатно покрашенные в зеленый цвет ящички с поясняющей надписью: «Для мусора». Целая серия табличек, тоже прибитых к стволам деревьев, запрещала разводить костры, бросать окурки, пасти скот и охотиться.

— Свернем в сторону,— предложила Кати.— Ну их, эти дорожки. И так всю жизнь по ним ходим.

— Как скажешь. Только в начале парка все равно какое-то время придется идти по дорожке.

Я оглянулся на город: напоенная водой земля курилась, насыщенный влагой воздух приглушал сверкание башен и крыш. Дорога под ногами у нас тоже была сыроватой, но не грязной; только иногда нам приходилось разнимать руки, чтобы обойти лужу. Вскоре мы добрались до вольер. На бетонном фундаменте причудливыми островами пестрел зеленый и желтый мох, с толстой проволоки чешуйками лупилась краска, обнажая ржавчину, под крышей из листового железа, в полумраке, гнили обломки досок, сухие ветви, охапки сена.

— Дальше можно и без дорожки,— сказал я. Голос мой в настороженной тишине парка показался резким, чужим.— Можем пойти напрямик через рощу.

Под деревьями было заметно прохладнее. Кати все время шла впереди; я, укорачивая шаг, медленно ступал в ее следы, взглядом вбирая в себя тоненькую милую фигурку, беззащитно открытые, нетронутые загаром икры, белые носки до щиколоток и легкие туфли на невысоком каблуке, к которым пристали опавшие листья. «Так и нес бы ее на руках,— думал я.— И мог бы нести сколько угодно»... Я не знал, куда девать силу. Дорогу преградил толстый ствол; падая, он, должно быть, сбил немало веток с соседних деревьев, но случилось это, судя по всему, довольно давно. Мох, успевший нарасти на коре упавшего дерева, пропитался водой, как губка. Я содрал мох там, где ствол был поровней, постелил носовой платок и усадил Кати, а сам плюхнулся прямо на ствол. Пока мы шли по дорожке, меня не оставляло ощу-

щение, будто мы гуляем по парку; но здесь уже был не парк, а настоящий лес. Никто не вмешивался в дела природы, деревья росли как вздумается, и даже подлесок приноравливался только к солнцу. Если кто-то и проходил по дорожке, сюда не доносилось ни звука.

— Ну, вот мы и дома,— сказал я.

— Дома,— повторила Кати.— К счастью, я знаю, что ты не сердишься. Иногда я думала, как хорошо было бы встретить тебя снова.

— Я все время думал о том же.

Сухой листок бука, кружась, упал ей на колени. Она поднесла его к лицу, понюхала и протянула мне.

— У него совсем нет запаха, правда?

Я взял листок. На ощупь он был как тонкая, нежная кожа, и цвет его был как у кожи — рыжевато-коричневый. Этот красивый, теплый цвет он утратит, пролежав на земле несколько дней, потом поблекнет, свернется. Я взглянул вверх, на купы деревьев. Недвижно парящие в высоте кроны ближе к стволу еще отливали желтовато-зеленым цветом, там же, где их освещало солнце, полыхали червонным золотом. Кати тоже запрокинула голову кверху, в просветах между деревьями увидела холодное небо и зябко поежилась. Я обнял ее за плечи, привлек к себе; у меня не было иных мыслей, кроме одной: мне нужно согреть эту девушку, которая зябко жмется ко мне.

— До чего хорошо здесь! Правда? — снова заговорила Кати.

— Хорошо. Только ты мерзнешь.

— Нет, так мне не холодно.

— Прижмись ко мне.

— А я что делаю?

Повернув голову, я посмотрел на нее сверху вниз, близко увидел ее волосы и приникший к моему плечу белый лоб, и меня охватил страх, что мы не сможем разговаривать, как все люди. Слишком хорошо мы понимали друг друга даже без слов. «Вот она здесь, рядом со мной,— говорил я себе.— Тогда ночью она словно околдовала меня, а ведь за минуту до встречи я думал только о занятиях. Не грезится ли мне, что и сейчас она вновь со мной?» Свободной рукой я тотчас нашел ее руку, почувствовал, какая она холодная, поднес ко рту, чтобы согреть своим дыханием. Кати не отняла руки;

казалось, она вообще лишилась способности сопротивляться чему бы то ни было; опустив голову, она разглядывала свои туфли. Какое-то время я тоже смотрел на ее туфли и думал, что они точно так же, как ее кулачок, могли бы уместиться в моей ладони.

— Не сердись, я не умею поддерживать разговор,— разжал я губы.

— Если б я захотела, ты сумел бы,— тихо отозвалась она.— Но мне хочется просто посидеть здесь молча, давным-давно хочется... Я сама только сейчас поняла, как давно мне хочется этого. И обязательно с тобой.

— Почему именно со мной?

— Не могу объяснить словами. Знаю только: с тобой — и все.

— Зато я совершенно точно знаю другое: я на все готов ради тебя.

— Ты серьёзно это сказал?

Кати отодвинулась, чтобы лучше видеть мое лицо, видеть мои глаза и губы, когда я произношу эти слова.

— Хочу услышать еще раз!

— Я сказал: я на все готов ради тебя!

— Ладно, значит, ты это серьезно.— Она снова прижалась ко мне, уткнувшись лицом в мое плечо.— Но знаешь, о чем я думаю? Жизнь течет, как река. Ничто не остается неизменным, и ничто не возвращается. Вон видишь листок, сейчас он колышется точно против той ивы, а где он будет через полчаса? Или, скажем, человек заявляет, что у него болит голова, и она у него в самом деле болит. Кто виноват, если через час она перестанет болеть?

— Если у меня сейчас болит голова, она будет болеть и через час. У меня ничто не проходит скоро.

Я подумал, что сужу так без особых оснований — ведь еще ничто не пришло в мою жизнь и ничто не ушло из нее. Только, пожалуй, моя настойчивость в работе придавала мне уверенности, потому что ни разу не подводила меня.

Когда Кати садилась, полами плаща она прикрыла колени. Сейчас полы разошлись, хотя ни один из нас не шевельнулся. Из-под плаща показалось светлое летнее платье в мелкий цветочек, тоже короткое и очень чистое. Я дважды невольно взглядывал на ее колени, они белели словно два полушария, тесно прижатые друг к другу. Когда взгляд коснулся их в третий раз, жгучая жалость

пронзила меня, жалость к Кати, к самому себе, к людям, которые не догадываются, как это прекрасно сидеть в лесу на сыром поваленном дереве. Я тоже не знал этого до сих пор, и еще мне было больно от сознания, что скоро наступят минуты, дни, а может быть, годы, когда нам уже не сидеть вот так, под деревьями. «Надеюсь, она понимает, что это не пустые слова,— думал я.— Понимает, что я на все готов ради нее. Тем более сейчас, когда на душе у нее тяжко, ей просто необходим кто-то рядом. Только бы хватило у нее ума усвоить эту простую истину: она может рассчитывать на меня».

Среди буков, в нескольких шагах от нас, стояла старая береза, необыкновенно высокое, стройное дерево; чтобы пробиться к свету, ей пришлось поднять свою крону выше соседних деревьев. Мне еще не случалось видеть такой березы-великанши. Ее покрытый трещинами грубый ствол местами словно мазнули широкой белой кистью, и эти белые пятна были удивительно нежными. «В другое время я бы не заметил их,— подумал я,— не будь здесь рядом со мной Кати». Сейчас мои глаза замечали каждую мелочь, и все, чего я раньше не видел, казалось мне удивительным. После первой нашей встречи мне все время недоставало таинственного мерцания, которое тогда, ночью, преображало людей и предметы, отражаясь в тысячах капель. Я поднял лицо Кати, чтобы заглянуть ей в глаза.

— Что это? — Кати словно очнулась.— Ты мне мешаешь думать. Да ты хочешь поцеловать меня! — удивленно добавила она.

Наверное, я действительно хотел этого, хотя и не сознавал. Я поцеловал зажатый в моей ладони маленький кулачок и наклонился вперед, чтобы поцеловать ее колени; на это я скорее мог решиться, чем прикоснуться к ее губам. Но Кати сама притянула мою голову. Губы ее были мягкими и холодными, я долго целовал их, пока они не стали жаркими. И настойчиво старался внушить ей мысль, в которую вкладывал всю свою душу: «Я на все готов ради тебя».

Вдалеке, за желтеющим полем и лесом, зазвонили колокола; потом даже сквозь сомкнутые веки я ощутил, как в лицо нам ударил луч солнца, который мы прежде никак не могли отыскать за тучами. Кати вновь приникла к моему плечу, часто дыша, даже от прогретых волос ее

теперь словно исходило тепло. На этот раз я все-таки поцеловал ее колени, согрев их дыханием, затем, чуть отодвинув юбку, прижался губами к гладкой холодной коже. Мы оба замерли так на какое-то мгновение, пока Кати не шепнула смущенно:

— У меня мерзнет спина.

Я обнял ее за плечи, привлек к себе, так же, как раньше, и время от времени касался губами ее волос. Поднялся ветер, с шумом закачались стволы деревьев, листья, как раненые бабочки, кружась, заскользили вниз. По опавшей листве, по зелени мха — повсюду бесшумно заплясали пятна осеннего солнца. Ветер вскоре утих, снова чуткая прохладная тишина поглотила нас, тишина и почти осязаемый лесной аромат. Прошло немало времени, прежде чем мы снова поцеловались. Потом я торопливо прижал ее к себе, укрыл, как только мог, чтобы она не зябла. «Что я тут давлю мох, это ерунда. Мне все нипочем,— думал я.— Но она мерзнет. И голодная. Почему она не признается, что голодна? И почему мы не разговариваем? Я бы мигом мог притащить из ресторанчика что-нибудь съестное, обернулся бы за несколько минут. Бегом туда и обратно, и ей совсем недолго пришлось бы ждать. Мог бы прихватить даже бутылку минеральной воды или чего-нибудь другого — все-все, что она любит. Деньги у меня с собой. Ей нельзя оставаться голодной». Мы сидели на поваленном дереве, сквозь подошвы чувствуя идущую от земли, от опавших листьев и гниющего дерева промозглую сырость. Но Кати была спокойна, словно именно этой промозглой сырости и голода ей недоставало для полного покоя; она тесно прижалась ко мне и, пригревшись, сидела с таким видом, словно еще долго намеревалась сидеть вот так, неподвижно, и молчать. Нога у меня затекла, будто тысячи муравьев поползли вверх по напрягшимся обнаженным мышцам, но я не переменил позы, потому что знал: мой бок для Кати сейчас единственное теплое гнездо, куда она может приткнуться. Изредка я целовал ее волосы, и каждый раз меня, словно током, пронзало ощущение счастья, что я могу целовать ее волосы, и неопределенный страх, что счастье это недолговечно.

Внезапно Кати отстранилась от меня. Мягким движением, словно срывая цветок, она подняла какой-то листик и снова уронила его на землю,

— Рассказать тебе? — спросила она.

— Как хочешь,— ответил я.

— Ну, ладно. Тебе я расскажу. Еще там, на углу Липовой, я знала, что расскажу.

Я вытянул ногу — муравьи поползли вниз. Я старался не смотреть на Кати. Она наверняка поняла бы по моим глазам, как я боюсь того, что она собирается рассказать, и что я хочу лишь одного: сидеть с ней в тишине, наслаждаясь хрупким, готовым в любую минуту упорхнуть счастьем. Я едва удержался, чтобы не попросить: «Помолчи, не надо рассказывать!»

РАССКАЗ КАТИ

Как-то в начале лета, воскресным утром, я зашла в кондитерскую. Когда собралась расплачиваться, оказалось, что деньги оставила дома. А мне еще надо было купить цветы. Я шла проведать невестку — она ждала ребенка, и, кроме того, на это воскресенье приходился день ее именин. Это жена моего старшего брата. Сам-то брат — хмурый, неразговорчивый человек, горький пьяница, и обо мне он никогда не заботился, но жену его я люблю, и она меня тоже. Я сказала официантке, что хочу расплатиться; она стояла рядом, наблюдала, как я роюсь в сумочке, и ждала. А в сумке у меня ни леи!

— Одно пирожное и стакан газированной воды,— повторила я машинально, чтобы оттянуть время.

Официантка так же машинально повторила, сколько я должна, и уже не скрывала своего нетерпения. Тогда кто-то швырнул на стол бумажку в пять лей, и я услышала голос: «Сдачи не надо». Официантка в тот же миг удалилась — остальное ее не касалось,— а к моему столику подсел какой-то мужчина и с улыбкой заглянул мне в лицо.

— Ничего страшного, девушка,— успокоил он меня.— С каждым может случиться.

— Куда прислать деньги? — спросила я.

— Часов в шесть вечера я буду здесь, и если вы вдруг окажетесь в этом районе... А если нет — не беда, глядишь, когда-нибудь и встретимся.

Никто не смог бы сказать, что я осталась перед ним в долгу. Я работаю на швейной фабрике, неплохо зара-

батываю, потому что руки у меня ловкие. Конечно же, в шесть часов я явилась в кондитерскую с деньгами. Правда, пять лей за пирожное и стакан газировки, по-моему, было дороговато. Легко быть щедрым за чужой счет, подумала я, но ошиблась. Он с этого и начал:

— Вы, собственно, должны мне одну лею пятьдесят бани, остальное — мое дело.

Он был чуть полноват и выглядел так, будто никогда не работал. Весь какой-то рыхлый, словно улитка, которая только что вылезла из своего домика и слизывает на пути все, что попадется. Все-таки он мне чем-то нравился, вот только на его толстые, пухлые пальцы я не любила смотреть. Думала, что уж хотя бы пальцы у него могли быть похудее. В конце концов мы потратили и эти пять лей, а потом в ресторане еще сотню, но уже не из моих, напрасно пыталась я отдать деньги хотя бы за себя. Мы рассказывали друг другу, кто мы и что, и танцевали. В полночь он проводил меня до дому и сказал, что давно мечтает о такой жене. Этого мне еще не говорил никто. Сердце у меня колотилось так, что я боялась, как бы он не услышал. Говорил он и о своей работе, что для проектирования архитектору необходимо вдохновение, крылатая фантазия и что, если я свяжу свою судьбу с ним, он станет проектировать самые прекрасные здания в мире. Выходило, чуть ли не от меня зависела судьба архитектуры.

Мать еще не спала, дожидалась меня; она никак не могла взять в толк, куда я запропастилась. Чтобы успокоить ее, я сказала, что мы с Рози гуляли по городу.

На следующий день я обо всем рассказала Рози. Мы вместе работаем, Рози всего на четыре года старше меня, но уже разведенная, лучше знает жизнь. Она молча меня выслушала, потом высказала свое мнение:

— Я этого типа не видела, но мне подозрительно, что уж больно много он разглагольствует об архитектуре, без тебя, видишь ли, она зачахнет. Похоже, что проектирует-то он курятники да свинарники. Надеюсь, ты больше не намерена с ним встречаться.

— Конечно,— заверила я.— Маме я сказала, что мы гуляли с тобой, не проговорись, пожалуйста.

— Этого можешь не опасаться,— сказала Рози.— Только в следующий раз не впутывай меня. Знаешь ведь: терпеть не могу лгать.

А у меня весь день из головы не выходила его фраза: «Именно о такой жене я давно мечтаю». Жена! Господи боже мой! Я — и вдруг жена! Я поймала себя на мысли, что все время думаю о нем, вижу перед собой его глаза, как они лучатся радостью, когда он смотрит на меня. И снова вспомнила, как он привлекал меня к себе во время танца, нежно и властно, словно так оно и положено, словно по-другому и нельзя танцевать. И все-таки — хотя об этом я вроде бы почти не думала — больше всего мне запало в душу, что теперь, познакомившись со мной, он будет проектировать здания во сто крат красивее. Когда речь заходила об архитектуре, перед глазами у меня всегда возникал римский Колизей — я видела его в каком-то фильме. И я бы нисколько не удивилась, если бы обнаружила, что в один прекрасный день на главной площади нашего города начали возводить Колизей, а мой инженер стоял бы там, курил и с чертежами в руках проверял, как работают каменщики.

Когда на третий день, выйдя с фабрики, я увидела его у проходной, меня вдруг охватила какая-то странная, до сих пор мне не знакомая гордость: ведь это из-за меня он стоит здесь! И я едва снизошла до разговора с ним. А он шел рядом, улыбался и держал меня за руку; ладонь его была слегка влажной, а моя — прохладной, и я знала это: я только что приняла душ. Так мы шли довольно долго, не обычным путем, а переулками: я не хотела, чтобы нас видели вместе. На перекрестках он чуть расслаблял пальцы, сжимавшие мою руку, предоставляя мне решать, куда свернуть. Он проводил меня до дому, вернее, до угла и спросил:

— Не пожелаете ли вы к шести часам прийти в то кафе?

— Нет, — ответила я.

— Тогда придите ради меня.

Он улыбнулся — с радостью: может, я все-таки приду, и грустно — а вдруг не приду. Я подумала о Колизее и ответила:

— Ну, разве что ради вас...

На нашей улице перед каждым домом палисадник; вдоль тротуара живой изгородью разрослась ночная красавица, по большей части красная, но попадается и желтая. Он сорвал красный цветок с плотно закрытыми лепестками и положил мне на ладонь.

— Видите? Вот и вы такая же замкнутая...

До тех пор мне и в голову не приходило, что я могу быть замкнутой, наоборот: на фабрике и в Союзе рабочей молодежи меня любили как раз за то, что я открытая, веселая. Надоест мне, бывало, глядеть, как все вокруг сидят понурые, с кислыми физиономиями, начну их тормошить, и не было случая, чтоб мне не удалось развеселить любую компанию. А сейчас вдруг мне заявляют, будто я замкнутая! Не знаю почему, но это польстило мне; я обрадовалась, что я не такая, как все, необычная, со сложным характером. И еще, несмотря на всю мою гордость, меня не покидала какая-то скованность. Наверное, очень хотелось помочь ему построить свой Колизей, но я не знала, как это сделать.

— Это плохо, что я замкнутая? — спросила я.

— Только со мной не будьте такою,— ответил он.

И ушел. А я после обеда погладила белое платье; я надевала его раза два, но оно еще было как новое, только помялось немного. Маме я сказала, что иду к Рози. В начале седьмого я уже подлетала к кондитерской, он ждал за столиком и даже успел заказать кофе и пирожные, настолько был уверен, что я не подведу. Ну что ж, он не ошибся: я заявилась в самом начале седьмого.

Возвращались мы в полночь, улица была безлюдной и темной. Оба не торопились; он держал меня за руку и говорил, говорил, но не о себе, а только обо мне: какие у меня необыкновенные достоинства. Я совсем не считала себя такой идеальной, как представлялось ему; и в то же время чувствовала, будто я еще лучше и вообще лучше всех на свете. Фиалки раскрылись, даже воздух стал гуще от их аромата; в темноте я не видела цветов, но, когда провела по их головкам ладонью, один из них застрял меж пальцев — холодный и влажный от росы. Я сорвала его.

— Вот, прошу убедиться, сейчас она раскрылась.

Он взял у меня цветок, поцеловал его, потом поцеловал и меня — прямо тут же, на тротуаре; он был не намного выше меня и, как я уже говорила, несколько полноват; я чувствовала, что моя грудь крепче, чем у него. Он тоже чувствовал это и положил на нее свою руку. Мне не хотелось позволять ему такое, но почему-то передо мной возникла картина, как мы сидим в ресторане и он после каждого кусочка спрашивает: «Вам нравит-

ся?» — и все порывается заказывать новые блюда. Он хмурил лоб, озабоченно следил за мной, его одолевала тревога: а вдруг мне не по вкусу придется ужин. «Нет,— подумала я тогда,— не могу я оттолкнуть его руку. Ведь он меня любит».

Мы встречались почти каждый день. Он разузнал, когда у меня день рождения и купил в подарок свитер. Маме я сказала, что это от девочек с фабрики. Правда, они тоже преподнесли мне подарок — красивую хрустальную вазочку, но я пока отдала ее Рози, попросила подержать у себя.

Потом он на неделю уехал в Бухарест, в министерство. И всю эту неделю мне его очень недоставало; вот тогда-то судьба и свела нас с тобой однажды вечером. Когда он вернулся, мы встретились в кондитерской, как обычно. Он сказал, что получил премию за какое-то снижение себестоимости, и привез мне из столицы одну вещь — что-то ужасно красивое,— и надо сейчас идти за этим подарком к нему на квартиру. Я пошла, хотя и подозревала, чем это может кончиться.

Начал он во здравие, а кончил за упокой. Даже оторвал пуговицу с платья. Я и сама не понимаю, почему упиралась, ведь мне казалось, я люблю его, но это было сильнее меня: не могла я ему это позволить, и все, а уж когда он повел себя грубо, я тем более противилась. Наверное, еще и потому, что вспомнила, как давно он не заговаривал о женитьбе и вообще о дальнейшей нашей жизни. Я рванула дверь и выбежала. В сумке у меня лежало полдюжины импортных ночных сорочек; на углу улицы Аврама Янку я выбросила их в урну. Воображаю, как удивлялся потом мусорщик...

Солнце переместилось, лучи его теперь почти горизонтально стлались между деревьями, на коре старой березы горело розоватое пламя. Пока Кати рассказывала, мы сидели выпрямившись, рядом, но не касаясь друг друга. Теперь я инстинктивно потянулся, обхватил ее за плечи, прижал к себе, чтобы согреть. Становилось по-настоящему холодно. «Пора отучиться от этой глупой привычки ходить без пальто,— думал я.— Будь оно сейчас на мне, я мог бы укрыть ее». Самому-то мне холод был нипочем. Странный жар волнами пробегал по всему моему телу и вдоль спины, губы пересохли, мучительно

хотелось хоть что-нибудь сделать для Кати, но чем я мог ей помочь? Разве еще крепче обнять ее плечи. В ее рассказе чего-то не хватало. Я пытался поверить ей, пытался понять, но это мне никак не удавалось, и было больно, оттого что я не верю Кати. Я очень хотел бы поверить и не мог.

— Но почему же...— начал я и запнулся.— Но почему...— сделал я новую попытку и понял, что спрашивать мне, собственно, не о чем. Я бездумно следил за зигзагообразным падением листьев: они тотчас пропитывались влагой и приникали к земле, словно стремились как можно скорее сровняться с нею, уйти в нее; жизни в них уже не осталось, одна обреченность.

— Не так все было,— сказал я.— Не сердись, но не так...

Откуда-то со стороны ресторана долетел далекий автомобильный гудок. Звук его, запутавшись между деревьями, распался эхом, потом наступила еще более густая гнетущая тишина. Кати, разочарованно тряхнув головой, вздохнула.

— Правда... А жаль. Красиво получилось.

— Ты так думаешь?

— А разве нет? Интересно, до сих пор мне все парни верили, что бы я ни насочиняла. И только ты... Наверное потому, что тебе я не собиралась врать. Начала рассказ с правды, а потом сбилась. Просто мне слишком хотелось, чтобы все было так, как я рассказала. Но теперь я не собьюсь.

ИСТОРИЯ КАТИ

С тобой тоже случалось, наверное, такое: сотни раз проходишь, скажем, мимо колодца на углу, пока вдруг в какой-то день не заметишь: да это, никак, колодец? Примерно то же произошло со мной в начале лета. Воскресным утром я пила кофе в кондитерской и дожидалась Рози — мы условились встретиться. Вошел какой-то мужчина. Наружность его я уже описала. Мне было известно, что он инженер-проектировщик, неженатый и что он постоянно околачивается по разным кафе; эту привычку знали за ним все: бывают такие люди, о которых всем все известно. Я много раз его видела, и нико-

гда он не пробуждал во мне ни малейшего интереса. А сейчас я взглянула на него, и мне припомнилось, что Рози частенько любила повторять: «Ты мужчинами вертишь как хочешь, пожелаешь, и они у тебя будут скакать на одной ножке и кукарекать...» А ну-ка, проверим, решила я. Для начала попробуем с ним познакомиться.

Я сказала официантке, что хочу расплатиться. Та остановилась рядом со мной, наблюдая, как я роюсь в сумочке.

— Кофе и стакан газированной,— повторила я. Я сознательно тянула время, чтобы обратить на себя внимание.

Официантка не скрывала нетерпения; она знала, что мне отлично известно, сколько стоит кофе и стакан воды. Я продолжала копаться в сумочке, там лежало сотни две лей, но я засунула их под носовой платок и состроила испуганную мину, хотя бы для того, чтобы не прыснуть со смеху. «Вот сейчас,— подумала я.— Самое время». И действительно, кто-то вдруг бросил на стол бумажку в пять лей со словами: «Пожалуйста, а сдачу оставьте себе». Официантка моментально испарилась, а ко мне подсел тот мужчина — все разыгралось, как по нотам. Меня не покидало ощущение, что подуй я на него — и он исчезнет, произнеси волшебное слово — и появится вновь.

— Ничего страшного, девушка,— сказал он,— с каждым может случиться.

— Куда прислать деньги? — спросила я.

— Часов в шесть вечера я буду здесь, и если вы вдруг окажетесь в этом районе... А если нет — не беда, глядишь, когда-нибудь да встретимся.

Вошла Рози, увидела меня с инженером, улыбнулась и повернула к двери.

— Пора идти,— сказала я.— А вечером мне как раз придется быть в этих краях по делу, так что загляну обязательно.

Мне бы и этого хватило для удовлетворения самолюбия, если бы дело стало только за мной.

Рози поджидала меня на улице. Мы вместе работаем на швейной фабрике, но я зарабатываю больше ее, потому что у меня руки проворнее, а ведь она на четыре года старше, ей сейчас двадцать два, и она уже год как разошлась с мужем. В то время она еще казалась мне милым, безобидным существом, хотя я и знала, что ее

что-то гложет, а иногда на нее накатывают какие-то приступы злобы ко всему на свете; и тогда она становится вроде одержимой. Прислонившись к стене, Рози спокойно ждала, пока я подойду, а потом с серьезным видом принялась меня поучать:

— Я вижу, ты подцепила этого типа. Смотри, не упусти, он прилично зарабатывает. И не будь дурочкой, все равно дело кончится известно чем, так по крайности урви с него побольше.

— Да будет тебе трепаться,— одернула я ее.

Она проводила меня чуть не до самого дома и всю дорогу учила уму-разуму. Неважно, чему именно, но говорила она ясно, с глубокой убежденностью. Сначала мне просто хотелось поинтереснее провести воскресное утро, для чего я и затеяла эту историю с инженером — никаких других планов у меня не было. Но тут я поняла, что и другие утра, дни и вечера я тоже могла бы проводить интереснее, и с ним.

В шесть часов, прихватив деньги, я как миленькая сидела в кондитерской. Мы потратили сначала пять лей, потом еще сотню — в ресторане. Но уже не из моих. Во время танцев рассказали друг другу, кто мы и что, где и кем работаем. В полночь он проводил меня до дому и дорогой сказал, что давно мечтает именно о такой жене, и, знай он, что я с ним рядом, его фантазия обрела бы крылья, и он проектировал бы прекрасные здания, каких еще свет не видал.

— Прекраснее, чем Колизей? — спросила я.

— Не менее прекрасные. Сами убедитесь, если поможете мне.

И меня охватило непреодолимое желание, чтобы рано или поздно в нашем городе возвели прекрасное здание, хотя бы такое, как Колизей, и чтобы я имела — пусть самое косвенное — отношение к его строительству. Но инженеру я тогда ничего не сказала. Мама уже спала, она привыкла, что я иногда задерживаюсь, слышался громкий храп отца, в четыре часа начиналась его смена, он на железной дороге работает. Ужин мой стоял на кухонном столе, но я к нему и не притронулась; иной раз я целый день обходилась тем, что успевала перехватить в столовой.

Рози дотошно выспрашивала, что у нас да как. Я рассказывала ей все, только о Колизее, не знаю почему, не

обмолвилась ни словом. Да она бы и не поняла... Но ты, я знаю, поймешь.

— Слушай внимательно,— сказала Рози.— Дело на мази, и это вполне естественно. Настала пора и тебе пожить, как самостоятельной женщине. Только не забывайся: следи, чтобы ни одной пяди не уступить даром и чтобы победа всегда оставалась за тобой.

Я даже не задавалась вопросом, нравится ли мне этот человек. Помнила только, что глаза у него вспыхивают радостью, когда он заглядывает мне в лицо. Еще помнила, как он привлекал меня к себе во время танца, нежно и властно, словно так и положено, словно по-другому и нельзя танцевать. И уже казалось неважным, нравится он мне или нет, гораздо важнее было, что я нравлюсь ему, что его тянет ко мне.

После работы, выйдя из проходной, я застала его у ворот. Мы условились, что он будет ждать меня, но все-таки я боялась: вдруг он передумает, не придет. Он шел рядом со мной, улыбался и держал меня за руку; ладонь у него была слегка влажной, а моя — прохладной, я знала это: я только что приняла душ. И так мы шли довольно долго, не обычным путем, а переулками. Он проводил меня до дому, вернее, до угла и спросил:

— Не хотите ли вы к шести часам прийти в то кафе?

— Нет,— сказала я.

— Ну, тогда придите ради меня.

И улыбнулся: с радостью — может, я все-таки приду, и грустно — а вдруг не приду. Я ответила:

— Ну, разве что ради вас...

На нашей улице перед каждым домом палисадник; вдоль тротуара живой изгородью разрослась ночная красавица, по большей части красная, но попадается и желтая. Он сорвал красный цветок с плотно закрытыми лепестками и положил мне на ладонь.

— Видите? Вот и вы такая же замкнутая...

Колоссальное заблуждение! На фабрике и в Союзе рабочей молодежи меня любили как раз за то, что я всегда открытая и веселая. Не было случая, чтобы мне не удалось растормошить, кого захочу. Просто мне казалось, что рядом с таким умным человеком лучше поменьше говорить.

После обеда я отгладила свое белое платье; я надевала его раза два, но оно еще было как новое, только

помялось немного. В самом начале седьмого я подходила к кондитерской. Увидев меня, он вскочил, поцеловал мне руку и снова как-то особенно взглянул на меня — так, что я перестала жалеть о времени, потраченном на глажку.

Возвращались мы в полночь, улица была безлюдной и темной; шли не торопясь, он держал меня за руку и говорил — не о себе, а обо мне и о том, что встреча со мной означает коренной переворот в его жизни, в работе. Фиалки раскрылись; в темноте я не видела их и наугад провела ладонью по их головкам: цветы были холодные и влажные от росы. Я сорвала один и протянула ему.

— Вот, пожалуйста, сейчас он раскрылся.

Он взял у меня цветок, поцеловал его, потом поцеловал и меня, прямо там, где мы стояли, на тротуаре; он был не намного выше меня и, как я уже говорила, несколько полноват; я чувствовала, что моя грудь крепче, чем у него. Он тоже чувствовал это и положил на нее свою руку.

В тот момент я о многом успела подумать. Во-первых, Колизей, я никак не могла представить себе ничего прекраснее. Затем перед глазами у меня возникла сцена в ресторане, когда он после каждого кусочка спрашивал: «Вам нравится?» — и все порывался заказывать новые и новые блюда. Наконец я вспомнила, что если следовать советам Рози, то ничего подобного я сейчас не должна была ему позволять. К своему изумлению, я обнаружила, в какое дурацкое положение попала: не знаю, чего хочу, и не следую ни советам Рози, ни собственному желанию. А что может думать человек, если не видит выхода? Я сказала себе: не стоит ломать голову, по крайней мере от скуки я застрахована. Ведь я еще никогда в жизни и дня не скучала... Нет ничего отвратительнее, если человек поддается слабости и еще подыскивает своему поступку оправдания.

Он сносил все мои прихоти. Да и неудивительно. Ведь это были лишь мелкие капризы, помогавшие поддерживать иллюзию, будто у меня сохранилась воля, хотя всегда и во всем я следовала его воле. Он покупал мне все, что бы я ни пожелала. Но опять же не я сама, Рози подсказывала мне, чего желать, вообще Рози взяла на себя труд размышлять и решать вместо меня. Конечно, домой я не могла ничего приносить; все подар-

ки перекочевывали к Рози. Она уверяла, что побережет их до поры до времени, пока они мне не понадобятся. А они мне вовсе не были нужны. В работе я лепила ошибку за ошибкой, заведующий секцией уже дважды делал замечания. Но мне все стало нипочем! В той самой, в личной борьбе я сдавала одну территорию за другой и уже сдала почти все. При этом иной раз я чувствовала себя превосходно, а иной совсем скверно. Но как только мне становилось не по себе, как только наступало отрезвление и я готова была бросить все, инженер тотчас начинал жаловаться на загубленную жизнь — я и до сих пор не уразумела, как он загубил ее,— да рассказывать о своей работе, в которой я играю самую важную роль. И я чувствовала, что нужна ему, что значу для него немало и что скоро где-то подымутся огромные здания, которые без меня были бы менее прекрасными.

Во всяком случае, запомни, Геза, хоть ты еще глупый, но одно ты должен запомнить: любой путь ведет куда-то, и, если каждый день делать хотя бы по одному крохотному шажочку, рано или поздно окажешься в конце пути. Ну, вот и полюбуйтесь, как я выгляжу в конце пути! Заведующий секцией, с которым Рози была на короткой ноге, спохватился, как бы не остаться в стороне. Вызвал меня к себе — я думала, последует третий выговор, потому что для него было достаточно причин. Но вместо нравоучений он принялся тискать меня. Я заявила, что не потерплю, мол, вольностей. На это он ответил, что в таком случае я вылечу с фабрики, и так сжал мне руку, что синяк держался несколько дней. Рози не удивилась. Больше того, она словно ждала, что я стану жаловаться. Тогда еще я не знала почему. Она втолковывала мне, что с обстоятельствами надо мириться и постараться обернуть их в свою пользу. Жаловаться бесполезно. Во-первых, я ничего не могу доказать. Во-вторых, даже если бы и могла, что из того? Ну, покритикуют заведующего, тот даст обещание впредь не допускать подобного, но в конечном-то счете ведь он, а не кто другой, останется надо мной начальником, и, стоит ему захотеть, он превратит в ад мою жизнь на фабрике. Я вспомнила холодные серые глаза заведующего и поняла, что ждать добра от него не приходится.

Инженер уехал в Бухарест, в министерство. Он получил большую премию и обещал привезти мне какой-то

необыкновенный подарок. Мы скучали вместе с Рози, когда встретили тебя. Еще немного, и ты смог бы покутить вместе с нами: Рози в тот день продала один свитер из подаренных инженером, потому что, как объяснила она, мне он был не к лицу. Не знаю почему, но та ночь мне казалась прекрасной. И ты не думай, что я радовалась, когда Рози решила оставить тебя с носом.

К тому времени, как вернуться инженеру, меня дрожь пробирала при одном только виде заведующего; я не знала, куда деваться от его приставаний. В таком состоянии я и уступила последнюю территорию. Три дня подряд я бывала на квартире инженера. Меня радовало, что он счастлив. Рози, разумеется, знала обо всем; потом оказалось, что и заведующий тоже в курсе. Как-то, наклонившись ко мне, он прошипел: «Катица, со мной вам будет не хуже. Теперь шутки в сторону, извольте прийти, куда скажу». В тот день я опять пошла к инженеру. Он сидел за столом с каким-то худосочным прыщавым приятелем, и, едва переступив порог, я увидела, что он мертвецки пьян. Вместо приветствия я услышала: «В который раз ты сюда пожаловала, душечка? В четвертый? Ко мне женщина может приходить только три раза — после я сыт ею по горло. Но уж если заявилась, садись». Я выбежала в подъезд, оттуда на улицу. Меня то знобило, то бросало в жар. Весь мир казался мне враждебным, да и я была ему чужая. Я не выбрасывала ночных рубашек в мусорный ящик на углу улицы Янку. Уже третий день они лежали у Рози, а может, она успела сбыть их, потому что они мне были не к лицу... Но лучше бы они были со мной, чтобы я могла их выбросить, мне нужен был какой-то жест, означавший, что всему конец.

Сегодня пошел десятый день с того вечера. На фабрике я больше не появлялась. За это время я уладила все свои дела. Завтра после полудня скорым уезжаю в Себен, поселюсь там у тетки, она вдова, своих детей у нее нет. Постараюсь начисто забыть все, только не знаю, когда мне это удастся.

С приближением сумерек краски леса поблекли. Понизу расползались серые тени. С опавшей листвы, с вороха мертвых сучьев исчезли отблески солнца, лишь наверху, в редеющих кронах нет-нет да вспыхивала оди-

нокая веточка. Я боялся пошевелиться, мне казалось, если я замру, эта глубокая тишина, которая, сливаясь с намокшей землей, вбирала в себя немые деревья, постепенно поглотит и меня. Все услышанное так не вязалось с этим безмолвным лесом, с моей жизнью, с жизнью Кати. И тем не менее это было! И четверо уже знали об этом — в подробностях, а мне, пятому, суждено было узнать только потому, что я не имел с ними ничего общего. Для Кати я был родственной душой, понимающим ее язык соотечественником, которому можно рассказать о приключениях, пережитых в чужом краю. Словно едкой кислотой обожгли мои обнаженные нервы, хотелось хоть что-то сделать, не бездействовать, но я был бессилен повернуть вспять течение событий, и боль все сильнее захлестывала меня.

— Ну, что же ты,— воскликнула Кати,— ахай, ужасайся! — Она снова прикорнула там, где прежде согрела местечко: облокотилась о мои колени, уронила голову, так что волосы закрыли лицо.— А я пока погреюсь. Обними меня покрепче за плечи...

Она говорила сердито, но и с некоторым кокетством, как женщина, уверенная в своей власти, словно наперед знала, что в конечном счете важна только ее воля; потом вдруг Кати разрыдалась, и я почувствовал ее слезы сквозь ткань брюк. Темные силуэты деревьев медленно наступали на нас, небо же отдалилось, стало прозрачным, словно хрупкая ледяная корка подернула чистые воды. А тишина была рядом с нами, словно третье живое существо, но не вторгалась в наши души. «Чего она ждет от меня? — мучился я.— Помощи? Но чем я могу помочь ей?» Меня потрясло известие, что она уезжает, потрясло больше, чем все остальное. После долгого молчания я сказал, хотя хотел сказать совсем другое:

— Значит, завтра ты уезжаешь...

— Да,— ответила она.— Решено окончательно.

— Значит, все, что выпало на мою долю,— тот вечер и сегодняшний день.

Она вскинула голову, отвела назад волосы, она уже не стеснялась слез и вытирала их, но они все текли и текли по бледному от напряжения лицу. Словно угасающий закат торопил ее, Кати поспешно оглянулась, потом еще раз, а затем посмотрела мне прямо в лицо, словно искала ответа на какой-то вопрос, на который она себе уже отве-

тила. Она сунула мою руку под плащ, под легонькое платьице, положила ее себе на грудь, словно только там и было ее место. В сырой лесной тишине послышался шепот:

— Почему «все», почему? Ведь я еще здесь... Не бойся, сюда никто не придет. Тогда, пожалуй, мне легче будет уехать, сердце будет болеть за тебя, а это — уже настоящая, человеческая боль, в которой есть смысл.

Я ощущал ладонью нежное, детское тепло. И боялся. Боялся, что она хочет этого только ради меня и что потом сама же будет из-за меня страдать. Я ничем не мог помочь ей, абсолютно ничем, и боялся, что этого чувства, этой парализующей беспомощности я и без того не в силах буду побороть. Я убрал руку с ее груди, поднес к лицу, чтобы почувствовать запах Кати, и выдавил из пересохшего горла:

— Пошли, Кати.

Взявшись за руки, мы обогнули пустые вольеры, пахнувшие ржавчиной, и вышли на дорогу. Отсюда уже виднелись, то пробиваясь сквозь ветви, то пропадая в листве, огни ресторанчика; на окутанных темнотой тонких стволах повисли клочья тумана. Города мы не видели, хотя и чувствовали его далекое бесшумное дыхание. Что же было с нами и что ждет нас обоих? Была дождливая осенняя ночь и быстро промелькнувший октябрьский день, а впереди, пожалуй, не было даже этого — одна пустота. И прошлое и будущее могло лишь усугубить наши страдания. Почему же мы еще вместе, ведь наша близость с каждой минутой становится все невыносимее. словно мы уже простились, но, повинуясь безмолвному уговору, решили не бежать от этого страдания, а по капле испить его. Мы нарочно не торопились, так что темнота успела захватить поле, прежде чем мы оказались на опушке леса.

III

Все осталось прежним, даже солнечный луч так же вспыхивал на коре березы. И я не знал, изменились ли мы сами.

Кати продолжала:

— Меня еще никто не спрашивал прямо, что со мной. И не потому, что... Просто все знают. Наверное, и вам тоже известно...

— Ничего мне не известно,— буркнул я.

— Тогда я скажу, здесь нет секрета. С таким же успехом вы могли бы спросить у кого угодно в поселке или в деревне... любой расскажет. Самая банальная история.— Она попыталась стянуть на груди ворот платья, спиной повернулась к ветру и уже не смотрела на меня.— У моего мужа кто-то есть. Не в первый и, наверное, не в последний раз.

— Случается...

— Знаю. Но я больше, чем иные женщины, хотела, чтобы со мной этого не случилось. Ведь одно связано с другим — просто я для него ничего не значу.— И медленно добавила: — Можете себе представить, как тяжело об этом говорить...

— Тогда не надо,— сказал я.— Ведь я всего-навсего любопытный прохожий.

— Нет, я чувствую, что за человек передо мной. И меня не интересуют любопытные прохожие. Я будто в пустоте. Муж, когда со мной, за целый день не проронит ни слова, а ведь по натуре он человек веселый, общительный.

— Но почему?

— Если бы я знала... Три года назад у нас родилась девочка, но не выжила, умерла крошкой. Тогда на какое-то время Карой изменил своим привычкам: вне дома он ходил мрачный, убитый, а при мне пел и насвистывал. Я думала, что навсегда возненавижу его за это, а потом поняла, что он не может иначе, что он обязательно должен дать выход своему жизнелюбию.

— Если оно у него сохранилось. Не каждого в таком положении распирало бы от жизнелюбия,— сказал я.

— Кароя приходится принимать таким, каков он есть.

— Только даже вы не в силах сделать это.

— Наоборот, это он меня не принимает. Мне и сейчас часто вспоминается малышка, и, хоть вой, сердце разрывается. Поначалу я плакала иногда, но Кароя это раздражало: «Ну, в чем дело, разве жизнь остановилась, не идет больше вперед? И ты собираешься вечно лить слезы?» Видимо, он был прав.

Какое-то время она бездумно смотрела в землю, потом подняла глаза на меня:

— Я не сказала вам ничего такого, чего бы вы не

могли узнать от других. Люди говорят еще, что, по всей вероятности, виновата я. Да и сама я не могу думать иначе. Карой очень ценный работник. Все предприятие держится на нем, директор за ним как за каменной стеной. А он никогда не устает, сколько бы ни работал. И если бы вы знали, какой он обаятельный — за пять минут любого может очаровать.

— Зато и очарование его длится не более пяти минут.

— Напрасно вы так думаете! Люди его любят. На него никто не может долго сердиться; трудно объяснить почему, но это так. И я все это вижу и знаю... Так отчего же наша жизнь не сладилась? Ведь вначале все было прекрасно! Вывод один: наверное, я ему не пара. И не понимаю я его, и постоянно-то я ему в тягость...

Женщина говорила очень тихо, ее слова уносил с собой студеный ветер, и казалось, что они, будто серые перышки, летят к калитке. «Она очень любит этого человека»,— думал я. Коротко стриженные белокурые пряди теребил ветер, рвал синее платье, и внизу, в слякоти, казалось, дрожали от холода маленькие светлые туфельки. Я вспомнил, как утром в павильоне, где шел монтаж, мы слышали шуршание влажных песчинок, ударяющихся о стекло. Точно так же дул ветер, я не чувствовал его в помещении, но думал, что там, во дворе, он обрушивается на беззащитную женщину. Женщина — так называл я ее. Тогда она была для меня безымянной, но не чужой. Мне казалось несправедливым, что эту хрупкую женщину бесцеремонно стегает ветер, а я укрылся за стенами. Теперь мы оба стояли здесь, по разные стороны забора, и ветер с одинаковой силой обрушивался на нее и на меня. Но я был одет теплее, чем она. Я снял с себя кожаную куртку — под ней был еще свитер — и протянул через забор.

— Пожалуйста, набросьте на плечи.

— Мне не холодно.

Но куртку все-таки взяла; должно быть, не желая меня отталкивать. Поправила ее на плечах; сейчас лицо женщины казалось еще более поблекшим.

— Да, тут возникает много вопросов,— сказал я.

— Догадываюсь, что вы имеете в виду.

— То есть?

— Эти вопросы слишком очевидны.

— Ну, например.

— Например, почему мы не разведемся, почему я не иду работать и что мне мешает поговорить с директором, с партийным секретарем, наконец, и тому подобное. Верно?

— Нет,— ответил я.— Ни директор, ни партийный секретарь не могут прибавить кому-то человечности, заставить кого-то полюбить или разлюбить. Развестись, конечно, можно, и пойти работать тоже можно. Если бы в этом был выход, вы бы, наверное, давно так и поступили. Можно написать в жалобной книге, что котлета была несвежей, и, пожалуй, замечание ваше примут к сведению. Но нашу единственную жизнь, которую мы хотели бы наполнить прекрасным и чистым, это прихотливое, тонкое кружево не залатаешь с помощью жалобной книги. И я бы прежде всего спросил, хотя и предвижу ответ: чего не хватает в вашей жизни?

— Трудно было бы перечислить.

— Этого я и не жду. Только говорю, что спросил бы.

Против воли я взглянул на нее немного сердито, она в ответ удивленно улыбнулась.

— Господи, какое же это облегчение вот так отвести душу, даже если вы сердитесь. Хотя нет, это недопустимо, чтобы я еще и вам причиняла заботы. Вы знаете, я всегда работала, чуть ли не с детства, руки у меня ловкие, всего с полгода просидела дома. Я ведь долго болела.

«Она становится общительнее и даже не замечает, как на глазах преображается,— думал я.— А ведь она меня не узнала. Трудно поверить, до чего человек может стосковаться по живому слову, по собеседнику. А как она спешит выговориться! Словно ждет, что я вдруг повернусь и брошу ее тут, у забора. Словно не уверена, дождусь ли я следующей фразы. Но почему? Почему? Неужели она считает за честь для себя, когда кто-нибудь окликнет ее через забор?» Локти, на которые я опирался, онемели. «Завтра положу еще кирпич, тогда будет удобнее»,— подумал я. И больше не перебивал Кати, теперь она говорила без пауз, но я едва разбирал о чем. Порой, когда она опускала голову, я видел ее белый затылок, ветер перебирал мягкие пряди волос. Медленно спустились хмурые сумерки, в зеленоватом холодном небе, налезая друг на друга, неслись облака. Ветер подул еще сильней. Словно очнувшись от какого-то дурмана, Кати протянула мне куртку, кивнула на прощание и

ушла в дом. Я тоже вернулся к себе. В печке горел огонь; я включил радио, разложил чертежи, записи, но работать не мог. Меня словно душил самый воздух комнаты. Я коснулся кожаной куртки: изнутри она как будто еще хранила тепло Кати. «Я узнал ее по глазам,— думал я.— Тогда, давно, по жесту, теперь по глазам. Глаза и сейчас красивы». Затем я вспомнил о Карое Печи, словно о каком-то предмете, кукле или картине. «Он живет инстинктами, не ведая ни угрызений совести, ни страданий, с удовольствием барахтается в собственных недостатках, как свинья в луже». Наверное, я не имел права так думать; а когда я вспомнил, что Кати его любит, я даже огорчился, что по-другому думать не могу. За окном, не переставая, выл ветер.

Ночью, когда Коша вернулся домой и заглянул на огонек — выпить рюмку навевающего сладкие сны коньяку, я встретил его вопросом:

— Скажи, что, по-твоему, значит для человека вера в себя?

Коша был вконец измотан, он устало взглянул на меня, еще не решив, выпускать ли из рук портфель. Даже мой вопрос не встряхнул его.

— Ты предупреждай, если планируешь серьезный диспут,— сказал он.— Правда, конспекты составлять я все равно не буду, но по крайней мере усядусь поближе к печке, поставлю рядом бутылку и, милости просим, к вашим услугам: черпай из моих познаний, сколько душе угодно.

— Сейчас ты отправишься спать. Только ответь: какую роль в жизни человека играет вера в себя, как по-твоему?

— Так же, как и по-твоему. Целиком согласен с тобой.

— Спасибо, Банди. Но что она значит по-моему?

— Какого черта?! Все значит, по крайней мере очень много: без веры в собственные силы жить невозможно... А почему этот вопрос на повестке дня?

— Неважно,— ответил я.— Не имеет значения. Просто мне подумалось, что, если женщина вынуждена чувствовать себя человеком неполноценным и к тому же кто-то убеждает ее, что она лишена даже женского обаяния, у нее мало остается шансов за что-нибудь зацепиться. Всем нам необходимо сознание, что людям не безраз-

лично, живы мы еще или перекинулись. Какой-нибудь еж не задается подобными вопросами, для него жизнь — нечто само собой разумеющееся; но человек мыслит, и определенные вещи ему необходимо сознавать, чувствовать. Стоит убить в ком-то веру в себя, и ты наполовину убьешь этого человека.

Коша повертел в руках рюмку, кашлянул и вдруг испытующе глянул на меня:

— Я уже взбодрился. Хочешь, продолжим тему? До утра?

— Нет. Приятных сновидений, Банди. Оставь дверь открытой, пусть выйдет дым.

Коша направился к двери, пнув по дороге мои грязные сапоги. На пороге он обернулся:

— То, о чем ты говорил, при коммунизме будет караться, как изъятие веры в себя.

— Жаль, что не карается уже сейчас.

— Но... Мы ведь не поступаем так, правда?

— Надеюсь.

— Если увидишь, что я затеваю нечто подобное, плюнь мне в физиономию.

— С радостью.

Ворвался ветер, погнал по комнате табачный дым, прошуршал сваленными на шкафу газетами. В печке пылали буковые поленья. Снаружи уже сгустился мрак, пришла ночь, наполненная шумом ветра, отблесками далеких огней, скрипом редких телег на шоссе. И казалось, будто Кати и сейчас стоит во дворе, стоит и ждет, когда кто-нибудь окликнет ее.

Я отыскал в сарае несколько целых кирпичей. Выбрал два и уложил один на другой около самого забора.

— Что это вы вдруг выросли? — спросила Кати.— Встали на что-нибудь?

— Да. Подложил два кирпича.

— Два кирпича,— испуганно повторила Кати.— Но из-за меня... Я уж боюсь выходить во двор.

— Если хотите, я не стану вам мешать.

— Мешать? Напротив. Я только подумала, что из-за меня не стоит терять время. У вас наверняка много дел.

— Много, но я с ними управлюсь. Стоять здесь совсем неплохо, а теперь еще и удобно. Вот, смотрите: я облокачиваюсь — и прямо как в ложе.

— А мне как-то странно смотреть на вас снизу.

Скорей, должно было показаться странным, что я вообще здесь стою. По шоссе непрерывным потоком шли машины, и сквозь их грохот мы едва слышали друг друга. Разговаривали мы, наверное, минут двадцать, но вчерашнее настроение не возвращалось, видимо из-за шума. В конце концов мы простились, ни словом не обмолвившись насчет того, что, когда захотим, снова сможем поговорить вот так, через забор. Но вероятно, оба думали об этом.

На следующий день я довольно поздно вернулся с работы, затолкал мотоцикл в сарай, умылся и сразу же направился во двор; что-то слишком рано появилась у меня эта привычка. Как только я взобрался на кирпичи, Кати появилась на террасе. «Значит, наблюдала из окна,— подумал я.— Ждала». Мне припомнилось, как с утра я велел Юци, чтобы днем она натаскала дров в комнату ко мне и к Коше, припасла растопку, а затоплю я сам, когда пожелаю. Тогда я еще сам не понимал, зачем мне это понадобилось, но сейчас сомнений не было: я не хотел, чтобы Юци проходила мимо нас.

Кати сошла с террасы, за ее мятое синее платье тотчас взялся ветер. Посередине двора в слякоти ранних оттепелей мокли посеревшие стебли укропа; видимо, в первый год здесь пытались все-таки разбить какие-то грядки. Кати приближалась, как обычно, будто ее никто не ждал: с опущенными руками, вяло и нерешительно. На светлых давно не чищенных туфлях по-прежнему присохшая грязь.

Едва я повернул голову, чтобы бросить взгляд на калитку, как коротко стриженные белокурые волосы оказались у моего лица.

— Что это? — удивился я.

— Ящик из-под минеральной воды,— торжествующе ответила Кати.— Я поставила его еще днем. А вы и не заметили?

— У меня не было возможности...

Вблизи лицо ее выглядело не белым, а каким-то лишенным красок, что ли. Под глазами от постоянных внутренних мук залегли тени. Голос ее при последних словах вновь зазвучал неуверенно; она все еще не могла избавиться от страха, что я сию минуту спрыгну с кирпичей и поверну к дому, бросив ее у забора. Я улыбнулся ей, но

меня неотступно терзала мысль: «Господи, во второй раз я встречаю ее совершенно сломленной и опять не в силах ей помочь».

— Сегодня как будто бы не так холодно,— заговорил я.

— Да, ветер повернул в другую сторону. Сейчас он дует от вас.

— Передвиньтесь чуть вправо, тогда я вас заслоню.

— Вам трудно будет стоять.

— Не беда.

Я снял локти с забора, Кати ухватилась за верхнюю доску и с робким ожиданием посмотрела на меня.

— Почему вы так смотрите? — спросил я.

Кати ответила лишь после долгой паузы:

— Я не знаю, как я смотрела. Вы можете мне сказать?

— Если не знаете, значит, неважно.

Я почувствовал, как меня душит ярость, словно меня самого несправедливо лишили чего-то. Позади, у колодца, ветер раскачивал висящее на короткой цепочке ведро, иногда оно ударялось о сруб, и глухое позвякивание тотчас уносил тугой ветер. «Если б она показала мне облака,— думал я,— я вмиг согласился бы, что вон то облачко походит на слона. Но ей уже не околдовать одним движением пальца. Никого она больше не может околдовать — она утратила свое волшебство. И это не закономерно и не естественно. Естественнее было бы, если б она легко, с беспечным смехом скользила по жизни и уважение и чистота неизменно сопутствовали ей. Она рождена, чтобы сделать кого-то счастливым. Но не для того, чтобы уныло брести сквозь уходящее время и медленно, неотвратимо терять все, что было в ней хорошего». Я взглянул ей в глаза; взгляд испуганного зверька снова пронзил меня, как укол иглы. Внезапно я подумал, что моя жизнь, над которой я никогда не размышлял, должно быть, прекрасна, потому что я никогда и ни на кого не смотрел так. Мои боль и муки были совсем иного рода — естественные, человеческие: я знал, за что и ради чего я переношу их.

И было очень обидно, что моя жизнь прекрасна, а ее — нет. Ведь, кажется, мы одновременно отправились навстречу жизни восемь лет назад от сумрачных деревьев фазанника, мимо опустевших вольеров с едким запа-

хом ржавчины. С того самого дня я считал себя взрослым, потому что познал страдание. Мы отправились одновременно, но не вместе. И куда нас прибило?

«Надо убедить Кати, что ее волшебство не иссякло, что она по-прежнему может распоряжаться своей чудодейственной силой,— думал я.— У каждого человека есть своя чудодейственная сила. А у Кати ее уже нет. Прежде она была трепещущая, живая, как лепесток цветка, сейчас от волос ее исходит запах непроветренных комнат».

— О чем вы задумались? — спросила Кати.— Или это,— добавила она робко,— не имеет ко мне отношения?

— Почему вы так думаете?

Она пожала плечами.

— Тогда скажите.

— Прежде я часто спрашивала у Кароя, о чем он думает. И он всегда отвечал, что это не имеет ко мне отношения.

— Должно быть, он думал о деревообрабатывающей промышленности. Я же, пока вы со мной, не ломаю голову над техническими проблемами.

— А над чем?

— Хватает другого. Вот, к примеру, смотрю на вашу руку и думаю: какая она маленькая рядом с моей. И наверное, ей холодно.

Я забрал в свою руку ее кулак, словно яблоко. Непроизвольно закрыл глаза, и на мгновение меня охватило очень знакомое чувство: будто ветер пригоршнями бросает мне в лицо прохладный и частый осенний дождь. Пальцы Кати смущенно дрогнули, однако кулачок остался в моей ладони. Когда я открыл глаза, Кати, отвернувшись от меня, пристально разглядывала холм. У самого его подножия, сразу же за забором, виднелись связанные пучками прошлогодние стебли кукурузы, чуть выше — кусты шиповника и орешника, а совсем наверху, почти на самом гребне,— голая молодая буковая рощица. С холма нас можно было увидеть. Но с улицы — нет, разве только кто откроет калитку.

Я выпустил ее руку. Нас разделял забор — грубые, неструганые сосновые доски, еще не высушенные ветром и солнцем,— и, пока мы говорили, я иногда забывал о нем на минуту-другую. Больше говорила Кати, говорила так, словно боялась молчания. С подробностями, вызывавшими жалость, она рассказывала, за что полюбила Кароя

Печи, которого в то время — кто знает почему — понизили в должности. Простым служащим вкалывал он на мельнице в Себене. Но для Кати он мог бы быть и метельщиком. Она любила Печи, из любви вышла за него замуж, оторвала от собутыльников и своими маленькими руками подняла до уровня тех, кто знает, что нельзя попусту транжирить жизнь. Любил ли Печи ее или просто она была нужна ему, этого я не смог понять. Думаю, что не любил, во всяком случае не так, как Кати его. Потому что, когда дела Печи снова поправились, их согласие в тот же момент распалось.

— Я и после всегда старалась, чтобы ему было хорошо,— продолжала Кати.— Мне бы хватило и крохотной радости от сознания, что я могу что-то дать; но он, не дожидаясь, все брал сам. Я любила и не знала, куда деваться со своим чувством, потому что ему оно вовсе не нужно было, не нужно было, чтобы я его любила. Сначала ему нравилось, что я восхищаюсь его способностями; потом я заметила, что и это ему безразлично, как бы я его ни боготворила. Конечно, это было еще не самое страшное. Однажды я зашла к нему на работу и сквозь приоткрытую дверь увидела, как он возится в своем кабинете с какой-то женщиной; один стул уже валялся на полу, на моих глазах они сбили второй... и женщина заливалась смехом.

«Зачем я позволяю ей говорить? — спрашивал я себя.— Ведь я все это знаю, словно слышал уже сотни раз. Но она, пожалуй, еще не рассказывала своей истории никому и радуется, что наконец может выговориться».

Кати прищурилась, словно вглядываясь в себя, губы ее сжались в тонкую ниточку; ей было стыдно, что приходится плохо говорить о человеке, которого она все еще любила. Или она стыдилась своих чувств? Как бы то ни было, она торопливо продолжала:

— Когда я увидела, что бессильна изменить нашу жизнь, у меня появилось ощущение, будто все на меня смотрят. Охотнее всего я бы вообще не высовывала носа из дома. Теперь-то я уже не задумываюсь над подобными вещами, должно быть отупела; пусть смотрят, сколько душе угодно. Но дурное настроение не оставляло меня, потому что люди очень странные существа. Посудите сами. Когда они встречаются со мной, они все-таки вынуждены заговаривать, ведь в конечном счете мой муж —

один из руководителей предприятия. Но как они говорят! Один сверх меры предупредителен, другой — кто знает почему — злорадствует, третий меня жалеет. И все стараются держаться непринужденно, а что из этого получается, лучше не вспоминать. «Ну как, молодая хозяюшка, отовариваемся, запасаемся продуктами? Вот и молодцом!» — Кати подняла брови и скроила сладкую мину; меня поразила подвижность ее черт. Голос ее стал резким от горечи.— Однажды,— продолжала она,— Продан, начальник заводской узкоколейки, буквально гнался за мной по улице, наверное, тоже хотел мне добра: «Не убегайте, дайте я возьму вас под руку, пусть-ка ваш муж поревнует немножко, ха-ха!» Как вы думаете, что это? Обычная глупость? Нет. Люди тянутся к тому, что нормально. А что ненормально приводит их в смущение, стесняет, можно сказать, испытывает их способность к приспособлению.

Она ждала, не возражу ли я, но мне нечего было сказать. Я думал о том, насколько другой могла бы стать эта женщина при других обстоятельствах.

— Все это я понимаю,— продолжала она тихо.— И никого не хотела ставить в неловкое положение, вот и оказалась совсем одна. Но знаете, что меня все-таки задевает? Что даже на эти глупости люди идут не ради меня. Даже в этой жалкой ситуации их любезность адресована не мне, а моему мужу.

— С чего вы взяли?

— Знаю.

— Не внушайте себе, что в людях нет ничего хорошего, ни капли сочувствия...

— Ничего я себе не внушаю,— нерешительно отозвалась Кати.— Я просто убеждаюсь на опыте. Уже долгое время я не делаю выводов иным путем. В начале замужества я не слишком-то задумывалась над окружающим меня. Тогда я только верила, мечтала, фантазировала — и что мне за дело было до фактов; но в конце концов факты одерживают верх. Жизнь состоит из фактов. И теперь я уже не верю, не воображаю и не мечтаю, а просто сужу по собственному опыту.

— И вам так легче?

— Я не говорила, что это легче. Мне постоянно кажется, будто я испытываю жажду. И что-то я потеряла, знаю, но что именно — сама не пойму.

Я бы мог ей сказать что! Ведь это она показала мне, что ночью мокрый асфальт похож на черную водную гладь — озеро или спокойное море с огнями далеких кораблей. Она открыла мне глаза, а сама больше не видит.

— Только будьте осторожны при истолковании опыта,— сказал я.— Тут можно здорово промахнуться.

— Например?

— Например, я не имею ничего общего с деревообделочным комбинатом. У меня нет ни малейшего желания подольститься к вашему мужу. И все-таки мы стоим здесь.

Тут я впервые заметил искру недоверия в ее глазах. Сейчас, когда в нашем разговоре главным были не факты, лежащие на поверхности, а что-то более глубокое, ее охватило сомнение. Ведь я действительно только ради нее торчал у забора. Наши встречи не доставляли мне радости, а если и доставляли, то слишком потаенную, которой я даже не чувствовал. Я чувствовал только боль — как и при нашей давнишней встрече,— и ничего больше. Я ежедневно выстаивал свое время у забора, потому что знал: Кати необходим такой человек, как я.

Она молча, в упор смотрела на меня.

— Почему вы молчите? — спросил я.— О чем думаете?

— Не хочу вас обидеть,— тихо ответила она.— И потом... мне было бы приятнее поверить...

Я бережно взял ее руку, поцеловал и снова почувствовал, что она готова отдернуть ее и все-таки не отдергивает. Медленно я касался губами каждого ее пальца.

— Это следовало сделать еще при первом знакомстве,— сказал я.— А теперь ступайте домой, холодно.

Я провожал ее взглядом, пока она поднималась на террасу. И какое-то странное безразличие вдруг охватило меня. Редко испытывал я подобное. Сейчас безразличие это, наверное, было вызвано тем, что незаметно для себя я миновал распутье и мне уже не нужно было задумываться, в какую сторону повернуть.

Каждый раз, как я возвращался с работы и останавливал свой мотоцикл у калитки, в окне соседнего дома чуть колыхалась занавеска — еле заметно, словно тронутая легким дуновением. Это стало такой же неотъемле-

мой подробностью моего возвращения домой, как скрип калитки или хруст щебенки у меня под ногами.

В тот момент, когда я выключал зажигание, я физически ощущал, как гнетущая тишина обволакивает меня, липнет к коже. Здесь все вокруг, несмотря на суматошное движение по шоссе — тарахтение тракторов и грохот грузовиков,— казалось уснувшим. А в двух километрах отсюда, на рабочей площадке химкомбината, воздух дрожал от щелканья пневматических молотов, визга цепей, лязганья железа, гула машин, свиста паровозов, скрежета, криков, ругательств. Повсюду, на каждом метре, продуманно и согласно двигались гигантские трубы, цистерны, детали громоздких механизмов и крохотных приборов. Ритм большой стройки был, возможно, резким, но и полным жизненной силы, напряженным и плодотворным. Здесь же, за забором, всякое движение замирало, и этот контраст напоминал мне о том, что грохот преобразований еще не раздался в наших сердцах, что люди меняются не так стремительно, как окружающий их мир. И хотя покой я тоже люблю, шум стройки мне больше по душе, нежели эта замкнутая в себе тишина. Колыхание занавески я странным образом воспринимал как мелодичную ноту, звучащую в ней.

Иногда ко мне заходили друзья, товарищи по работе, и мы всей компанией отправлялись в ресторан, в кино или клуб. Мы жили, как люди, которые повсюду дома и все-таки не имеют дома нигде. Случалось, мне приходилось задерживаться на комбинате или к вечеру вновь катить на мотоцикле на собрание, беседу или заканчивать недоделанное с утра. Теперешний химкомбинат был уж не первым объектом, где я работал, тут меня считали опытным специалистом, и потому приходилось вкалывать на совесть. Здесь не позволяли себе транжирить мое время на работу, которую мог бы выполнить любой практикант из ремесленного, и мне это нравилось. Главный инженер Панаитеску любил меня, наверное, именно за то, за что на первом комбинате терпеть не мог Борош. Но как бы я ни был занят, как бы ни был заполнен мой день, я, не отдавая себе отчета, постоянно ждал тех коротких минут перед сумерками, когда мы, разделенные забором, протянем руки и улыбнемся друг другу.

Мы никогда не уславливались о встрече заранее. Когда подходило время, оба, не сговариваясь, шли к забору

и взбирались на кирпичи или ящик из-под минеральной воды. Если в этот час мне случалось находиться вне дома, я знал, что она дежурит у окна, и тревожился ее напрасным ожиданием. В кабинете Панаитеску, который принадлежал ему временно, как и мне моя комната, на шероховатой беленой стене я видел фигурку Кати, стоящей во дворе: ветер треплет ей волосы, рвет платье. В эти минуты я отдыхал. Иногда и я ждал зря: Печи вдруг оставался после обеда дома. Я бесцельно слонялся по террасе, прекрасно зная, что жду напрасно, и наконец с чувством странного облегчения возвращался в комнату; невольно я приходил к убеждению, что вовсе не так уж легко давались мне встречи с Кати, иначе бы я испытывал досаду. Я просто не мог считать наши встречи развлечением.

Наступили более теплые дни, сумерки не спеша опускались на землю. Теперь густая серая тьма заполняла голые дворы гораздо позднее. И мы не спешили, как прежде, будто уверенные, что у нас очень много времени, а значит, нужно экономить слова, чтобы осталось и на следующий раз. Но иногда мы почему-то лихорадочно торопились высказать все, что приберегли друг для друга, словно боясь, что больше никогда не встретимся. Все явственнее вырисовывалась передо мной состоящая из едва различимых частичек жизнь, которая иссушила Кати, превратила ее в собственную тень. Хотя Кати рассказывала бессвязно: ее больше занимали пестрые, мимолетные впечатления, каждое из которых вырастало в отдельную историю.

Во время разговора я часто прислушивался, не открывается ли калитка. Уже дважды Печи приезжал домой раньше времени, и мы расходились, даже не попрощавшись. Оба раза мы первыми замечали его, и все-таки я тревожился. Кати поняла мое беспокойство.

— Калитка безбожно скрипит,— сказала она.— Надо бы смазать, но я и не подумаю. И потом Карой почти всегда приезжает на машине; вот и сегодня, если не ошибаюсь, он уехал в город...— Она бросила взгляд в сторону калитки и повторила: — И не подумаю смазать.

Только так, едва заметно, вспыхивала в ней на секунду ее прежняя живость. И это было мое крошечное завоевание.

Но однажды Кати появилась не в обычном своем мятом синем платье, а в коротком светло-зеленом, прите-

гающем в талии; чуть застенчиво прошла она по уже наметившейся тропке к забору. Кати все еще была на редкость обаятельна, и только тут я заметил, какая у нее плавная, красивая походка. А когда она встала на ящик из-под минеральной, я ощутил едва уловимый аромат свежевымытых волос.

Уже довольно долго я бился, стараясь внушить Кати, как много она для меня значит. Любой ценой стремился я сделать это, единственное, что было в моих силах и в чем, по моему мнению, она нуждалась. Кати же всячески старалась показать, как мало она мне верит; она действительно не верила, однако ей очень хотелось, чтобы я разубедил ее. Наверное, все еще действовала какая-то инерция, инерция осторожности, недооценки собственных сил, боязни разочарований, да, пожалуй, и трусости тоже, которая — уж не знаю откуда — появилась у Кати; должно быть, частые поражения лишили ее опоры, закрутили в вихре, как ветер песчинку. Я трезво взвесил подмеченные мною симптомы, проследил и открыл этот закон инерции, и теперь вполне сознательно боролся против него. Так возникло элементарное прямолинейное движение, которого я — инженер по профессии — как раз и не рассчитал: если я не хотел отступать, то вынужден был идти только вперед. Не мог же я допустить, чтобы Кати утвердилась в мысли, будто была права, когда не верила мне, и что все мое поведение до сих пор было притворством. Каждое мое слово, вызывавшее в ней сомнение, требовало от меня новых, более веских слов. Здесь тоже существует закономерность. Если мы бьем по гвоздю и он не входит в дерево, мы либо миримся с тем, что напрасно трудились, либо ударяем сильнее, чтобы преодолеть сопротивление дерева.

Сейчас, увидев Кати преображенной, я подумал: «Насколько проще все было тогда, в лесу. Видимо, со временем искренность начинает казаться подозрительной; опыт настраивает нас скептически. А ведь должно быть наоборот! Правда, еще не вымерли подлые, низкие люди, всегда готовые на обман».

Я смотрел на пряди волос цвета осенних листьев — солнечный луч, словно играя, пронизывал их,— смотрел на свободно лежащую поверх грубых досок полную белую руку, на маленькие розовые пальцы, потом заглянул

в широко раскрытые глаза, и меня охватило смятение, я почувствовал, как кровь отливает от моего лица. Я снова подошел к какому-то рубежу, откуда надо идти дальше, потому что можно смириться с чем угодно, только не с мертвым покоем. Взгляд Кати пробивался сквозь развеянные тени и блики мягко, со скрытым ожиданием. Это выражение появилось у нее, когда она вынимала из шкафа зеленое платье и заботливо гладила его или когда сушила на солнце волосы.

— Сейчас вы шли по двору,— сказал я,— и казалось, само счастье приближается ко мне. Но я знал, что оно остановится перед забором.

— А это было совсем и не счастье, а всего-навсего я,— ответила Кати.— Счастья-то мне и самой бы ох как надо!

— Только для себя одной?

— Ну...— Кати нерешительно улыбнулась.— Я даже не знаю, может ли человек быть счастлив в одиночку.

— Исключено.

— А как было бы хорошо...

— Ничего не попишешь, здесь ничего нельзя изменить. Да вы и сами знаете: владеть счастьем можно, лишь давая его. Если же мы намереваемся его достичь, не давая, а беря, оно перестает быть счастьем, исчезает, как фея в сказке.

Кати побледнела, скорбно сжала губы. Но затем снова заставила себя улыбнуться и тихо, с наигранной легкостью спросила:

— Если бы вы действительно увидели счастье здесь, у забора, вы бы перепрыгнули через него?

Я осторожно подбирал слова:

— Вы думаете, это так просто — взял и перепрыгнул? Ведь не о кошке же идет речь. Счастье нельзя поймать, если оно почувствует, что я его стою, оно само подойдет сюда, к забору... И если счастье захочет быть со мной, его никакой забор не остановит.

Тут мне подумалось, что Карой Печи, должно быть, перемахнул уже не через один забор, наверное, гонялся за счастьем, как живодер за собакой. Интересно, много ли ему удалось урвать; был ли он по-настоящему счастлив хоть один миг, или ему удавалось достичь лишь грошовых радостей? И вообще: может ли человек быть счастлив, если он занят только собой и гребет только к себе?

Кати несколько раз прерывисто вздохнула, как малый ребенок после слез. Я поцеловал ее руку выше локтя; я не видел, лишь ощутил губами нежный золотистый пушок, который, словно солнечный луч, золотил ее кожу. Видимо, она сама не знала, чего ждет. Быть может, несколько фраз похвалы, подтверждающих, что я заметил перемену в ее облике. Но я, еще когда она носила мятое синее платье, уже сказал ей, что оно красивое, и о волосах ее тоже говорил, какие они красивые. Я давно израсходовал слова, которые стали мне необходимыми сейчас. Я поцеловал ее руку, когда я приник к ней губами, я снова подумал, что и это еще не последний рубеж, что за ним должен последовать новый.

Кати прошептала чуть слышно:

— Не верю я, поймите, не верю...

Я забыл, что сегодня у Коши выходной. Заметил я его, когда он поднимался по ступенькам террасы с сигаретой в углу рта и подчеркнуто не смотрел в нашу сторону: он и без того видел достаточно. Коша скрылся в моей комнате.

Вскоре я последовал за ним. Лежа на моей постели, Коша слушал радио, курил и стряхивал пепел на ковер. А я терпеть не могу, когда пепел стряхивают на ковер. Солнце клонилось к закату, и меня раздражал уютный полумрак комнаты, который обычно я так любил, я зажег настольную лампу. Но свет тоже раздражал. Коша, скрипнув пружинами, вскочил, ткнул окурок в пепельницу на столе. У меня не было ни малейшего желания спорить с ним. Охотнее всего я побыл бы сейчас один. Но было ясно, что спора, а может быть, даже ссоры не избежать.

Я надел тапочки, сбросил рубашку, оставшись в одной белой майке. Рубашку я повесил на плечики, зацепив их за край шкафа. Нет, меня решительно раздражал свет лампы; куда бы я ни двинулся, меня всюду опережала собственная тень, словно нахальный проныра; до сих пор я не замечал ее.

Коша без всяких вступлений продолжал свою мысль вслух:

— По долгу дружбы я буду обязан помочь тебе набить морду мужу-рогоносцу. Однако в принципе я не согласен с ситуацией!

— Ошибаешься,— сказал я.— Дело совсем в другом.

— Видел я. Вгрызался в ее руку, будто в початок вареной кукурузы.

— Меня не интересуют твои сравнения. Ты плохо смотрел.

— Никогда не жаловался на зрение. Что в таких случаях советует поваренная книга? Берем супружескую чету, жена несчастна или, во всяком случае, не удовлетворена жизнью, селим по соседству высокого холостого инженера, брюнета...

— К черту поваренную книгу! Ее составляли давным-давно, и не к чему ворошить старые рецепты.

— Этому рецепту многие следуют и поныне.

— Только не я.

— Вот как? Тогда, может быть, я?

Я промолчал. Действительно, к Коше этот рецепт не имел отношения. Он избегал замужних женщин. И вовсе не потому, что опасался осложнений,— просто уважал чужую жизнь. В этом вопросе наши принципы не расходились. И до сих пор я и не вспоминал о них, поскольку моя история была совсем иного рода. Правда, я ухаживал за Кати, но не с той целью, с какой, скажем, стал бы ухаживать за ней Коша или любой другой мужчина. В сущности, мое поведение нельзя было назвать ухаживанием: я просто старался помочь ей найти себя и избрал для этого единственно возможный путь. Не рассчитывая получить взамен ничего, кроме сознания, что поступил достойным человека образом. Но мне было необходимо именно это сознание; мне всегда было необходимо сознание, что я иду прямым, честным путем. Я над этим даже не задумывался, как над чем-то естественным и привычным; однако я немедленно чувствовал, если лишался этого сознания или еще только мог лишиться. Быть может, я заботился прежде всего о своем душевном равновесии, о спокойствии своей совести? Что ж, если твой душевный покой немыслим, пока рядом с тобой кто-то страдает, стыдиться нечего. Но у Кати был муж, и этот факт со всеми вытекающими из него — согласно поваренной книге — последствиями только сейчас дошел до меня.

Я поставил на стол тарелку, высыпал в нее из пакета печенье, водрузил рядом бутылку, где коньяку оставалось на донышке.

— Прошу,— сказал я.— Располагайся как дома. Еще должен быть где-то шоколад с начинкой, только не помню, куда я его задевал; а может, Юци съела.

— Если съела, учтем.

— Ты хочешь сказать: вычтем?

— Тоже подойдет.

— Только так и подойдет.

Коша кисло улыбнулся. У меня мелькнуло подозрение, что, пожалуй, отныне и другие будут мне вот так же кисло улыбаться. Видать, нескоро мы отучимся искать в поступках людей прежде всего эгоизм. Я закурил, нерешительно выпустил дым. Теперь уж и мне самому не казалась такой простой сложившаяся ситуация.

— Эту женщину я знаю восемь лет,— сказал я.

— Восемь лет? Ты даже не подал виду...

— Потому что тебя это не касалось. И ей самой я тоже не напомнил... Да, я знаю ее, больше того, она открыла мне, как красив бывает ночью мокрый асфальт и что вещи, природа значительнее, чем кажутся на первый взгляд. От нее же я знаю, что человеческая боль бывает двух видов. С одним из них я познакомился восемь лет назад — и тоже благодаря ей. Но и это не главное. Сейчас важно одно: эта женщина нуждается в том, чтобы кто-то вернул ей веру в себя, в свое человеческое достоинство.

— Если таковое имеется.

— А почему бы нет?

— К слову пришлось. Ведь я ее совсем не знаю.

— Все не так-то просто. От очень многих причин зависит, что получится из того или иного человека. От условий жизни, от людей, с которыми его столкнула судьба.

Коша, подняв бутылку, раздумывал, поискать ли рюмку или выпить прямо из горлышка последний глоток; все это время он не переставал бросать сердитые реплики:

— Пусть ее муж и займется этим.

— Доверь козлу огород.

— Ну, а тебе-то какое до нее дело? Ладно, женщина нуждается в помощи. Но почему именно в твоей?

— Почему вообще человек нуждается в других людях, в обществе? Конкретно же всегда кто-то один должен представлять этих людей, действовать от имени общества, что ли. В данном случае я взял на себя эту задачу; если тебе не нравится, пожалуйста, берись ты!

Коша тоже закурил и пустил струю дыма мне прямо в лицо.

— За кого ты меня принимаешь? — отрезал он.— Я не перекупаю с рук. К чужому товару не притрагиваюсь, уж настолько ты мог бы меня изучить.

— Не дыми мне в лицо,— медленно произнес я,— не то подавишься своей сигаретой.

Он аккуратно положил сигарету на край стола и взглянул на меня. Как человек, сознающий свою правоту. Наверное, и я мог бы признать эту его правоту, если бы речь не шла о ком-то, помимо нас двоих. Но я еще никогда не отступал перед трудностями. Я знал, что трусость подобна хронической болезни: стоит поддаться раз, всего лишь раз, и от нее не избавиться. Да и что бы подумала обо мне Кати, если бы завтра и потом, в другие дни, занавеска понапрасну колыхалась бы от ее дыхания, понапрасну следила бы она за моей дверью, понапрасну искала бы встречи со мной — единственной своей поддержки? Что бы оставалось ей думать и к каким выводам пришла бы она относительно меня и себя самой? Да и я, поступи я так, какого мнения я мог бы быть о себе?

— Не будем оскорблять друг друга, Банди,— сказал я.— Нам обоим отлично известно, что значит счастье в полном смысле этого слова: когда у человека есть идеалы и хватает воли жить в соответствии с этими идеалами. У меня есть такие идеалы. И я не в канаве подобрал их и не изобрел для сугубо личного пользования, как иные негодяи; я получил их там же, где и ты. И стараюсь следовать им. Возможно, я в чем-то ошибаюсь — приходится идти на определенный риск... У тебя имеются еще вопросы? Если нет — счастливого пути к скромному зданию почты, а у меня дела.

— Ты, кажется, упомянул почту? — теперь Коша растягивал слова.— Я бы предпочел, чтобы твой выбор пал на другое общественное здание.

— А он совершенно случайно пал именно на это.

— Лю-бо-пы-ытно!

До сих пор мы никогда не дрались, но на этот раз, видимо, драки не избежать. Почта, конечно, послужила только предлогом; слишком много горечи скопилось в каждом из нас. Я подумал: «Сейчас он ударит меня в подбородок и получит прямой удар слева. Возможно, он

лучше меня умеет махать кулаками, но я все равно его побью. Перевернем, переломаем все кругом, а потом сядем раздумывать, к чему была эта драка». Но тут чуть приоткрылась дверь, и в щель кто-то просунул бутылку дорогого кубинского рома. Коша, увидев, что я не двигаюсь с места, подошел, взял бутылку и захлопнул дверь. Затем поискал глазами:

— Где у тебя штопор?

— Вон там, за стаканами. По какому случаю ты это подстроил?

Коша взглянул на меня.

— Я? И не думал.

— Интересно! Я тоже.

— Не валяй дурака.

— Сам перестань дурачиться.

— Прости, пожалуйста, но...

Я распахнул дверь. На террасе стояло четверо мужчин. Первым я узнал бригадира монтажников Барбу Ремуса, нашего партсекретаря, по его блестящему черному кожаному пальто. Именно он просунул бутылку. Рядом с ним сопел главный инженер Панаитеску, его худое морщинистое, вечно небритое лицо дрожало от смеха.

— Ну и ну,— сказал он.— Хороши! Бутылку схватили, а гости — убирайся ко всем чертям. Ведь как я советовал, товарищ Барбу? Бутылку надо было припрятать, а их напугать хорошенько.

Барбу неторопливо пояснил:

— Главный хотел, чтобы мы ввалились с вестью о пожаре, наводнении или какой-нибудь другой напасти. Согласно его теории, люди сильнее радуются, если сперва их чем-нибудь ошарашить. Радуются хотя бы тому, что никакой беды не случилось.

— А мы как раз собрались подраться,— сообщил Коша из-за моей спины,— но это не так уж спешно, входите.

— Коша пригласил вас? — спросил я.

— Нет,— ответил Барбу.— Я самолично обнаружил по картотеке, что у тебя день рождения.

— У меня?!

— А что, разве у тебя не может быть дня рождения?

Тем временем Коша ловко откупорил бутылку, достал рюмки. Панаитеску попросил пирамидон. Барбу сгреб в охапку и свалил в угол разбросанные на столе

чертежи. Взревело радио. По комнате словно вихрь промчался, только не унес с собой моих забот. Я торжественно поднял рюмку, последовали тосты за мое здоровье, за счастье, за успехи в нашей работе. Потом из кармана черного кожаного пальто была извлечена еще одна бутылка. Мне припомнилось, что дома мать всегда пекла на мое рождение блинный пирог. Я любил его, когда был совсем маленьким, а потом так и не удалось убедить мать, что мне давно уже больше по вкусу другие лакомства. Много лет я проводил этот день вдали от родительского дома и порой забывал его отмечать. И в этом году забыл бы, если бы мне об этом не напомнили. В сущности, моим гостям было не так уж важно, к кому идти, им просто хотелось рассеяться; и мне тоже было почти все равно, кто меня окружает; могли прийти любые другие четыре человека с комбината. Хорошо, что на работе я был со всеми одинаково близок, и все же меня огорчало, что эти люди мне нисколько не ближе остальных. Видимо, мы еще мало пробыли вместе.

С холодного лица Коши сошло напряжение. Он объяснял, как овчары в горах мастерят свирели, и дребезжащим голосом подражал их звуку. Я вытащил колоду карт, бросил на стол. Один из монтажников, которого я едва знал, потому что мы работали в разных сменах, подхватил колоду и принялся ловко тасовать.

— Двадцать одно или покер?

Главный инженер потянулся за бутылкой и сказал в нос:

— Я простужен, а в таких случаях мне всегда не везет.

Монтажник ухмыльнулся, глаза его исчезли за веснушчатыми веками.

— В картах главное не удача, а чутье и умение.

— Этого тоже нет,— ответил Панаитеску.— Нет ни чутья, ни уменья, только грусть и тоска. Но попытаем счастья, я держу банк.

— Я тоже рискну,— сказал Барбу.— Мне бы очень не помешали ваши денежки.

Гости ушли далеко за полночь. Пьяный Коша толокся в комнате, во что бы то ни стало желая навести порядок, вытряхнул окурки в печку, а затем водрузил пепельницу на мою чистую рубашку, приготовленную на завтра. Наконец он не выдержал:

— Все-таки не могу прогнать эту мысль... Знаешь, чем все кончится?

— Нет.

— Ты переспишь с этой женщиной, а потом бросишь ее. Даже самые старинные поваренные книги... Да и новые тоже... У тебя не будет иного пути, как бросить ее. Просто не будет.— Он смотрел на меня пристально, совершенно трезвыми глазами, хотя языком еле ворочал.— В конечном счете ты толкнешь ее в тот омут, откуда намеревался вытащить. И тогда, очень тебя прошу, не сердись, но я плюну тебе в физиономию.

— И не подумаю сердиться,— сказал я.— Больше того, я просто обрадуюсь. Всегда приятно получить по заслугам. Приклоним главы свои, Банди, а то мне скоро вставать.

Коша проковылял к двери, на пороге по привычке обернулся, пытаясь припомнить, что он собирался сказать, потом встряхнулся:

— А, вспомнил. Успокой меня, пожалуйста, скажи, что я не прав. Не хочу оказаться правым.

— Можешь быть совершенно спокоен.

— Спасибо! Вот теперь совсем другое дело.

Он ушел к себе в комнату. Оттуда не донеслось ни малейшего шороха, видимо, он лег, как был, не раздеваясь. Повсюду валялись обгорелые спички, окурки, в беспорядке стояли рюмки; дым пластами плыл к двери. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось навести хоть какой-то порядок. И только тогда я почувствовал, как это хорошо, что ко мне зашли товарищи по работе. «Я даже не поблагодарил их за внимание,— подумал я.— А ведь сегодня они были мне особенно нужны!» Потом подумалось, что надо было бы выпить побольше, а то, пожалуй, не уснешь.

Голые кусты орешника ближе к вершине холма зеленели прямо на глазах. Издали, из глубины двора, я наблюдал за ними; иногда кусты сливались с плывущими чуть выше облаками и, казалось, вот-вот умчатся на их парусах ввысь, вместе с потоками влажного ветра. Я мечтал подняться с Кати на холм, откуда в тихую погоду долетало до нас птичье многоголосье; меня угнетал голый двор, безрадостная белизна стен. Хотя и на двор весна принесла заметные лишь очень внимательному глазу преобразования. Разбросанные повсюду осколки стекол ос-

лепительно вспыхивали, поймав солнечный луч, а рядом с моими двумя кирпичами, да и в других местах, где посуше, пробились бледно-зеленые травинки. Иногда на сруб колодца усаживались галки и своими голубоватыми глазками удивленно рассматривали голую землю.

Мне очень хотелось подняться на холм, но Кати я об этом даже не заикался. Она и без того недооценивала подстерегавшую нас опасность, не понимала, что наши встречи у забора могут быть дурно истолкованы.

-- Ведь мы же только разговариваем,— недоумевала она.— И никому до этого дела нет.

С тех пор как Коша увидел нас, я стал гораздо осторожнее. Кати же считала, будто я дрожу за свою репутацию и не хочу рисковать ради нее. А ведь она рисковала больше. Как-то раз, когда мы уже прощались, она обмолвилась, что Печи до утра развлекался где-то и сейчас отсыпается дома.

— Зачем же вы вышли? — упрекнул я ее.

— Потому что вы ждали,— спокойно ответила Кати.— И, как видите, не случилось ничего страшного.

— Но могло бы случиться.

— Всегда может.

— Значит, надо поостеречься.

Кати с горькой усмешкой покачала головой.

— Я долгое время только это и делала: остерегалась беды... Так жить нельзя... Конечно, если чувствуешь, что не для чего рисковать, тогда другое дело.

— Поймите, я беспокоюсь только о вас. Только о вас, Кати.

Этого было достаточно; благодарно коснувшись моей руки, она сошла с ящика. В сторону террасы, где в любой момент мог появиться Печи, она даже не взглянула; идя к дому, внимательно разглядывала туфли и рассеянно улыбалась каким-то своим мыслям. Я тоже слез с кирпичей, но еще некоторое время продолжал стоять у забора. «Не знаю,— признался я себе,— не знаю, где же кончится моя роль. И когда я смогу покинуть возведенное мною строение в уверенности, что оно не рухнет в ту же минуту, оставив после себя лишь облако пыли и кучу жалких обломков?»

Вот тогда-то я впервые узнал, что такое бессонница. И думаю, тогда же Кати стала спать спокойнее. Иногда она рассказывала, что ей снилось; в таких случаях она

закрывала глаза, чтобы лучше восстановить в памяти подробности, я же неотрывно смотрел на ее длинные густые ресницы и бледно-голубые жилки на веках. Она уже менее строго держалась фактов, перекраивала сны по своему желанию, чтобы сделать их забавнее, и сама поражалась, как ей удавалось преуспеть. Но и на этом Кати не останавливалась; случалось, она рассказывала вовсе не сон, а реальные события из своей жизни. Но о том времени, когда она однажды побывала в фазаннике с долговязым парнем в свитере, она никогда не упоминала, словно из детства шагнула прямо в зрелость. Не раз она допытывалась, не снилось ли мне что-нибудь интересное. И мне каждый раз приходилось подыскивать единственно подходящий ответ, который не разочаровал бы ее.

— О, мне снился чудесный сон, но я не могу его рассказать.

— Он не имеет ко мне отношения?

— Напротив, поэтому-то я и не могу рассказать.

Солнце прогрело забор так, что к нему неприятно было притрагиваться; смола сочилась из досок, и я едва успевал чистить брюки. Белесые влажные доски и равнодушный блеск липких прозрачных капель смолы не давали мне покоя даже ночью, словно мелкие, грубоко засевшие занозы; в темноте регулярно возникал передо мной Карой Печи, которого наяву я очень редко встречал. Я видел его не живым человеком во плоти, а каким-то призраком, олицетворением того, что было в нем плохого. Мы спорили с ним. И не понимали друг друга. Мы настолько по-разному смотрели на жизнь — и не только на свою, но и на весь мир,— что, казалось, говорили на разных языках. Я знал, что Печи безмерно тщеславен и легко, почти с удовольствием лжет. А разве можно вести серьезный спор с таким человеком? Наверное, случись нам поспорить наяву, наши доводы звучали бы точно так же, как и в моих снах. Опытный охотник даже по следу может установить норов зверя, и я, хоть и не был искушенным охотником, ясно видел следы влияния Печи на Кати, на ее отношение к людям, к жизни, к самой себе. Мне оставалось лишь читать эти уже начинающие стираться следы и делать выводы. Я знал, что образ Печи, сложившийся в моем представлении, односторонен и, пожалуй, хуже своего реального прототипа. Он состоял из очень немногих и сплошь отрицательных черт. Должно

быть, у Печи были и другие качества, но я их не видел, Кати — та, наверное, видела или думала, что видит.

Теплыми весенними вечерами, разделенные забором, вели мы свой непрекращающийся скрытый поединок. Кати хотела жить, хотела верить в себя, убежать от снедающей ее боли, к которой она с каждым днем становилась все чувствительнее. Я же с горечью все больше убеждался в том, что для меня не существует пути назад, и не делал ни одного шага против воли Кати. Она, можно сказать, определяла почти каждое мое слово, каждое движение души, больше того, вынуждала к тем или иным поступкам. Если я вел себя не так, как она ждала, если не предугадывал ее желания, она расстраивалась, не получая уже ставшего ей необходимым подтверждения того, как я ценю ее.

Но и мой рассудок нуждался в зримом рубеже, какой-то границе, где я могу остановиться наконец. Этот рубеж я иногда отчетливо видел, однако, едва я приближался к нему, он исчезал или же оказывался далеко позади. Каждый день требовал от меня чего-то нового — и теперь я и сам не знал, как долго это может тянуться. По ночам я совсем перестал спать, много курил.

Печи тоже должен был заметить мои следы — изменения, происшедшие с Кати. Да наверное, и заметил. Самовлюбленные люди обожают получать подарки, а я преподнес ему не пустячный. Но Кати последнее время избегала говорить о муже. Мне это было приятно, и я не давал себе труда задуматься о причинах. Каждый вечер я ложился с мыслью: «Завтра. Завтра я с этим покончу. Наверное, теперь она достаточно твердо встала на ноги, больше я ей не нужен». И сердце мое тотчас начинало испуганно биться.

И вот наступил первый вторник июня; этот день я обвел кружочком в своем календаре, хотя и без того никогда его не забуду. Как обычно, я вышел к забору, положил локти на грубо обтесанные, косо торчащие доски, вдохнул запах смолы и прогретой солнцем известки, кинул взгляд на тихий дом и террасу, где вскоре появится Кати. И она появилась, она шла по двору, и солнце просвечивало насквозь ее легкое белое платье, так что видны были мягкие контуры фигуры. Нервы мои болезненно напряглись, как от удара током; я всегда испытывал это, когда ко мне приближалась Кати.

Она подошла и тоже облокотилась о забор, рука ее коснулась моей. Полная нескрываемой радости, она улыбнулась мне. Мы всегда сначала, будто знакомясь, подолгу всматривались друг в друга, прежде чем заговорить. На ярком солнце ресницы Кати отливали золотом. Удар тока был мгновенным, и тело ощутило его лишь после, когда наступило легкое оцепенение. Свободной рукой Кати сунула мне в рот теплое печенье.

— Только что испекла. Если нравится, принесу еще.

— Очень вкусно.

— Тогда я принесу полную тарелку.

Но ей не хотелось уходить, она пристально вглядывалась в мое лицо, коснулась его пальцем.

— Ты еще больше загорел. Говорят, на мотоцикле очень быстро загорают. Это плохо, что меня не берет солнце?

— Нет,— ответил я.— А ты считаешь, что плохо?

— Самой-то мне все равно. Просто подумалось, вдруг я тогда нравилась бы тебе больше. Я очень хочу тебе нравиться.

То, что она мне нравится, она знала отлично, я повторял ей это тысячу раз. Но ей хотелось услышать это снова. Я стиснул зубы, напомнил себе, что у меня болит голова и что я очень устал. По дороге, громко сигналя, промчалась машина, облако пыли окутало забор, и на мгновение обе калитки исчезли в пыли. Но Кати не обратила на это внимания, ее широко открытые глаза ждали ответа. Руку свою она прижала к моей. И у меня мелькнула запоздалая мысль, что сегодня мне ни за что нельзя было выходить; я предчувствовал, что-то должно случиться.

— Думаешь, такой ты мне не нравишься? — прервал я долгую паузу.

— А может, действительно думаю!

Я прекрасно отдавал себе отчет, что, если б она не любила так своего мужа, никогда бы не дошла из-за него до такого падения. И все же ее немая мольба, как уже не раз, захватила меня врасплох. Я, выпрямившись, стоял на кирпичах, солнце слепило глаза, запах горячей смолы словно тонкой пленкой обволакивал мои ноздри, губы. Голову нестерпимо жгло солнце.

— Нравишься? Это слишком слабо сказано.

Не мигая, смотрели мы в глаза друг другу, в самую глубину. Пересохшие доски ящика треснули.

— Если слабо,— протяжно начала Кати,— то что же тогда подойдет?

— Могла бы додуматься.

— Не хочу додумываться.

— Точнее было бы сказать: я люблю тебя.

— Да?

— Да.

Я переступил с ноги на ногу и почувствовал, как брюки снова приклеились к смоле. Рука Кати, покрытая золотистым пушком от запястья до локтя, тесно прижалась к моей.

— Хочу услышать еще раз.

Взгляд ее метался от моих глаз к губам, пока я медленно повторял:

— Я люблю тебя!

— Да-да.— Губы Кати пересохли.— Похоже, ты говоришь серьезно. Я чувствую, ты сказал это серьезно.

Я искоса взглянул на калитку, она — на склон холма и тотчас порывисто обернулась ко мне. Мы молча целовали друг друга в губы, щеки, глаза. Кати перегнулась через забор, прижала ладонь к моей щеке, потом просунула руку под ворот, коснулась плеча. И вдруг отпрянула, вздрогнув.

— Нет,— сказала она, бледнея.— Неправда. От скуки, только от скуки ты потянулся ко мне. Но этого не может быть! Не может... Настолько я все же знаю тебя. Ну, говори же, не молчи, скажи что-нибудь! Посмотри мне в глаза! Господи, как же я хочу тебе верить!

— Лучше, если ты сейчас поверишь. Все равно время убедит тебя.— И я против воли добавил, не сумев подавить дрожь в голосе: — Но забор и тогда останется между нами.

— Забор?

Кати соскочила с ящика, отступила на несколько шагов и широко открытыми глазами уставилась на забор. Было видно, как порывисто она дышит, от сильных ударов сердца платье трепетало на ее груди. Я не сводил с Кати затуманенного взгляда, и вновь повторилось наваждение той давней ночи: я опять не знал, простая ли смертная передо мной или чудом забредшая из сказки фея.

— А ну, посмотрим,— решилась она.— Допустим, что я — счастье. И допустим, хочу пройти сквозь этот забор.

Она медленно подняла на меня горящий взгляд. По

дороге снова промчалась машина, над забором мутной волной поплыла пыль. Я тоже отошел в сторону, ухватил кирпич и двумя сильными ударами сбил две доски с гвоздей. Потом раздвинул доски, и Кати прошла через образовавшийся лаз. Короткое платьице промелькнуло мимо меня, Кати пересекла двор, обошла колодец, поднялась на террасу и исчезла за дверью моей комнаты. В косых лучах солнца поблескивали осколки стекла, и между ними на голой земле четким пунктиром обозначились частые следы каблучков. В жаркой пыльной пустоте двинулся я вслед за нею.

Я запер дверь, ключ — не знаю почему — положил на шкаф. Занавеска пропускала только часть падающего на нее света, и в комнате царил полумрак. Свинцовая усталость обрушилась на меня, словно я вернулся домой после дальней дороги. Глаза болели от раскаленной белизны забора, сверкания осколков, едкой пыли. Тишина затемненной комнаты сковывала, будто я двигался в плотной, сопротивляющейся среде. Кати присела на край постели, покрытой пестрым чехлом моего спального мешка; бледная, она не сводила с меня взгляда. Приближаясь к ней, я, казалось, чувствовал, как меня обволакивают ласковые лучи ее подернутых влагой глаз.

— Ничего страшного,— сказал я.— Лишь бы ты была счастлива, остальное ерунда. Я на все готов ради тебя.

— Я подумала, вдруг ты меня обманываешь,— тихо, как бы рассуждая вслух, проговорила она.— Но тогда ты обманываешь и себя. Ведь ты не лжешь мне, правда?

— Не лгу.

— Ты сказал, что счастлив только тот, кто дает... Но что это мы все разговариваем? Мы и так уже говорили достаточно.

Я опустился перед нею на пол, чуть отодвинул подол ее платья, и, когда прижался губами к ее прохладным округлым коленям, мне показалось, что жизнь моя только сейчас начинается, а все, что произошло со мною за эти восемь лет после первой нашей встречи, мне просто приснилось. Продолжается все тот же октябрьский день, я чувствую все ту же острую боль и все то же, прежнее, счастье, и сейчас опустятся на нас сверху гладкие красные листья бука. Кати наклонилась совсем близко ко мне, заглянула в глаза.

— Все-таки это ты,— кивнула она.— Лица твоего я уже не помнила, зато помнила твою душу. По-моему, я давно тебя узнала.

И тогда все рухнуло; закружился вихрь прежних чувств, огонь давних мгновений снова вспыхнул в нас. Я опять подпал под колдовские чары Кати, сердце мое бешено колотилось, и я знал, что не стану слушать голос разума. Полумрак и тишина отрезали нас от мира, как когда-то в лесу, но и сейчас они не вторглись в наши души. Кати погладила мои волосы, шепнула на ухо:

— Я здесь.

Я накрыл ладонями ее крохотные туфельки. Свое белое платье она спокойно сняла сама, аккуратно положила на письменный стол. Легкий горьковатый аромат ее волос, платья, тела будил во мне даже не желание, а какую-то мучительную жажду: хотелось вобрать в себя этот запах, чтобы всегда его чувствовать и всегда испытывать эту жажду. Кати сняла с себя последние тряпочки, пристроила их на стуле, на котором я обычно сидел, работая. И сразу все вокруг представилось мне громоздким — мебель, ковер, вся комната и я сам. Казалось немыслимым прикоснуться к Кати моими потрескавшимися от ветра, загрубелыми руками. Я все еще сидел на полу; Кати приблизилась ко мне и тихо, будто сама себе не веря, повторила:

— Я здесь.

Наше объятие было точно взрыв, и ни один из нас еще не знал, что погибло, а что уцелело после него. Мы долго лежали недвижно. Голова Кати покоилась на моем плече, я касался губами ее волос, и ароматом их была напоена каждая моя клеточка. С другими женщинами в такие минуты я ощущал мучительное отчуждение. Сейчас я испытывал только счастье. И не знал, смею ли быть счастливым. Над нашими головами размеренно тикал будильник, в окно по-прежнему бился свет, и казалось, в тишине я слышу, как трещат под напором солнца оконные стекла, и вижу вздувшуюся парусом занавеску, хотя даже не смотрю в ту сторону. Мысли мои были под стать чувствам. Кати всем телом приникла ко мне, и я подумал, что мы стали одним существом. Но и это было не мыслью, а, скорее, чем-то, что помогало мне отгонять мысли. Кати взяла мою руку и, перебирая пальцы, каждый по очереди целовала, чуть слышно шепча: «Здравствуй, безымянный,

здравствуй, мизинец...» Ей, видимо, тоже не хотелось сейчас думать. Тогда я, не меняя позы, оглядел комнату — собственно говоря, мне уже несколько минут хотелось оглядеться, увидеть, какой теперь стала моя комната. В ее стенах мягко ютился сумрак, полный беспокойных коричневатых тонов, ровно прогретый зноем; только на столе снежным островком белело платье. Оно лежало далеко, и я не мог дотянуться до него, чтобы укрыть им лицо. На шкафу виднелось какое-то серое пятно, наверное этикетка коньячной бутылки, а на ковре прикорнули две маленькие туфельки. Внезапно меня охватила жалость ко всем, кто не знает, какое это счастье — держать в ладонях такие вот маленькие туфельки. Кати чуть слышно спросила:

— Как же теперь?

Касаясь губами ее волос, я ответил:

— Я на все готов ради тебя.

Я снова привлек ее к себе, и больше мы не сказали друг другу ни слова. Я только смотрел и смотрел в ее глаза, блестящие от слез, широко раскрытые; казалось, их зрачки вбирают в себя крохотные отражения моего лица. Я чувствовал, как их огонь меня очищает.

Когда она вышла на террасу и я вслед за ней, уже близился вечер. Раскаленный солнечный диск лежал на вершине холма, как раз там, где по ночам горели прожекторы химкомбината; маленький трактор, передвигаясь по гребню холма, пропал в клокочущем зареве солнца и вынырнул из него, словно торопливо убегающий черный жук. Забор отбрасывал широкую тень, по его верху и в щелях между досками струилось расплавленное золото заката. Воздух был жарким и едким от висевшей в нем пыли.

Кати с любопытством первооткрывателя осмотрелась по сторонам, на ее подрагивающих, будто припухших губах играла выжидательная улыбка; она искала объяснение своему счастью — на голом дворе, на склоне холма или вверху, в графитно-сером небе. А может быть, хотела передать свое счастье окружающему ее миру. Потом она глубоко вздохнула, поправила волосы, тронула мою руку, лежавшую на перилах, и молча сошла по ступенькам. Не торопясь, спокойно прошла она через двор, обогнула колодец, раздвинула доски в заборе, и, когда из тени вышла на свет, ее волосы и платье словно вспыхну-

ли. У самой двери своего дома она обернулась и как будто улыбнулась мне. Я не мог разглядеть ее лица, потому что террасу закрывала тень, но мне хотелось, чтобы она улыбнулась. Холодная тоска медленно коснулась моих губ, глаз, лба... Между нами по-прежнему был забор. И я стоял неподвижно, пока на нем не погасли последние полоски света и тень от соседнего дома не доползла до меня.

Каждый день, вися на заборе, я не отрывал глаз от террасы соседнего дома. Пятнадцать минут я разрешал себе ждать, не больше. Пока я стоял эти четверть часа на кирпичах, солнце немилосердно било в глаза, и, если ветер дул со стороны дороги, меня часто обдавало пылью, которая какое-то время держалась в воздухе и потом нехотя оседала на землю.

Прождав четверть часа, измученный, усталый, потерянный, я возвращался в комнату, и руки дрожали, когда я наливал себе коньяку.

На четвертый день, когда я прождал минут семь-восемь, открылась дверь и появилась Кати. За ней на террасу вышел Печи. Он был в белой рубашке и небрежно нес сумочку Кати. Он поздоровался со мной, я кивнул в ответ. Кати не смотрела в мою сторону. Под руку вышли они на улицу. Все это время меня не покидало ощущение, будто я вижу дурной сон. И ощущение это было настолько сильным, что я прождал, как обычно, ровно пятнадцать минут и только потом сошел с кирпичей. Теперь я не торопился домой после работы, слонялся по комбинату, заходил в столовую, в душевую. После обеда опять возвращался на работу, помогал Коше. И ухитрялся разговаривать с ним так, словно ничего не произошло. Не думаю, чтобы кому-то удалось подметить во мне перемену. Страдание затаилось глубоко, и близость людей, жесткий ритм работы словно заталкивали его еще глубже. Я мог работать, и, видимо, это меня спасало. Но в конце концов приходилось идти домой, и всегда выкраивались свободные пятнадцать минут, чтобы постоять у забора. Одному.

Кати вышла ко мне лишь на десятый день. Она была в том же белом прозрачном платье, и снова меня будто током ударило: несколько минут я был не в состоянии заговорить. Она тоже молчала, руку прижала к моей, посмотрела мне в лицо и смущенно улыбнулась. Мы искали

в глазах друг друга эти прошедшие десять дней, беспощадные мысли, мстительные чувства — все, что пережили в одиночку и чего уже не расскажем друг другу.

— Он меня держит под таким надзором, что я не решаюсь выйти,— наконец робко заговорила Кати.— Расспрашивает о каждой минуте. И все время сидит дома.

Она опустила ресницы, ожидая ответа, затем снова подняла на меня глаза и, как бы извиняясь, добавила:

— Я не говорила тебе, но вот уже несколько недель мне кажется, он снова в меня влюблен... Прямо не верится... И еще я была у врача — мне разрешили снова работать.

«Она счастлива,— думал я.— Вот и зародыш нового разочарования. Но пока он успеет развиться, меня, пожалуй, уже здесь не будет. И тогда кто поддержит ее, не даст сломиться, кого не остановит забор?» Ветер утих, тяжелый, гнетущий зной навалился на нас. Знакомый горьковатый запах совсем лишал меня сил. Терзаясь, Кати вновь заговорила:

— Не молчи, Геза. Я не хочу тебе лгать. Разве это плохо, что я счастлива?

— Мне всегда хотелось услышать от тебя именно это,— ответил я и поразился своему тусклому безжизненному голосу. Десять дней назад я последний раз говорил с Кати, и мои последние слова тогда были: «Я на все готов ради тебя». Сейчас я подумал, что больше уже ничего не в силах для нее сделать. И сам не мог этому поверить.— Мне всегда хотелось услышать только это, и ничего другого,— повторил я.— Но, боюсь, оно недолго продлится, это счастье.

— Все-таки вдруг... А как же ты?

— Обо мне не тревожься.

Кати отодвинулась, на глаза у нее набежали слезы.

— Это ужасно, Геза,— промолвила она тихо.— Почему все не могут быть одинаково счастливы? Ужасно, что я ничего не могу сделать для тебя. А я бы очень хотела... Мне хочется, чтобы ты был счастлив.— Внезапно она еще больше побледнела, губы ее задрожали.— Хочешь, я сейчас приду к тебе?

Я ответил тут же:

— Если только навсегда останешься у меня.

Мы еще долго стояли, не говоря ни слова, но и не уходя, искали в глазах друг друга надежду на возмож-

ность изменить что-то в нашей жизни. Не знаю, какой оказалась бы эта жизнь. Я волен был фантазировать на эту тему, сколько душе угодно. Потому что Кати сошла с ящика, взяла его и унесла в дом.

...Затем наступила ночь. Раны мои болели, особенно жгло шею. При каждом ударе сердца по телу, под толстым слоем повязок, пробегали раскаленные муравьи. В полночь прогрохотали грузовики, развозящие рабочих второй смены, затем снова настала тишина. Коша не вернулся домой. Мне захотелось пить, а вода в кувшине была застоявшейся, теплой. Взяв кувшин, я проковылял к колодцу. Правой рукой вытянул ведро, отпустил ворот и тотчас вцепился в рвануВшуюся книзу цепь. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось подхватить ведро. Я поставил его на колено, наклонил, наполнил стоявший на земле кувшин и стал пить. Вода потекла по обнаженной груди, тело охватил озноб. Мне пришло в голову, что утром надо бы известить Панаитеску: дня два я наверняка не смогу работать. Я снова приник к кувшину, хотя пить мне уже не хотелось и очень знобило. «Надо налить полный,— подумал я,— иначе до утра не хватит». Ведро соскользнуло с колена, вода плеснула в шлепанцы. Но кувшин я все-таки наполнил.

В соседнем доме было темно, оттуда доносились звуки радио. Казалось, знакомый терпкий аромат, сжимая мне сердце, струится с той стороны забора. Прямой ряд досок белел в свете луны. «Забор, наверное, уже остыл,— подумал я.— Вышел из него дневной зной». Но я не стал подходить к забору, чтобы убедиться.

Немного позже вернулся Коша. Он был не один. Я слышал на террасе осторожные шаги девушки с почты и ее пугливый шепот: «А что, если здесь кто-то есть?» Перед рассветом девушка уходила; поравнявшись с моей дверью, она заметила: «Какой убогий двор, Банди, ты что, лучше не мог найти? Для инженера он просто неприличен». Стало быть, на улице уже светало, а в комнате мрак лишь немного поредел.

Я посмотрел на часы, скоро пора было вставать на работу. Все тело у меня болело, даже там, где не было ушибов. Я запустил шлепанцем в стену. Коша тут же заглянул ко мне — в пижаме, босиком, с зажженой сигаретой. Он включил свет.

— Ну и ну, прямо мумия,— сказал он.— Что это с тобой?

— Вчера полетел с мотоцикла,— ответил я.

— Переломов нет?

— Нет.

— Ну тогда порядок.

Он достал со шкафа бутылку с коньяком, отхлебнул, затем придвинул стул к моей постели.

— Не садись,— сказал я.— Скоро пойдут машины. Останови какую-нибудь и передай Панаитеску, что сегодня я не выйду на работу.

Минут через десять пошла первая машина, урча, остановилась перед домом, затем двинулась дальше. «Наверное, воздух сейчас чистый, влажный от росы,— подумал я.— Пыль еще не поднялась». Вернувшись, Коша сердито бросил:

— Продрог весь... Что мы читаем в поваренной книге? Берем мотоцикл, сажаем на него олуха... Я передал Панаитеску: если необходимо, я выйду вместо тебя. Что тебе нужно? Принести лекарства?

— Ступай лучше спать.

— Нет. Если я усну, а с тобой, скажем, случится припадок, понапрасну будешь стучать в стену. Я очень крепко сплю. Лучше я лягу здесь, рядом с тобой. Если что понадобится, толкни в бок.

Я подвинулся к стенке, Коша лег рядом и моментально уснул. Мрак рассеивался, первые лучи солнца уже вонзились в забор. «Хоть бы раз мне побыть рядом с ней, когда она просыпается,— думал я.— Поймать ее мутный после сна, блуждающий взгляд, когда она откроет глаза. Только раз вдохнуть бы ночное тепло ее кожи». Теперь это стало первой моей мыслью по утрам. Я знал, что тут ничего не поделаешь. Знал также, что, доведись мне начать все сначала, я и тогда не избрал бы иного пути. Я захотел бы снова пережить все: ту дождливую ночь и день, проведенный в лесу, долгие разговоры через накаленный солнцем забор, те минуты, что мы были одни в моей комнате, страдания, боль — все, все, я пережил бы снова и точно так же. И в следующий раз, когда поеду по мосту, опять сорву листок ивы, разотру в ладони и поведу мотоцикл одной рукой, до самой буровой вышки, где даже после заката веет теплом от жухлой вытоптанной травы.



РАССКАЗЫ

НА БЕРЕГУ

У Деллё Муреш глубок и спокоен, он мирно несет свои воды мимо фруктовых садов. Старые деревья смотрятся в его зеркало, а среди них на высоком берегу на той стороне реки стоит маленькая, потемневшая от времени винокурня, похожая, скорее, на домик семи гномов, спрятанный в лесной чаще.

Река спит, она даже не колеблет отражения осенней листвы и одиноких облаков.

И удочка, закрепленная на суку, тоже неподвижна.

Но Секи Пишту эта тишина не введет в заблуждение. Он уже старый, ему много пришлось повидать на своем веку. Дома в большой семье тоже так бывало: вроде бы все тихо, спокойно — и вдруг завизжит кто-нибудь из малышей, за ним второй, раздается шлепок, звенит затрещина, падает на пол и разбивается стакан, потом строго прикрикнет отец или дед — и тишина восстанавливается так же быстро, как разразился скандал, но это уже не прежняя тишина, потому что за ней скрыто совсем другое: не накаляющиеся страсти, а только обида и медленно угасающее желание отомстить. И река только на первый взгляд спокойна. Все притихло, осенний неяркий солнечный свет наводит дремоту, но там, в глубине, в темной зеленой воде, бродят большие карпы, через час-другой отправятся на вечерний промысел и сомы — собирать налог с рыбьего населения.

Удочка того и гляди задергается. Секи спокойно раскуривает трубку, приминает вокруг себя высокую траву

и с удовольствием садится на нее. Укромное тут местечко в береговых зарослях, только один человек и может расположиться. С трех сторон его окружает густой кустарник. Это не самое хорошее место, берег здесь немного высоковат, но на этой стороне лучшего места и не найдешь. Впрочем, унывать было не в характере Секи, он верил в свою удачу.

От воды тянет прохладой и запахом ила.

А на том берегу рядом с домиком, спрятанным в листве деревьев, вдруг появился молодой человек, одетый в синий тренировочный костюм. Он огляделся и, по щиколотку погружаясь в жженую пшеницу розового цвета, рассыпанную возле винокурни, спустился к реке. Берег круто обрывался, удить рыбу можно только стоя. Молодой человек снял сумку и начал собирать удочку.

Кто бы это мог быть?

Но как Секи ни напрягал зрение, он удостоверился только в том, что никогда прежде парня не видел. Он не из тех, кто приходит сюда ловить рыбу. Но Секи и не хотелось видеть сейчас никого из знакомых, он терпеть не мог, когда удили рыбу рядом с ним или мозолили глаза напротив. Случалось, что крючки цеплялись один за другой или сосед-рыболов забрасывал удочку как раз тогда, когда на твою наживку вот-вот клюнет карп, а всплеск воды обязательно вспугнет рыбу.

Разве Муреш такой уж маленький? И когда это у каждого рыболова будет своя, отдельная река?

Секи недовольно поерзал, выколотил трубку, встал, осмотрел удочку, покачал головой и снова сел. Он вел себя так, что парень на другом берегу, если б хоть чуть-чуть соображал, сразу бы понял, что никого не осчастливил своим появлением.

Но молодой человек не обращал на Секи никакого внимания. Он разбирал крючки, пробовал ногтем, не тупые ли, рассматривал их на расстоянии, а потом стал разминать кусок желтой мамалыги. Долго возился — может, не хотел торопиться, а может, просто был неопытен. Когда наконец со всем управился, взмахнул удочкой, и два грушевидных кругляша из мамалыги на светлой леске взлетели высоко над водой и плюхнулись в реку почти перед самым носом Секи, хотя русло и не было таким уж узким.

— Ну и ну! Хорошо еще, что в голову не попал,— сказал Секи довольно громко. И сердито вытащил из воды свою удочку, чтобы нацепить на крючок свежую наживку.

Теперь две удочки нависли над водой. На обоих берегах тишина. Молодой человек в тренировочном костюме разровнял себе местечко среди розовой жженой пшеницы, сел. Он не отрывал взгляда от удилища, но время от времени с любопытством поглядывал и на другой берег.

Потом он широко развел руки, вобрал полную грудь влажного речного воздуха и расправил плечи — как будто гимнастикой занимался. Какой-нибудь токарь, подумал Секи. Слышал от кого-то, что удить рыбу неплохое занятие, и вот пришел мешать настоящему рыбаку. Новоиспеченный рыболов.

Секи заново набил трубку, сердито затянулся. И вдруг подумал, а что, если у того парня клюнет раньше?

И почувствовал, что бледнеет уже при одной мысли о такой чудовищной несправедливости. Несправедливости — не только потому, что он пришел сюда раньше и у него больше прав на это место. Не только потому, что второй рыбак молод и за свою жизнь еще наловит немало рыбы. А потому, что дома он пообещал принести карпа, и пообещал так уверенно, что дети небось уже поджидают его у ворот. И как тяжело будет прийти домой с пустой сумкой, на которую устремится столько любопытных глаз.

Он сам удивился, как легко улетучилась его рыбацкая невозмутимость, а он всегда говорил, что на берегу реки обретает душевный покой. Он так боялся, что тому, другому, повезет больше, что даже забыл о своей удочке. С тревогой смотрел он на противоположный берег. Час ехал сюда на поезде, потом полчаса шел пешком. И если придется возвращаться с пустыми руками, то только благодаря ему, этому новоиспеченному рыболову.

А тот вытащил из воды крючок, поглядел, повертел его и снова забросил в реку. Далеко закинул, но все равно не туда, куда нужно. Сразу видно, новичок, не знает того, что карпы на большой глубине ходят.

Можно было бы крикнуть ему. Но что он, сумасшедший, чтобы кричать здесь?

И они сидели, каждый на своей стороне, друг против друга. И эта неподвижность и тишина скрывали раздра-

жение и неприязнь, как спокойное зеркало реки скрывало подводную суету.

«Черт бы его подрал»,— в сердцах подумал Секи.

Река мирно текла между ними.

И вдруг на том берегу леска дернулась. Молодой человек испуганно вскочил и, уцепившись за повисшую над водой ветку ивы, вошел по колено в воду. Он схватил удилище, победно дернул его на себя и начал быстро сматывать леску. Светло-зеленая тугая леска, уходя то влево, то вправо, оставляла на воде белые борозды. Стальной конец удилища пружинисто выгнулся.

Крупная, должно быть, рыба. Секи даже крякнул от возмущения, он уже знал то, о чем тот, второй, и не догадывался: вместо карпа на крючок попался сом. Опытный рыболов сразу узнает сома по повадкам: так, как сом тащит леску, никакая другая рыба ее тащить не сможет. С давних пор бросают в эту реку мамалыгу, и сомы, понятно, к ней пристрастились, в этих местах на приманку для карпа ловили сомов и в двадцать килограммов. Но, уж конечно, не такие горе-рыбаки, как этот.

Вода сердито забурлила, сом демонстрировал свой первый трюк, он пытался зарыться в ил, но, почувствовав, что леска его не пускает, резко всплыл на поверхность. Плещется как сумасшедший. Молодой человек так побледнел, что от его лица заструился свет — туда, где Секи, слегка присев, оцепенел от злости. Крикнуть бы ему, хотя бы только для того, чтобы показать, что уж он-то знает, что делать. В другой раз он бы и крикнул, чтобы тот не перенапрягался понапрасну, пусть рыба буйствует, пусть сама себя изматывает, бестия, пока не выбьется из последних сил. Но сейчас Секи ни за что не даст ему совета, пусть выкручивается как знает.

Сом упорно боролся. Молодой человек не давал ему передышки, но и сам боялся перевести дыхание, только все крутил катушку, потом резко дернул на себя удилище, и леска, натянутая как струна, задрожала у его ног, недалеко от берега, где вода плескалась о прибрежные заросли.

Все, упустил, подумал Секи со злорадством.

И в самом деле упустил. Рыба уже у себя дома, под корягой. Новоиспеченный рыболов попусту дергает леску, напрасно сгибает в дугу удилище. Если рыба ушла в мутную воду, пиши пропало.

Удочка распрямилась, леска свободно висела на ней — ни сома, ни крючка. Вода на поверхности реки успокоилась. Кто знает, на какую глубину зарылся сейчас сом, отлеживается ли он в иле или старается освободиться от застрявшего в губе крючка, а может, ему до этого крючка и дела нет?

— Ну вот, ушел,— молодой человек, смущенно мотнув головой, смотрел на воду. Он и так сильно переволновался, а тут еще эта неудача.

— Уж конечно, ушел,— пробурчал Секи не без удовольствия.

Опять стало тихо. Солнце уже опустилось на рыжеватые гряды виноградников, передохнуло на них немного, потом взглянуло на свое пылающее отражение в зеркале реки и заспешило дальше, вниз. Синеватые тени легли на воду, встрепенулись пожелтевшие листья. Потянуло сыростью.

Секи раскурил трубку.

Прохладный ветерок пробежал по воде. У рыб наступало время вечерней трапезы.

Долго ждать не пришлось, вот уже дернулась, а потом и выгнулась удочка старого Секи.

Сразу помолодев, забыв обо всем, он схватил удочку, чувствуя, что теперь наступил его час. Он подождал, пока дернет еще раз, потом еще, немного опустил леску и резко подсек. И на пружинящей удочке ощутил немалую силу и вес. Секи покосился на противоположный берег: было бы жаль, если бы его мастерство осталось незамеченным. Только сейчас он порадовался, что не один. Спокойно и уверенно наматывал он леску, правда очень медленно, спешить здесь никак нельзя. А там, куда уходила туго натянутая леска, в серой глубине, поблескивал дымчато-бронзовый бок карпа.

Секи только сейчас понял, какой плохой здесь берег. Такую большую рыбину выдернуть на сушу невозможно, рот у карпа нежный, того и гляди сорвется с крючка. Да и в прибрежных зарослях, ветках, корягах полно укромных уголков. Надо измотать его, каналью, как следует, прежде чем подпустить к берегу.

Молодой человек там, на другой стороне, от волнения хлопал себя по коленям и во все глаза следил за искусной работой Секи. Старик спокойно отпускал леску, за-

скорузлым пальцем придерживал катушку, иногда сматывал леску, чтобы был запасец. Карпа надо держать посередине реки, там, где течение не сильное, подальше от берегов.

Сколько уж таких случаев было на веку у Секи и здесь, и на других реках. Иногда он упускал рыбу, но сейчас никак не хотел упускать.

Напряженная тишина нарушалась только слабым скрипом катушки. Прошло четверть часа, но ничего не изменилось. Леска все ходила взад-вперед по воде. В лице Секи от прежнего довольства собой не осталось и следа, он закусил губу, глаза сощурились, все его тело выражало ожидание, готовность. И еще усталость.

На берегу у самых его ног лежал сачок с ручкой. Но для сачка должны быть свободны две руки, а он обеими держит удочку. Секи только взглянет на сачок и опять переводит взгляд на леску. Если бы ему не было неловко перед тем парнем, он бы крикнул, попросил когонибудь помочь. Ведь есть же люди там, на огородах. Вот уже второе воскресенье ему не везет. Когда удочка задергалась, Секи показалось, что дело уже сделано, дома теперь порадуются.

— Что, большая рыба? — спросил горе-рыболов с той стороны.

— Килограмма четыре или пять,— с трудом проговорил Секи.— Я бы вытащил, да только этот берег...

Секи подтащил рыбу чуть ближе, вон она снует, бьется, сверкая своими жирными боками. Но тащить ее дальше нельзя, карп легко уйдет под коряги. Нужно снова отпустить немного леску — бог знает, в который уже раз.

Наступил вечер, густые сумерки, которые поползли к реке из-под огромных мрачных деревьев, поглотили винокурню. Рыба все еще не сдавалась.

И вдруг у противоположного берега раздался сильный всплеск. Секи, выругавшись, посмотрел в ту сторону, в глазах у него рябило: никак, горе-рыболов свалился в воду? Да нет, похоже, он сам прыгнул, по собственной воле, потому что его синий костюм и рубашка остались на берегу. Он плыл в его сторону, красиво и сильно выбрасывая вперед руки, и большие сверкающие круги расходились от него по воде. Плечи и руки у парня загорели даже еще сильнее, чем лицо.

— Что вы делаете, молодой человек? — заорал Секи.

— Плыву к вам,— вздувая перед собой пену, ответил тот.

Не доплыв до Секи метров десять-двенадцать, он встал на дно и вполголоса, чтобы не вспугнуть рыбу, спросил:

— Здесь можно? Или обойти с другой стороны?

Секи, резко мотнув головой, выплюнул изо рта потухшую трубку.

— Здесь! Здесь! Как раз прямо.

Молодой человек еще на несколько гребков подплыл к берегу. Секи ногой столкнул с берега сачок, а потом рывком выдернул карпа из воды и сам поразился, сколько у него еще силы.

— Подчерпни! Снизу!

Если карп сейчас сорвется...

Но рыба не сорвалась. Облепленная густой, мелкой сеткой, изогнула дугой короткий широкий хвост. Молодой человек приподнял сачок и с размаху вместе с рыбой бросил его на берег, в траву.

Секи, как ошалелый, тяжело дыша, повалился на землю рядом с рыбой; он взял ее в руки, стискивал, ощупывал, приподнимал, ему казалось, что сейчас он вытащил из воды свою самую крупную рыбу. Прошло какое-то время, прежде чем Секи сообразил, что надо переложить добычу в сетку без ручки.

— Такого большого карпа мой внучек еще никогда не видел,— возбужденно начал он, предчувствуя восторги домашних.— Вот радости-то будет, уж я знаю!

Молодой человек слегка дрожал от холода, с его коротких светлых волос капала вода, белые трусы прилипли к телу. Он тоже смотрел на рыбу.

— Да, дома обрадуются,— сказал он.

— Еще как!

— А я ведь тоже чуть было не поймал.

Только сейчас, когда Секи понял, что рыба никуда не денется, он пристально поглядел на юношу. Кто он, этот человек, на которого он только что так злился, смеялся над его неудачей и которому так многим обязан теперь?

Ничего особенного Секи в нем не находил: крепкого сложения, мокрый весь, дрожит от холода.

— Ну вот, большое вам спасибо,— сказал Секи.

— Пустяки. Не за что, отец,— ответил тот.

Он стоял неподвижно, обхватив себя руками и глядя на рыбу.

И эта неподвижность озадачивала Секи. Уж не претендует ли он на рыбу? Уж не хочет ли получить половину карпа? Может быть, у него и есть на это право, переплывать Муреш в это время года не такое уж большое удовольствие.

Но Секи хотел принести домой целую рыбу. Он не знал, что сказать, и в замешательстве принялся снова разглядывать карпа. Сначала с одной стороны, потом с другой. Молодой человек стоял все так же неподвижно.

Секи заглянул рыбе в рот, как будто мог увидеть там что-то интересное, потрогал губу, потыкал в нее пальцем. Долго рассматривал хвост карпа, потом положил на ладонь рыбью чешуйку. На душе у него становилось все тревожнее.

Секи даже засунул палец карпу в рот и шарил там, будто во рту у рыбы могли быть спрятаны сокровища подводного царства. Он уже ненавидел этого парня и, наверно, столкнул бы его в реку, если бы не боялся, что тот выплывет и задаст ему жару.

— Хороша рыба,— подытожил наконец свои наблюдения молодой человек.— Ну, спокойной ночи, отец.

И прямо с обрыва прыгнул в воду вниз головой, только холодные брызги полетели на берег. Быстро, по прямой пересекал он реку. Секи пристально смотрел ему вслед, от этого нежданного счастья он даже растерялся, такого славного человека, думал он, я не встречал еще в своей жизни.

Потом Секи взял в руки карпа, снова стал его рассматривать — теперь, когда понял, что рыба целиком его. Да, хороша, ничего не скажешь.Секи торопливо сунул карпа в сумку, побросал сверху вещи. Молодой человек на той стороне одевался, он энергично растерся рубашкой, а потом прямо на голое тело натянул свой синий тренировочный костюм. В сумерках его уже почти не было видно.

«А я не сказал ему, чтобы он измотал как следует сома,— подумал старый Секи. Он постоял немного, глядя перед собой.— Ну а мне-то что? В следующее воскресенье найду себе такое место, где уж, клянусь богом, меня никто не отыщет».

Он закинул сумку за спину и двинулся вдоль окутанной туманом реки по тропинке, вьющейся между кустами.

ОТДЫХ

Машина с осевшим колесом притулилась у обочины дороги. Солнце было совсем высоко, когда гвоздь от подковы пропорол шину. Сейчас на небе осталась лишь бледная полоска заката, а машина все стоит. Шофер отшвыривает насос, утирает взмокший лоб и принимается устанавливать колесо. В другое время он не скупился бы на забористые ругательства, но сейчас молчит. Да и ругать-то некого, кроме себя: зачем пустился в дальнюю дорогу без запасного колеса и резиновых заплат. Часа два загорали, спасибо, шофер с проходящего грузовика подкинул пару заплаток.

Авария произошла у подножия горы, голой после вырубки. В воздухе чувствуется сладковатый запах еловой прели.

Иштван Тимар, журналист, пассажир злополучной машины, расхаживает, заложив руки за спину. У него нет ни малейшей охоты разговаривать, к тому же не хочется раздражать и без того злого как черт шофера. Все же он решается заметить:

— Видите, товарищ Мольнар, этого можно было избежать.

— Вижу, не слепой.

Тимар продолжает ходить вокруг машины. Он поглядывает на голые по-весеннему холмы, на горы, над которыми нависло холодное, быстро темнеющее небо — в городе оно никогда не бывает таким безучастным. Сидеть бы сейчас дома в тепле и уюте.

Инструменты с грохотом летят в ящик под сиденьем, Мольнар сплевывает, вытирает грязные руки, бурчит:

— Готово.

Но дорога уже еле различима в сумерках, приходится включить фары.

После напряженного рабочего дня и переживаний из-за досадного эпизода на Тимара наваливается страшная усталость. Голова его клонится на грудь, он задремывает. Но тут же вздрагивает оттого, что портфель шлепается с сиденья на пол. Он машинально подбирает его и, прижавшись лицом к холодному стеклу, вглядывается в черноту ночи, скрывшую от глаз долину Мароша. Справа и слева от дороги вздымаются черные громады гор, по зеленоватому апрельскому небу между крошечными рифами звезд пробирается темная тучка.

«Только б не было дождя»,— думает Тимар.

Слева, в глубине, бесшумно несутся темные воды реки, устремляясь к спокойному руслу равнины. Погрузившиеся в сон, молчаливые деревянные дома, нахохлившись, стоят вдоль дороги. Их слепые окна отчужденно поблескивают в темноте; сейчас каждый дом — это отдельный замкнутый мир, страж тихих сновидений и неостывших очагов; о неторопливо текущей там жизни говорит лишь курящийся кое-где дымок. Но и он подымается далеко не из всех труб.

Машину резко встряхивает, Тимар теряет равновесие, хватается за ручку, чтобы не упасть, потом нагибается за портфелем, который снова сползает к его ногам. Но не может отвести глаза от суровой картины за окном. Вот мерцает желтым светом маленькое окошко. Тимар чувствует острую зависть. Там наверняка горит огонь, от еловых поленьев тянет теплым дымком, легонько вздрагивают стекла от налетающего временами ветра.

«Мне уже тридцать шесть,— думает он,— а я все еще не женат. Странно».

Как он ни устал, но эта мысль развлекает его, он даже пускается в спор с самим собой, придумывает доводы, выдвигает возражения. Однако спорит без увлечения, твердо убежденный, что правда окажется на его стороне.

«Будь я женат,— размышляет он,— сейчас беспокоился бы, как там жена. И она, конечно, волновалась бы, ведь я обычно не застреваю по ночам в дороге, всегда стараюсь к заходу солнца оказаться под крышей. Рассказывай потом, какая приключилась неприятность. Но я не женат. Лягу себе спать, а завтра примусь за работу».

Тут ему на ум приходит неоконченная корреспонденция, почти с отвращением он нащупывает в кармане блокнот в серой обложке. Бумаги сегодня на тракторной станции исписано много, целая гора, но все эти заметки как две капли воды похожи на другие, сделанные неделю назад на такой же тракторной станции. Как раз перед проколом он с удивлением обнаружил, что абсолютно все равно, на какой странице открыть блокнот.

«Мистика,— подумал он тогда.— Только бы не спутать имена и проценты». Сейчас он опять начинает размышлять над репортажем, но в голову лезут написанные на прошлой неделе, а может, и того раньше фразы. Впрочем, не мудрено, с такой-то усталости. Будь неладен этот Мольнар с его заплатами. Давно пора быть в постели. Тимар догадывается, что теперешняя усталость родилась не сегодня, она накапливалась исподволь, годами, как наносы на речном дне. Гвоздь от подковы, маята с заплатой, многочасовая задержка — лишь несколько песчинок вдобавок к уже скопившемуся грузу.

А ведь он всегда избегал жизненных неудобств, рьяно исповедуя принцип: отдых — источник силы. Но вот одна такая ночь, и надолго убито желание работать.

В этих краях, пожалуй, можно было бы неплохо отдохнуть, в таком вот домике, вдали от сутолоки, в тишине, наслаждаясь запахом хвои. Будь в этих халупах ванная да широкая удобная кровать — глупо было бы проводить отпуск в другом месте.

Мольнар за рулем хранит глубокое молчание. Хотя для него не секрет, что может думать его пассажир, его все это не слишком интересует. Он словно застыл — руки на баранке, глаза прикованы к дороге, бритый затылок будто высечен из камня. Тимар устало слушает прерывистый гул мотора и время от времени стукается лбом о стекло. То угрожающе выскакивают из темноты скалы, словно стараясь схватить машину, то проносятся одинокие печальные деревья, то мелькают редкие дома. Высоко на угольно-черном склоне горы мерцает одинокий огонек, наверное костер. Лучи фар сонно ощупывают серую дорогу. Машина лихо плюхается в ухабы и со скрежетом подпрыгивает на камнях. Опытный человек сразу поймет, что Мольнару не по душе ночная езда.

Тимар безропотно сносит тряску: все равно, лишь бы скорее добраться до постели; но потом ему приходит в

голову, что гвозди от подков не все перевелись и, если дело пойдет так дальше, могут сломаться и рессоры. Конечно, можно было бы прикрикнуть на Мольнара, выругать, одернуть, если бы не опаска, что тот обозлится и в отместку поведет машину еще хуже. Поэтому Тимар начинает очень тихо:

— Товарищ Мольнар,

— Да.

— Что вы думаете?

— Ничего,

— Я имею в виду дорогу.

— Ничего.

— Остановимся где-нибудь на ночлег? Например, в поселке,

— Там уже спят,

— Ну, тогда там, где увидите свет,

— Можно,

— Или поедем дальше?

— Дело ваше.

Машина подскакивает, стонет, трещит по всем швам. Тимар сам не знает, то ли хватать портфель, то ли прикрывать голову. Утром они здесь проезжали, но тогда дорога не была такой скверной. И он громко восклицает:

— Ладно, отдохнем до утра!

— Это последнее ваше слово?

— А вы как думаете?

— Я никак.

— Тогда последнее,— вздыхает Тимар. Он считает настоящим самоубийством собственными руками отрезать путь к любимому пружинному дивану. Машина делает резкий поворот, Тимар заваливается на сиденье, портфель опять падает, и, когда Тимару удается занять прежнее положение, машина сбавляет скорость и останавливается перед беленым забором.

— Что вы делаете, черт возьми?! — не выдержав, раздраженно кричит Тимар.

У Мольнара свое мнение о пассажирах. Только уступи им, стушуйся хоть немного, и пассажир обнаглеет, начнет распоряжаться. Всех их надо держать в ежовых рукавицах. Поэтому он бросает коротко:

— Сами видите. Затормозил.

— Да, но зачем же так?

— Как умею.

Он открывает дверцу, и в машину сразу врывается гул реки — мрачный, леденящий душу звук, похожий на надсадный плач. Из дома доносятся веселые голоса, песни, смех, треньканье цитры. Мольнар, не отходя от машины, некоторое время прислушивается. Его нюх не подвел и на этот раз.

— И он еще не доволен, как я затормозил,— ворчит Мольнар. Тимар молчит, но зол страшно. Он знает безошибочный инстинкт шофера, столь же верный, как умение ориентироваться у перелетных птиц: с закрытыми глазами найдет он дом, где идет гулянье.

«А ведь отдых — источник силы»,— думает Тимар.

Шум внутри стихает — вероятно, там внимают словам нового гостя. Скрипит сиденье от нетерпеливого движения Тимара.

Мольнар выходит из дома под руку с хозяином. Значит, уже успел опрокинуть стаканчик. В руках хозяина качается фонарь, выхватывая из темноты длинные ноги в суконных шароварах и чистых башмаках, белая рубаха навыпуск лишь смутно белеет. Хозяин сухощав, высок. Мольнар рядом с ним напоминает его короткую тень. По-румынски, мягко растягивая окончания, он приглашает Тимара зайти.

— Гости у меня,— объясняет хозяин, в то время как в доме с новой силой затягивают песню.— Сын пришел на побывку. Слышите! — он поднимает вверх палец.— Это доктора голос. Место у меня найдется только для одного человека, но у соседей тоже можно переночевать. Ну, а на ужин милости просим обоих.

— Ужинать зовет,— лаконично повторяет Мольнар.— Вылазьте, и пошли.

Тимар собирает всю свою решимость.

— Я не глухой и все прекрасно слышу, понятно? — Он пожимает шершавую руку хозяина и продолжает: — Не привык я так поздно есть. Хотелось бы только отдохнуть.

— Ведь сын пришел на побывку. От души зову, честь бы оказали.

— Окажу я вам эту честь,— Мольнар нетерпеливо дергает хозяина за рукав.— Так и так я у вас ночую. А товарищу дадим поспать. Ему не помешает.

В благодарность за такую заботу шоферу достается испепеляющий взгляд Тимара.

Хозяин примиряется с тем, что получил только одного гостя, и вызывается сейчас же свести Тимара к месту ночлега.

Они отворяют дверь в спящий домишко с темными окнами. Тимар с любопытством оглядывается: изъеденные копотью бревенчатые стены, лежанки, теснота.

Он представлял себе все несколько иначе. Тускло светит керосиновая лампа, судя по всему, электросеть лесопильного завода сюда уже не доходит. Из-под старенького одеяла за пришельцем внимательно следят двое ребятишек, глазенки третьего малыша поблескивают из-за руки немолодой женщины в белой рубахе, лежащей на кровати около печи.

Воздух спертый, душный. Хозяйка, как была босиком, в рубахе из грубого конопляного холста, бесшумно снует по комнате, готовя постель на широкой скамье. На отполированную до блеска доску она стелет толстую шубу, вместо одеяла кладет мохнатое покрывало.

Тимар безнадежно следит за происходящим: значит, на этой скамье ему придется спать. В одной комнате со всеми этими людьми. Из-за несчастной резиновой заплаты. Хорошенькая перспектива. Прежде, если ему и случалось иногда заночевать в деревне или в поселке строителей, для него всегда находилась отдельная комната. Здесь, видимо, условия другие.

Он делает шаг назад, пропуская хозяйку, и натыкается на ведро с водой. Раздается приглушенный ребячий смех. Тогда и Тимар смеется громко, правда, не без горечи, достает из портфеля печенье для ребятишек, но, когда поворачивается к ним — их словно корова языком слизала. Хозяйка отбрасывает за спину тяжелую косу.

— Ну-ка, вылезайте, несмышленыши. Быстренько, небось не из дикого края.— Как бусинки беличьих глаз в темном дупле, показываются из-под одеяла настороженные черные глазенки.

— Немножко покрошилось в дороге, но вкусное,— протягивает печенье Тимар.— И простите, что разбудил.

— Прощаем,— успокаивает его девчушка лет десяти с живым озорным личиком.— Мы не любим спать,— добавляет она весело.

— Вот как! А я люблю. Поэтому, если позволите...

Хозяйка понимает, быстро задувает лампу и укладывается в постель. В темноте Тимар раздевается, аккурат-

но складывает одежду на стул и вытягивается на лавке. Ох и тверда же она, он ерзает, пытаясь устроиться поудобнее.

«Нет, это не для меня»,— думает он. От печки исходит слабый свет, отбрасывая причудливые узоры на голые старые половицы, совсем как в далеком, уже забытом почти детстве. Если бы не кислый запах этой шубы и не ощущение, что по тебе скачут блохи! Уже засыпая, он слышит, как кто-то отворяет дверь. Это вернулся из лесу хозяин, что довольно странно, так как до субботы еще далеко.

Женщина зажигает лампу, прикрыв ее газетой, и, понизив голос, объясняет, что у них гость.

— Вшей-то не напустит? — ворчит мужчина.

— Что ты! Он на машине.

Тишина. Тимару приходит в голову, что, если уж на то пошло, вшей можно привезти и в машине. Снова раздается голос мужчины:

— Могла бы и потеплее чем укрыть.

— Не простынет. Я еще дров подложу.

Тимар невольно улыбается. Хоть и жестка скамья, зато в заботе нет недостатка. Звякает ведро, плещет вода, потом хозяин закусывает. Затем шаркает к печи, чем-то шуршит, и по комнате распространяется едкий запах махорки. Потом кровать трещит под тяжестью его тела. Ребята не шелохнутся. Возможно, они и не любят спать, но делают это с удовольствием. Наконец все затихает, и тут во дворе раздается бодрый мужской голос:

— Товарищ Вета! Неужели уже улеглись?

— Доктор!

Женщина проскальзывает к двери и отворяет ее.

— Вы уже легли? Да ведь еще рано. А я за вашим гостем.

Тимар до подбородка натягивает одеяло. Кроме него, гостей в этом доме как будто нет. Но незнакомец уже вошел и, направляемый хозяйкой, ощупью пробирается к его скамье. Тимар на всякий случай отодвигается как можно подальше от края кровати и инстинктивно вытягивает перед собой руку. Наткнувшись на руку, незнакомец крепко ее пожимает и шепотом представляется:

— Янош Фельтер. Здешний врач. Шофер ваш сказал, что вы здесь... Я очень хорошо знаю ваши статьи.

— Может, присядете,— выдавливает из себя Тимар, чтобы как-то заполнить неловкую паузу. В эту ночь рас-

суждения о собственных статьях отнюдь не входили в его планы.

— Нет, нет,— отвечает доктор,— я ведь пришел пригласить вас к себе.

— Спасибо, но у меня уже есть крыша над головой. Как видите.

— Да я не потому. Понимаете, я полтора года работаю над монографией о здешнем крае... Если бы вы прочитали ее, дали бы несколько советов. Как раз сейчас я пишу о периоде восстановления. А тут такой случай. Знаете что, одевайтесь-ка и через десять минут будем у меня.

— Но, товарищ доктор, ведь он наш гость.

— Ну и что из этого, товарищ Вета, что из этого? Готов биться об заклад, что товарищ охотнее согласится пойти со мной, чем убить драгоценное время на сон. Вам-то это хорошо известно.

Тимар натягивает одеяло еще выше, так что оголяются ноги. Что это еще за люди возникают тут, словно тени из темноты? И с каких это пор сон считается напрасной тратой времени? Вдобавок они торгуются из-за него, словно он гусь какой-то или кочан капусты, им и в голову не приходит узнать, что он сам думает по этому поводу.

Победа в споре остается, к сожалению, за доктором. Хозяйка даже зажигает лампу, чтобы гостю сподручнее было собрать свои вещи.

Тимар, внутренне возмущаясь и проклиная судьбу, вылезает из-под своего покрывала, словно перепроданный раб. Зашнуровывая ботинки, он незаметно приглядывается к доктору: молодой, плотный, каштановая кудлатая голова, зеленое жеваное пальто, похоже, он и спит в нем, и ходит.

«И это врач? — думает Тимар.— Ночной бродяга, шарлатан, знахарь. От всех недугов наверняка одно лекарство — палинка. Хотел бы я знать, из какой он семьи».

— Можем идти,— отрывисто бросает он, собравшись. И даже не благодарит хозяев за сердечный прием. Кто с такой легкостью избавляется от своих гостей, пусть не рассчитывает на признательность. И эта новая напасть опять не обошлась без Мольнара!

Фельтер говорит не переставая, Тимар молчит, занятый своими мыслями,— так доходят они до спящего поселка. Доктор живет в красивом доме под высокими елями, вернее, в одной из комнат этого дома.

Просторное помещение заставлено до отказа, словно некий жадный сборщик недоимок свалил сюда свою добычу. В углу гора поленьев, лыжи, удочка, жестяные бидоны, колодка для сапог, в просторечии именуемая собачкой, на еловом письменном столе прикнопленная к чертежной доске неоконченная диаграмма смертности и каких-то еще показателей, краски, коробки, цветные карандаши, медицинские приборы, холодно поблескивающий микроскоп, странные миниатюрные весы, и над всем этим развалом парит, распластав широкие крылья, огромная сова. Тимар невольно делает шаг назад.

— Чучело. Лесник подстрелил,— поясняет Фельтер,— а я подготовил ее для школы. Bubo, Bubo, Bubo L. К сожалению, имя надо повторять трижды, утомительное занятие. Сию минуту уберу ее отсюда.

Обстановка в доме убогая, нетрудно заметить, что все эти предметы, прежде чем перекочевать сюда, оказались где-то совершенно лишними.

Две узкие койки — на вид не шире той покрытой шубой скамьи. На одной к тому же мирно устроилась темнокоричневая белочка.

— Мики, черт тебя побери! — доктор замечает зверька.— Ящик тебя уже не устраивает.

Он подхватывает белочку, укладывает в ящик и прикрывает обломком доски.

— Вот так-то лучше. Ее кто-то покусал, и она попала ко мне с тяжелыми ранами. Надеюсь, недели через две она уже сможет отправиться обратно в лес. Прямо скажем, обычаи у нас варварские. Поглядите-ка, это благодарность за лечение.— Он показывает исцарапанные руки и весело смеется.

«Да, этот не будет спешить на боковую»,— хмуро констатирует Тимар.

Монография о крае вызывает у него дрожь. Интересно, сколько может написать один врач за полтора года, 50 страниц? 300? На всякий случай он устраивается поудобнее. Сбрасывает плащ, включает маленький приемник, садится на кровать, но не на ту, где лежала белочка. Фельтер тем временем ловко справляется с обязанностями хозяина: затапливает печку, ставит чайник, убирает со стола сову, диаграмму, приборы, на их место ставит чашки. Из шкафчика с надписью «Профсоюзный архив» вынимает сыр и кусок копченого сала.

— Это время мое,— говорит он.— В это время я работаю над рукописью или делаю что придется, например вот такую сову. Днем времени нет. Ну и, кроме того — только это между нами,— кое-чему подучиваюсь. Бог знает, почему-то всегда хотел быть отоларингологом. Все-таки обидно сознавать, что чего-то хотел и не получилось. Но еще может получиться. Впрочем, здесь очень интересно, я оборудовал хороший кабинет и рентген наладил, завод во всем идет мне навстречу. Любопытный край, сказал я себе, когда немного огляделся. Вот и за перо взялся, чтобы описать его.— Он разглаживает скатерть и указывает в сторону шкафа: — Вон она рукопись, наверху. После чая полистаем.

Тимар исподтишка прикидывает объем стопки — минут на тридцать, не так уж много. Да, но потом полагается хвалить. Пожалуй, пора вставить словечко, и он осведомляется:

— Почему вы не женитесь?

— Кто сказал, что не женюсь? — Доктор вперяет в него удивленный взгляд.

— Никто, я так только...

— Тогда понятно. А я было подумал, что ходят слухи такие. Будьте спокойны — как только полюблю кого-нибудь...

Он перекидывает через плечо салфетку, прижимает левую руку к сердцу, правую поднимает как для присяги, торжественно выпрямляется, и в этот момент раздается громкий стук в окно.

— Так. Это по мою душу,— рука Фельтера опускается.— Если беда — только в окно стучат. В дверь никогда... Нарочно замечал... Ну, и разумеется, только ночью. Таков человек. Днем он еще надеется... Что ж, посмотрим.

И он выходит, прикрыв за собой дверь. Тимару очень хочется есть. Что же это — ни сна, ни ужина? Он надкусывает кусок сыра — вполне приличный на вкус. Задумчиво жует. Сколько раз приходилось бывать на лесопильных заводах, но этот какой-то особенный.

Однажды не меньше часа он следил за рабочим на пилораме, не пропустил ни единого движения, чтобы потом описать все подробно. А когда поставил точку в конце очерка о сложном труде пилорамщика — он отчетливо помнит это,— в голове возникла странная мысль: ну, а дальше что? А тут совсем другое. К примеру, кому понадобил-

ся вдруг врач в эту тихую холодную ночь. Фельтер возвращается, тихонько насвистывая сквозь зубы, не мешкая, одевается, готовит свой саквояж. Сомнений нет — уходит.

Тимар еще раз откусывает сыр, остатки рассеянно сует в карман, вытирает руки скатертью. Сердиться сил уже нет, ему становится как-то грустно, грустно за самого себя. Если сейчас прилечь, доктор, вернувшись, все равно разбудит. Нет уж, хватит с него и одного раза. Ждать и читать — не выдержишь, спать хочется так, что в голове гудит.

Он поднимается и с оскорбленным видом тянется за плащом.

— Погодите, будьте любезны, я с вами.

Тем временем набежали тучи, небо черное, как сажа, лишь в двух местах виднеются бледные просветы. По долине тянет холодный ветер. Тимар, стуча зубами, поднимает воротник плаща. В эту минуту он чувствует себя не журналистом, а только жалким измученным человеком, которому не удается поспать.

Их ведет сгорбленная крестьянка в платке. Она очень перепугана и время от времени громко всхлипывает. От этого звука у Тимара по спине бегут мурашки.

Они шагают вдоль реки до моста и, перейдя его, поворачивают в обратную сторону. Довольно долго они идут по приличной дороге. Вдруг старуха сворачивает на тропинку, ведущую вверх.

Тимар судорожно хватает ртом воздух, тропинка то и дело выскальзывает из-под ног, но он замечает это, лишь оказавшись по пояс в колючих зарослях или споткнувшись о большой камень.

Перед ним неожиданно вырастает пень, на который Тимар налетает с такой силой, что едва не теряет сознание от боли, и после с трудом волочит левую ногу. Он пробует ориентироваться по шуршанию камней, по треску сучьев, хотя у него временами и мелькает мысль, что он давно отстал от своих спутников и бредет теперь по следам какого-нибудь шатуна-медведя. О твердой скамье и кислой овчине он вспоминает так, словно провел на них сладчайшие минуты своей жизни. Его спутники уверенно ступают по тропинке, однако не настолько уверенно, чтобы помогать и ему. Задыхаясь, обливаясь потом, карабкается он следом за ними, и в голове стучит вопрос, знал

ли доктор об этой дороге и если знал, то почему не предупредил его. Вот значит, какова на поверку эта пресловутая совесть врача? Никогда еще он не опускался до того, чтобы использовать свою профессию в личных целях, но, ей-богу, этот Фельтер заслуживает, чтобы его как следует отделали в газете. Тимар размышляет об этом, пока наконец не замечает впереди слабый, едва брезжущий свет. Не тот ли самый, что виден был с дороги? И уже не глядя под ноги, напролом спешит к этому огоньку. Нет, это не костер. Маленькая хата, вернее, хижина, с высокой нависшей кровлей и крошечными, не больше ладони, оконцами, стоит на обрыве. Оттуда и льется этот слабый свет.

Человек скорее спокойный и рассудительный, нежели любопытный, Тимар привык все, что ему надлежит знать, узнавать от других. Но в эту минуту, невзирая на смятенное состояние, ему хочется посмотреть, что происходит внутри. И он делает несколько шагов, чтобы заглянуть в дом.

Он видит женщину, лежащую на некоем подобии кровати. На ее худом лице резко обозначились скулы. Больше ничего разглядеть он не успевает, так как Фельтер, бормоча какие-то извинения, захлопывает перед ним дверь. Впрочем, с него довольно и того, что он увидел. Он прислоняется к стене дома и закуривает. Серьезным курильщиком его не назовешь. Часами ему и в голову не приходит затянуться, но пачка хороших сигарет на всякий случай всегда лежит у него в кармане. И вот теперь только этот жадно вдыхаемый им ароматный дым — единственное доказательство того, что мир не застыл в своем первозданном хаосе. Хотя за спиной воет в кронах деревьев ветер, стучит дранкой по кровле, рассыпает красными искрами пепел сигареты. Но Тимар ощущает только стену дома за своей спиной, землю под подошвами, и еще резкий ветер и гул, от которого мороз пробегает по коже, гудящая беснующаяся тьма окружает его со всех сторон, давит и душит. Внизу, в глубине адской бездны, ревет река, вверху, в бездонной черноте неба, завывает ветер. Он зябко прижимается к стене дома. Заходят ли сюда дикие звери? Маловероятно, но возможно. А там, внутри, быть может, умирает женщина.

— Где вы?

Распахивается дверь, Фельтер в одной рубашке, су-

тулясь, возникает на пороге. Волосы падают ему на глаза.

— Пульса почти нет,— отрывисто сообщает он.— У нее кровотечение уже несколько дней, муж, ясное дело, в лесу. Еще хорошо, что вы тут. Пошли поищем какую-нибудь лестницу.

Держась за стену, он ощупью направляется вдоль дома. Тимар рад, что может чем-нибудь помочь, раз уж оказался тут. Но не знает, что предпринять, только стоит и ежится, пока Фельтер внезапно не появляется из темноты с полурассохшейся лестницей в руках.

— Вы на чердак? — Тимар с готовностью протягивает руку.— Прислоните ее к стене, я подержу.

— Подержите? — с принужденным смешком отзывается доктор.— Отойдите-ка в сторонку...

Он бросает лестницу перед дверью, выносит тонкое одеяло.

— Расстелите-ка.

Зловещие приготовления пугают Тимара. Он не понимает как следует, в чем дело, но послушно выполняет все распоряжения врача.

Фельтер на руках выносит худую женщину, укладывает ее на лестницу и укрывает другим одеялом, которое подает ему старуха. Потом быстро накидывает пальто, кладет свой саквояж на лестницу и пристально вглядывается в темную глубину.

— Нам не пройти по мосту,— говорит он.— Поезд все равно пойдет только на рассвете, понесем прямо к машине.

Тимар пожимает плечами, ему все равно. Раз больную надо снести отсюда, пожалуйста, он не против, здесь и думать нечего. Правда, он не уверен, смогут ли они вдвоем снести такую тяжесть по этой проклятой тропинке. Он берется за лестницу — она оказывается неожиданно легкой. Через несколько шагов тропинка, как и следовало ожидать, круто уходит из-под ног. Тимару приходится опустить свой конец как можно ниже, чтобы женщина не соскользнула вперед. Словно иглой пронзает поясницу. На лбу, несмотря на сильный ветер, выступают капли пота. Старуха с лампой идет впереди. Свет мечется по камням и пням, пользы от него мало, только слепит глаза. Но по крайней мере они хоть не теряют тропинку. Больная на лестнице не издает ни звука, хотя временами лестницу встряхивает, когда кто-нибудь из них споты-

кается. Тимар даже не решается подумать о причине этого молчания. Жалость смешивается в его душе с ужасом, но, делая над собой усилие, он крепко сжимает свой конец лестницы.

— Тише! — хрипит он.— Здесь очень скользко...

— Смелей,— одобряет доктор.— Осторожно, пенек... еще один... Закройте рот, дышите через нос.

«Господи, только его советов мне сейчас не хватает,— думает Тимар.— Того и гляди, объяснит, как полезно чистить зубы перед сном». Его утешает лишь сознание, что еще немного, и все это кончится, он сможет лечь и навсегда вычеркнуть из памяти сегодняшнюю ночь.

Шум реки усиливается. Свет лампы неожиданно освещает бешено несущуюся воду.

Старуха, причитая, топчется на берегу.

— Понесем к мосту, товарищ доктор... Уроните... Течение слишком сильное, сбивает с ног.

— Спокойно, мамаша,— говорит доктор, не останавливаясь.— Спокойно. Мосты, они только при лунном свете хороши.

Лестница кренится. Фельтер спускается к реке и входит в воду. Тимар пятится: так вот что означает нести прямо к машине. Все в нем возмущается, протестует, но ведь лестницу не отпустишь, а доктор, словно только и мечтал искупаться в реке ранней весной, не оглядываясь, заходит все глубже. В следующий момент Тимару кажется, будто его ноги до колен откусила бурлящая ледяная вода.

Старуха остается на берегу. До них уже не долетает ее жалобный тонкий голос.

Дом Сурду тих, светится только окошко, выходящее во двор.

Едва они вваливаются туда, как отворяется кухонная дверь и Мольнар высовывает свою квадратную голову.

— Кто там?

— Мы,— задыхаясь, отвечает Тимар.— Машину, быстрее!

Мольнар оторопело всматривается в темноту, но ничего не различает. Тогда он спускается с крыльца, спотыкается о лестницу и заглядывает в лицо Тимару.

— Я против вас ничего не имею,— ворчит он,— но никаких машин.

— Как так никаких машин?

— А вот так.

— Вы с ума сошли, Мольнар?

— Еще что?

И в нос Тимара шибает такой сильный запах водки, что у него кружится голова. Шофер пьян в стельку и только чудом держится на ногах. Тимару хочется пристукнуть его. Такое желание возникает у него частенько, но сейчас оно особенно сильно. На пороге появляется Сурду, медленно спускается с крыльца и тоже задевает ногой за лестницу. Он зажигает спичку, нагибается и старается разглядеть лицо больной женщины.

— Раз уж вы напоили шофера,— в ярости взрывается Фельтер,— нечего пялить глаза на эту несчастную.

Сурду выпрямляется, он хоть и пил, но по нему не заметно.

— Гостю рта не завяжешь,— отвечает он резко.— Таким уж, видно, характером наградил его бог. Я бы этого пьяницу у себя и дня не держал. Да только ничего не поделаешь — гость.

Фельтер обрушивает на голову хозяина всю свою горечь.

— Что вы нам проповедь тут читаете? Да знаете ли вы, что пропили жизнь Бодоканне, или вы тоже пьяны?

— Что вы! И почему... Если надо на станцию, я разбужу сына.

— Туда мы и сами бы донесли.

Доктор подходит к двери, к свету, смотрит на часы и едва заметно качает головой. Но он не сдается, останавливается перед Мольнаром и смотрит на него в упор:

— Эй, не побоитесь пуститься в дорогу?

— Я? Не будь я на отдыхе...

Все молчат. Мольнар стоит, пошатываясь из стороны в сторону, но до него все же доходит, что лучше прикусить язык. Дверная ручка поблескивает в полосе света, падающего из кухни. Свистит ветер, пронизывая мужчин в мокрой одежде и женщину, безмолвно лежащую под тонким одеялом. Позади дома трещат сучья — это бежит к лесу собака. Тимар опускает голову, не решаясь взглянуть на врача. Зубы его выбивают дробь, дрожь сотрясает тело. Да, вот так разбиваются мечты. Если бы не давнее воспоминание об автомобильной катастрофе, он сел бы в машину и отвез эту женщину в больницу, ведь сдавал же он экзамен четыре года назад.

— Всего восемнадцать километров,— нарушает молчание Фельтер.— Проехали бы за полчаса...

Женщина на лестнице неожиданно делает движение и поднимает глаза на врача.

— Пусть уж... Я могу дождаться и поезда...

Фельтер присаживается около нее на корточки.

— Не надо дожидаться, Бодоканне,— хрипло говорит он.— Отнесем вас в мой кабинет. Там есть все, что нужно.

Тимар понимает, что, если бы в этом был хоть какой-нибудь смысл, ее сразу отнесли бы туда. И чувствует, что у него не хватит сил после стольких испытаний быть еще свидетелем смерти этой женщины. Он тихо говорит Мольнару:

— Дайте ключ зажигания.

— Вы умеете водить машину? — вскакивает врач.

— Нет... Возможно... Когда-то я сдавал экзамен...

Тимар говорит тихо, чтобы не услышала больная.

— Ведь ей уже не может быть хуже... чем вот так на земле... Потому что, полагаю, у вас в кабинете...

— Правильно полагаете.

Доктор поворачивается.

— Ну так. Давайте ключ.

Мольнар сопротивляется изо всех сил, толкает Тимара, пинает Фельтера, получает увесистую оплеуху, и, прежде чем приходит в себя, его сзади обхватывает Сурду. Тимар достает у него из кармана ключ, и больше они уже не обращают внимания на Мольнара, хотя тот яростно ругается и скрежещет зубами.

Они укладывают женщину на заднее сиденье, только ноги не помещаются и свисают вниз. Сурду приносит ей под голову подушку. Доктор пристраивается на полу машины, чтобы быть около больной и чтобы не дать ей соскользнуть с сиденья. Тимар забирается на место шофера, включает мотор, зажигает фары. Неуверенно шарит ногами по педалям. Он чувствует себя как приговоренный к смерти: если бы не Фельтер за спиной, он так и не решился бы тронуться с места. Потрепанный «шевроле» неуклюже выползает за ворота и поворачивает на дорогу. Лучи фар скользят по берегу, по воде и наконец, качнувшись влево и вправо, вытягиваются вдоль дороги.

Тогда, сдавая экзамен на права, Тимар должен был сделать на стареньком «оппеле» один-единственный круг,

но он чуть было не врезался в самую гущу комиссии. Поднялся страшный переполох, инструктор едва не задохнулся от злости. Однако экзамен все же приняли, потому что Тимар божился, что никогда в жизни не сядет за руль. Теперь он сидит, напряженно склонившись к баранке, и судорожно пытается угадать, как переключается скорость. Случалось, от скуки он спрашивал у Мольнара то одно, то другое, но ответы пропускал мимо ушей. Мотор натужно ревет, машина сотрясается. Она идет неровно, толчками, то устремляется к темнеющей по правую сторону реке, то испуганно кидается влево, почти царапая бок о скалу. Время от времени сам собой взвизгивает клаксон. От этого звука Тимара бросает в дрожь. Он не замечает, что временами касается рукавом кнопки сигнала, и ему кажется, что это машина в страхе кричит. Он тоже едва не вскрикивает от ужаса, когда вдруг буквально под колесами видит мерцание воды или когда ему чудится скрежет прижатого к скале крыла.

— Идет вполне прилично,— замечает врач.

— Никогда бы не подумал. Простите, здесь подъем.

Свет фар взмывает ввысь и теряется в пустоте, дорога уходит в непроглядную тьму. Быть может, и нет там никакой дороги, а только бездонная глубина... Тимар, как его в свое время учили, нажимает на сигнал, кнопку заедает, и нет конца хриплому вою. Он дергает проклятую кнопку, нога тем временем сползает с акселератора, и машина останавливается, потом начинает катиться назад. В отчаянии он нажимает на тормоз и снова трогает машину, все вокруг сливается, в глазах рябит, руки едва слушаются.

— Хорошо, очень хорошо,— подбадривает Фельтер мрачно.

После подъема свет фар снова нащупывает землю. Некоторое время дорога более или менее спокойная. Тимару вспоминается жесткая, покрытая старой овчиной скамья, затем лестница, покачивающаяся над мелкой стремительной рекой, потом оплеуха, отвешенная Мольнару Фельтером. Он не замечает, что река сворачивает в сторону от дороги. И ощущает на плече руку врача.

— Приехали, после моста налево...

Они останавливаются перед больницей. Двое санитаров поднимают женщину, доктор им помогает. Выходит из машины и Тимар, присаживается на подножке, бес-

сильно свешивает руки. Темнота уже поредела, затянутое тучами небо свинцово сереет на востоке, городок погружен в предрассветный сон. На улицах нет ни души.

Тимар достает сигарету, от речной воды она превратилась в месиво, со спокойной совестью можно выбрасывать всю пачку. Одежда его ниже пояса хоть выжми. Машинально он шарит по карманам в поисках что бы еще можно выбросить за ненадобностью. Под руку попадается кусок сыра, который он откусил перед уходом. Он снова откусывает и равнодушно жует, еле ворочая онемевшими челюстями. Над входом в больницу светится шар с красным крестом. Тимар смотрит на этот шар застывшим взглядом, ждет врача — без него он чувствует себя, как часы, в которых кончился завод. Осталась только смутная тревога, что все было напрасно и женщина все равно не переживет этой уже почти ушедшей ночи.

Он долго сидит неподвижно, в звенящей тишине и крепчающей стуже, пока наконец Фельтер не показывается под светящимся шаром. Врач взъерошен, в мокрой и грязной одежде, словно вывалялся в канаве. Остановившись на тротуаре, он начинает тщательно расчесывать густые спутанные волосы.

Тимар с трудом поднимается.

— Ну как? — спрашивает он хрипло.

— Ей переливают кровь. Думаю, что все будет в порядке.

Фельтер убирает расческу, критически оглядывает свое зеленое пальто, намокшее до самых подмышек, потом взгляд его останавливается на лице Тимара.

— Что с вами? Вам нездоровится?

— Это почему же?

— Вы выглядите так, словно вас побили.

«И это мне говорят тогда, когда я наконец счастлив»,— думает в сердцах Тимар. Вслух же он говорит:

— И вы тоже.

— Для меня это не новость.

— Для меня тоже.

Профессиональным движением он проверяет покрышки, ощупывает радиатор: он частенько видел, как это делает Мольнар. Затем обходит и внимательно осматривает машину: все как обычно, но все же Тимар озабоченно качает головой:

— Думаю, до дома выдержит.

— А по мне, пусть хоть взорвется. И пешком дойдем,— говорит Фельтер. Он залезает на заднее сиденье, запахивает мокрое пальто, бросает еще раз взгляд на двери больницы и откидывается назад.— Поехали.

Тимар молча садится на свое место, и машина, ворча и подпрыгивая, пятясь, выезжает на шоссе.

— Обязательно пришлите рукопись, как закончите,— кричит Тимар, когда машина трогается с места.

— Ладно! — кричит доктор.— Пришлю! И не забывайте наших краев. Знаете что? Приезжайте сюда в отпуск, отлично отдохнете!

— Непременно! Я напишу...

— Места у меня много, вы ведь видели.

— Конечно. Ну и вы, как будете в городе...

Остальное заглушает резкий звук автомобильного сигнала.

По дороге группами уже тянутся рабочие по направлению к лесопильному заводу. Мольнар мрачно молчит, возможно, еще не совсем протрезвел. В маленьком наклонном зеркальце виднеется его виноватое, отекшее, в синяках лицо. Он ведет машину осторожно, словно этим можно хоть что-то спасти из того, что он загубил ночью.

Тимар оглядывается, ему хочется еще раз увидеть доктора, он даже голову высовывает в окно, но его слезящиеся от бессонницы глаза не выдерживают бьющего в лицо ветра; к тому же и дорога делает поворот. Вскоре машина выскакивает в покрытые росой поля. Из расселин поднимается туман, над рекой колышется сероватая дымка. Мир привольно раскинулся до самого горизонта. Одна за другой сменяют друг друга рощи и пашни. Вдали по проселочной дороге одиноко шагает человек в соломенной шляпе, на плече у него мотыга, время от времени над шляпой поднимается дымок попыхивающей трубки. Тимар носовым платком вытирает глаза. Его измученному телу приятно мягкое покачивание машины, но духом он бодр. Пожалуй, можно и поработать, он вытаскивает из внутреннего кармана блокнот в серой обложке, но тут же сует его обратно. Накануне вечером он тоже попробовал обдумать репортаж, однако в голову почему-то лезли уже не раз написанные фразы; а сейчас рождались мысли, которых прежде в его репортажах не было. Впрочем, вчера вечером ему, видно, мешала усталость.

СТРАХ

На побитом инеем жнивье негде было спрятаться; когда пробегал заяц, его белый задок издали бросался в глаза, если б кому-нибудь вздумалось проследить за зверьком. Днем было бы рискованно продолжать путь. Михай Бодо забрался в ломаную редкую кукурузу меж шуршащих серых стеблей и залег на дне мелкой оросительной канавки. Там, дрожа от холода, голодный, пробыл он до вечера в изнурительном раздумье, вздрагивая от каждого шороха; после захода солнца, в сгущающихся сумерках, он, взяв себя в руки, вышел на тропинку, и в ту же минуту счастье изменило ему: двое полевых жандармов — сержанты, уже немолодые,— как раз возле него сошли со своих велосипедов.

Уже совсем стемнело, когда они добрались до казармы воинской части. В канцелярии его поставили к стене. Он не посмел ни прислониться, ни оглядеться, уставился на когда-то черный от керосина, а теперь покрытый толстым липким слоем грязи пол. От стоящей в двух шагах железной печки веяло нестерпимым жаром. Бодо вспотел, хотелось вытереть мокрую шею, но шевельнуться он не смел. Побег, скитание и внезапная поимка измотали его, он весь дрожал, его тошнило, даже побои в пути не причиняли боли, словно на него сыпались рыхлые песчаные глыбы. Аккуратненький румяный полковой курьер подошел к печке, легко опустился на одно колено и подбросил несколько поленьев в яростно пылающее пламя; его светлые, чистые глаза сочувственно скользнули по задержанному. Бодо замер в ожидании. В его усталой памяти всплыл прошедший день, короткий, как несколько

минут; казалось, он только что шел по голому фруктовому саду в сторону полей и мечтал, как переждет где-нибудь в стоге сена, пока фронт отодвинется дальше, а потом вернется домой, в Трансильванию. Ему хотелось домой, и теперь его взяло сомнение: в самом ли деле он удрал или просто вышел прогуляться в поле? «Смотря как подойти, ведь это не был настоящий побег»,— утешал он себя.

Наконец открылась дверь кабинета, на пороге появился подполковник Реметеи, исхудавший, в расстегнутом кителе, на котором тускло поблескивали темные полевые пуговицы. Он равнодушно взглянул в сторону Бодо и бросил шедшему за ним адъютанту:

— Утром.

Потом подполковник вернулся в свой кабинет. Адъютант уселся за стол, задумчиво похрустывая длинными пальцами, а полевой жандарм, выйдя от старшего офицера, подтолкнул Бодо. Его провели мимо большого, с верандой, дома, в глубину двора, где к старому брандмауэру прислонился низкий сарайчик. Бодо втолкнули туда и закрыли дверь, предварительно сдернув с него шинель. Толчок был не очень сильный, но Бодо упал. Он лежал на мягкой куче стружек, куриного помета и еще какой-то пакости, и его вытянутые ноги вздрагивали, словно он хотел бежать, и, казалось, ничто этому не препятствует, ибо стен сарая не было видно из-за густой, как смола, темноты. Вспотевшее тело начинало стынуть. Бодо на ощупь пошарил вокруг себя без всякой определенной цели; руки, словно скинув оковы, двигались помимо его воли, а мозг лениво, с опозданием узнавал предметы. Вот чурбан для колки дров. А вот ушат. Доски, видно, от кровати. Шершавая поверхность балки с забитыми в нее гвоздями. А вот, кажется, ведро или что-то еще.

— Эй, тихо! — часовой у двери топнул ногой.— Не двигаться!

Бодо замер. Он и не заметил, что к нему приставлена охрана. Подумать только. Теперь можно было не сомневаться, какой приказ отдал подполковник Реметеи, прибавив, «утром». Темнота вдруг всколыхнулась и полилась отвратительной жидкостью, пропитывая Бодо, как губку. Он вскочил, бросился на землю, прижал ладони к глазам и очень долго не мог перевести дыхание, затем схватился за свои влажные волосы и стал выдирать их клочьями. Временами сознание покидало его, и он слышал только

какой-то легкий шорох среди холодной темноты, затем снова грудь и горло захлестывала едкая боль, и Бодо начинал выть.

— Молчать! — Часовой испугался — неподалеку находились офицерские квартиры, и если проснется какой-нибудь офицер, ему попадет.

Только Бодо не мог молчать, он засовывал в рот рукав мундира, но и так ему не удавалось заглушить свой голос, а ведь он был человеком смирным и совсем не хотел зла охранявшему его часовому, а себе — и подавно. Через четверть часа его тело скрутила судорога, он весь замерз, и мозг его тоже, будто к нему пристыла загустевшая смола темноты. В углу сарая возилась мышь, больше ничто не нарушало тишины, потом раздался треск ракетницы, и мимо торопливо протопали тяжелые солдатские башмаки, будто стадо овец прошло. Бодо, полумертвый от страха, слышал все это, перед его широко раскрытыми глазами стояло чисто выбритое костлявое лицо подполковника Реметеи, и из груди рвались умоляющие, полные надежды слова: «Осмелюсь доложить, господин подполковник, вы изволили сказать, что утром; но ведь я не убегал... Всего лишь в поле вышел... В прошлый раз того ефрейтора и его товарища расстреляли, но их-то не было целых три дня... вон как далеко их поймали... А меня совсем рядом, в поле. Я, осмелюсь доложить, хочу защищать свою родину...»

Часовой топал, покашливал за дверью. Ему хотелось курить, но под открытым небом было рискованно: могли обвинить в том, что он подает сигналы русским летчикам. После долгих раздумий он наконец решился и прижал губы к дощатой стене:

— Эй ты! Слышишь? Я суну тебе сигарету через эту дырку. И спички тоже... Ты зажги внутри, а я потом буду прятать в ладонях...

Будто от дуновения теплого ветра, Бодо очнулся. Подполз к двери, зажег сигарету, сунул ее в дырку, потом тоже прижал губы к доске:

— Послушай, друг...

Часовой отошел шага на два.

— Замолчи,— ответил он.— Сейчас меня сменят, и я не желаю ничего слушать.

В самом деле вскоре явилась смена и, шаркая, тяжело протопала по тихому двору.

Часовой постучал в дверь.

— Эй, ты здесь?

— Здесь,— вскинулся Бодо.

— То-то.

Стало тихо. Новый часовой временами простуженно шмыгал носом и что-то бурчал. Бодо продолжал терзаться, молил подполковника, и временами ему казалось, что не напрасно, ведь он такой же человек, с чутким сердцем. Тогда Бодо проникался любовью к начальнику, с сочувствием думал о том, сколько у него дел, сколько забот с тупыми солдатами. Но хмель самообмана держался недолго: Бодо начинал молиться и рыдать, он чувствовал, что еще немного — и он застонет, завоет. Бодо пытался взять себя в руки, но тщетно: перед ним возникали ужасные картины, заставлявшие его громко вскрикивать. Обозленный часовой стучал в дверь, ругался, грозил, однако Бодо ничего не слышал, поглощенный кошмарным видением мертвецов с посиневшими грязными ногами, а в ушах его звучал только сухой голос Реметеи. Солдат снова велел ему замолчать; и, к счастью, Бодо опять свела судорога, горло сдавило; хватая ртом воздух, он извивался на полу.

«Не выдержать мне до утра, ни за что не выдержать,— подумал он с отчаянием, едва пришел в себя.— Уж лучше бы рехнуться, тогда бы хоть не понимал, что со мной происходит. И ушел-то я всего на каких-то четыре километра. Никак не больше».

Четыре километра. За это нельзя расстреливать. Ну, ушел человек и вернулся, и все дела, хотя он не один вернулся, а с двумя жандармами. Но ведь любой может встретиться с жандармами. Вернулся — и это главное; днем у него не было никаких важных дел, которые бы пострадали из-за его отлучки, а утром, если его опять поставят в строй, он тотчас же начнет службу.

Но, несмотря на все эти доводы, он по-прежнему был заперт, а перед дверями сарая стоял часовой. Губы саднило от соленых слез, знобило, мучили неведомые доселе мысли, нелепо мешались воспоминания. А время бежало среди озаренной заревом пожара ночи, и минуты то казались секундами, то долгими часами; порой Бодо пугал этот гибельный бег, а порой охватывал ужас, что мучениям его конца не будет, страх сменялся слабостью и полнейшим равнодушием. И вдруг он заметил, что одна

из щелей между верхними досками шире остальных; тихо, чтобы солдат за дверями не услыхал, подполз он к стене, встал на чурбан и прижал лоб к этой щели. С полей дул сырой ветер; земля ежилась под надежным покрывалом непроглядной ночи, темноты которой не нарушали ни звезда небесная, ни земной огонек. Жалкий хор петухов возвестил полночь. «Полночь,— подумал Бодо, чувствуя, что мысли его проясняются.— Последняя полночь в моей жизни,— у него опять полились слезы.— Теперь бы я уже спал в стогу... А денька через два-три мог бы отправиться домой. Вот бы родные обрадовались». Он попытался облизнуть потрескавшиеся губы, но язык был сухой, горячий и такой шершавый, что, казалось, слышно было, как он касается губ. Мучила жажда.

Бодо почему-то вспомнил, что, когда расстреливали ефрейтора Селеша, Реметеи рассеянно кивнул после залпа, как бы соглашаясь с казнью. Кажется, он и улыбнулся, но в этом Бодо точно не был уверен. Минута просветления проходила, темнота, колыхнувшись, снова навалилась на него всей своей тяжестью.

Бодо захотелось куда-нибудь спрятаться. Он спрыгнул с чурбана, не думая уже о том, что солдат может на него накричать, и заметался, налетая на грохочущее ведро, на стены, невидимые в темноте. Он расшиб себе все лицо, лоб. Нос разодрал о торчащий откуда-то гвоздь. Наконец он рухнул на землю и судорожно сжал горло, пытаясь задушить себя. Последние силы оставили Бодо, он лежал, как большая тряпичная кукла, изредка вздрагивая от боли. Охранявший его солдат покашлял, довольный наступившей тишиной; по улице медленной рысью проехал всадник; в углу снова завозилась мышь, ей было невдомек, почему эта ночь выдалась такой тревожной.

Так прошел час. Бодо стал снова приходить в себя; и, хотя он ничего не видел, взгляд его искал хоть какого-то проблеска жизни, хоть какого-то подтверждения, что эта жуткая темнота все же земля, а не ад. Опять вспомнилась прошедшая жизнь, отдаваясь тихой болью в сердце, промелькнули лица домашних, как обрывки уже наполовину забытого сна. «Боже, а кто я, собственно, такой? — спрашивал он себя.— Значу ли я для кого хоть что-нибудь? Михай Бодо, неплохой бондарь, солдат, червяк, ничто. Таких хоть пруд пруди, и сколько нас уже лежит в земле... Реметеи — другое дело. Он на примете,

Он — царь и бог, ему все можно, его воля священна. Пуля не коснись его, башмаки не смей натирать ему ноги, и уж он-то не встанет грудью перед наступающими русскими. Его дело кивнуть, когда в меня выстрелят, как тогда, когда расправились с ефрейтором Селешем. Селеш на коленях подполз к нему, а не стоило — все равно ухлопали... неужели я тоже буду умолять его, подползу к нему на коленях, если все это напрасно?»

Бодо вздрогнул, прислушался к шепоту ветра под крышей, затем попытался потуже стянуть ремень, всем телом ощущая холод морозной ночи. Им овладела мысль, перед которой отступило все остальное. Он не мог смириться с ней так же, как с холмиком без креста и памятника, все время преследовавшим его. Бодо казалось, что он будет чувствовать и после того, как его схоронят,— но это теперь было уже не так важно, как еще совсем недавно. Сейчас его мучила мысль о том, что Реметеи разделается с ним, а у него никогда больше не будет возможности расплатиться с подполковником. Вот если бы утром подстеречь его у дверей дома и пустить ему в живот пару пуль. Что бы на это сказал господин подполковник? Пуля, она и подполковников берет, это точно.

Жаль, что это уже не в его силах. Испарина покрыла лоб Бодо, кровь в жилах лихорадочно билась, сейчас он испытывал такую ненависть к Реметеи и в его лице ко всем офицерам, что забыл даже о том, что ждет его самого. Бодо встал, сделал несколько шагов и почувствовал вдруг, что странным образом окреп. Он тихо ходил в темноте, расправляя уставшие члены, переводя дыхание. Уже меньше угнетала темнота и то, что часы его сочтены, в цементе ненависти затвердевало тело, покончив с отвратительной дрожью. Часовой за дверями хрипло кашлянул, спросил пароль у кого-то, кто шел по двору, тихо насвистывая. Потом щелкнул каблуками, коротко, как положено, ответил на заданный вопрос, и обходивший посты офицер, насвистывая, удалился, а через минуту топот новых караульных нарушил воцарившуюся было тишину. Слушая без запинки выпаленные слова рапорта, Бодо подумал: «Пляшут все под ту же дудку, как дураки. Будто в такую пору не все равно». Он не ел и не пил с самой зари, но голод и жажда были ему всегда нипочем, только жестокое обращение выводило Бодо из себя. Он уже понимал, что ни перед кем не встанет на колени.

— Эй, кто там! — крикнул он.— Брось-ка мне сигарету!

Солдат, видимо забравшийся вздремнуть в соседний пыльный амбар, раздраженно пробурчал:

— А холеры тебе не надо?

— Давай, говорят тебе! — крикнул Бодо.

— Заткни глотку!

— Не дашь, тогда послушай!

Бодо схватил ведро и что было мочи швырнул его о стену, затем отыскал ведро и подбросил кверху. Черепица с грохотом посыпалась с крыши.

— Еще разок?

И ведро с силой опять ударилось о стену, вслед за ним полетели доски от кровати. Когда наступила пауза, в одну из щелей в дверях упали спички и сигареты.

— Еще парочку давай,— сказал Бодо.— Я давно не курил, понятно?

Закурив, Бодо, не гася спичку, огляделся и ничего для себя нового в сарае не обнаружил.

— Я ведь тоже человек,— сказал он громко.— И к тому же еще живой, чтоб ты знал. А ты несчастный идиот. И спички свои не жди обратно. Тебе на посту все равно курить не положено.

Он затянулся крепкой, пахнущей сеном сигаретой — австрийским «Зондермишунгом»; за буханку немецкие солдаты, которых держали на хлебе из опилок, давали десяток таких сигарет. Алый огонек засветился в темноте; Бодо сплевывал крошки табака, смотрел на огонек сигареты и размышлял. Немного он прочитал за свою жизнь, всего несколько книжек; так что образование или знание психологии не могли ему помочь, но инстинктивно он чувствовал, что, если не хочет больше стать добычей призраков, должен взять себя в руки. Инстинкт подсказывал ему, в чем источник силы и в чем причина слабости. Надо думать только о Реметеи, видеть перед собой только его костлявую равнодушную физиономию и лишь одному чувству дать волю: ненависти, жажде отомстить. Жизнь его кончилась; он расплатился за нее долгими часами страха перед смертью и больше думать о жизни не хотел. Он знал, что сделает утром, и с нетерпением ожидал теперь его наступления. После большого перерыва дым сигареты слегка кружил ему голову, будто крепкое вино; как только окурок первой сигареты стал

жечь ему пальцы, он закурил вторую, хотя уже накурился. Сев на чурбан, Бодо положил локти на колени, закрыл глаза и прислушался к далеким звукам ночи. Возможно, он даже вздремнул. Когда же поднял голову, в щелях под крышей темнота уже поредела. «Скоро,— только и подумал он.— Скоро». И зажег последнюю сигарету. За дверями стучали чьи-то шаги, гремели судками, испорченный насос колодца пронзительно скрежетал; в небе гудели самолеты, заставляя вздрагивать сырой осенний воздух,— проснулся и продолжал жить дымный, слякотный, неуютный мир. Проснулся и фронт, где-то далеко гудело, и лежавшее у стены старое ведро иногда вдруг позвякивало. Раздались слова команды, бодрые, как и у них в казарме; Бодо стоя прислушивался к сборам, сосал прилипшую к губе сигарету, неторопливо глотал табачный дым.

Не скоро, когда полоса под крышей совсем посветлела, в сарай вошли двое младших офицеров. Бодо туго связали сзади руки и, хотя он не сопротивлялся, подтолкнули к дверям. Дежурный офицер, лейтенант Уйвароши, с блестящими от волнения глазами, в сдвинутой набекрень фуражке быстро подошел к младшим офицерам и тихо стал что-то им объяснять. Когда он ушел, те переглянулись.

— Таков приказ,— смущенно сказал один из них.— Чтобы вы через каждые пять шагов кричали: «Слава богу, я опять здесь!»

— Приказ?

— Только что нам передал господин лейтенант.

— Что ж, буду кричать.

Он шагнул во двор, огляделся. Глазам стало больно даже от тусклого света серого осеннего утра, и Бодо заморгал. Инея не было. Сверху свисали низкие темные тучи, моросил дождь, под которым мокли выстроенные во дворе солдаты. Их лица были одинаково глинистого цвета, и Бодо не смог среди них узнать ни одного знакомого. Офицеры в дождевиках стояли перед строем. А на голой шелковице возле забора качалась петля из толстой веревки, под деревом стоял расшатанный стул со спинкой. Бодо взглянул туда: значит, повесят. О таком конце он не думал. Его налившиеся кровью глаза со страхом искали подполковника: не дай бог, его тут нету, не дай бог... Но он был. Стоял среди офицеров в сером прорезиненном плаще. В пальцах, обтянутых перчаткой, дер-

жал сигарету и, выдыхая дым, рассматривал носки своих сапог.

Бодо сильно толкнули в спину.

— Давай!

Он сделал пять шагов, точно пять, глубоко вздохнул и прокричал:

— Слава богу, я опять здесь!

Реметеи кивнул.

Он снова сделал пять шагов и крикнул:

— Слава богу, и господин подполковник здесь.

Бодо заметил, как офицер вскинул голову и оглянулся. Солдаты стояли под дождем, по их лицам струилась вода, но они и глазом не моргнули, они еще ничего не заметили, кроме того, что смертник держится мужественно.

Бодо чувствовал, как кровь, засохшая на его лице, стягивает кожу. Рукой он шевельнуть не мог, он мог лишь опустить голову и вытереть лицо о воротник. Надо было пройти оставшиеся тридцать шагов так, чтобы никто не заметил его растерянности, чтобы ненависть светилась в его глазах, и, освещенный ею, он миновал строй солдат.

Он считал шаги. Пять.

— Реметеи! Ты изверг и свинья! Продался Гитлеру, чтобы убивать венгров!

Их взгляды встретились, Бодо чуть задержался, чтобы продлить этот миг, когда он узнал, что значит ничего не бояться. Он смотрел на офицера: всю свою душу, всю ненависть, свои и чужие страдания вложил он в этот взгляд. Он с усилием растянул в улыбке сухие, потрескавшиеся губы, да, он улыбался, но надо было идти дальше, и, поравнявшись с подполковником, он бросил ему в лицо:

— Плохи твои дела, палач! Слышишь, стреляют? Это русские, скоро они будут здесь! И когда я буду порхать в небесах, тебя отправят в ад. Ребята! Долой эту банду подлецов! Стреляйте ему в брюхо, этому Реметеи, ну, пожалуйста, сделайте это для меня, товарищи! Стреляйте, ребята, ему в живот!..

На Бодо набросились. Его били, пинали, пытались закрыть ему рот, но он прижал голову к груди, спрятал лицо в сальный воротник гимнастерки и громко смеялся над суматохой испуганных офицеров, он хохотал громко, от сердца, как, пожалуй, еще никогда не хохотал, он знал, что за такую минуту может все вытерпеть, ибо большего торжества жизнь ему уже не подарит.

ВОТ БУДЕТ ЗДОРОВО, РЕБЯТА!

— Погляди-ка, вон орел,— сказал Лукач.

Тот взглянул вверх: орел кружил, и всякий раз, как поворачивал к востоку, на его шее вспыхивал луч солнца.

— Ты лучше за землей следи,— сказал Тот.

Он присел на корточки, положил ладони на теплый и сухой лесной ковер и пополз вперед. На краю леса стояли старые сосны, их поредевшие ветви свешивались в гущу козьей вербы и колючих плетей ежевики. Лукач тоже пополз. Они видели насквозь продуваемую ветрами и просвеченную солнцем хижину сторожа на плотине; там никого не было. Только внизу под плотиной, на сухих белых камнях у ручья, сидело трое немецких солдат — три бледно-зеленых пятна на фоне спокойного осеннего света. Потом и сторож показался, это был тщедушный старичок в смешной коричневой папахе, он стоял на плотине спиной к немцам, уставившись в огромное зеркало воды. Но вероятно, там был и еще кто-нибудь. Две пары глаз внимательно ощупали покрытый зарослями и буреломом горный склон, трухлявые пни с малиновыми кустами вокруг, тенистый лес — все уже пестрое по-осеннему. Так осматривается медведь, прежде чем выйти из чащи, изучая местность по всем военным правилам, хотя и не знаком с ними. Солдаты же на опушке сочетали знания правил с инстинктом зверя. Если человек долго скрывается в лесу, он многому научится. Недели три тому назад, когда Тот узнал о боях между румынской и немецкой армиями, он сразу решил бежать. С ним заодно бежал и

Лукач, поскольку они всегда спали в одной палатке. Впрочем, трудно было определить, сколько времени прошло с тех пор: сначала они не считали дней, а потом было бесполезно. Теперь, вконец измученные холодом — по ночам уже выпадал иней — и голодом, они сидели на краю леса, не зная даже, где находятся. Знали они лишь одно: здесь три немца и из-за них они не смогут получить еды у оборванного сторожа с плотины. Вдобавок немцы как раз ели, и двое, что наблюдали за ними, не могли отвести глаз от этого зрелища, представляя себя на месте немцев.

Однако голод портил все удовольствие. Немцы же, судя по всему, ели и вчера, и позавчера. Не грибы, не клюкву, а то, что и сейчас: опилочного вкуса хлеб с острым плавленым сыром, который выдавливается из серебряного тюбика, как зубная паста, маслом из красной бакелитовой коробочки, джемом и патокой.

— Жрут всякую пакость,— отвернулся Тот с презрением.

Лукач не ответил, продолжая во все глаза смотреть на немцев. Он был худой и черный, точь-в-точь как Тот, но не такого крепкого сложения — вымахавший вверх девятнадцатилетний парень с редкой бородкой на остром лице. На его фуражке красовались и жестяной рожок трансильванских пограничников, и алюминиевый эдельвейс горных стрелков, и миниатюрная бронебойная пушка, эмблема минометчиков.

— А ты слишком расфуфырился, подумаешь, господин,— продолжал Тот злобно.— Воображаешь, что ты на бульваре, в полном блеске, как графиня на балу.

— Ты о чем это? — удивился Лукач.

— О твоих идиотских значках.

— Ах, вот оно что.

— Еще не хватало, чтобы в них отразилось солнце, тогда и слепой нас увидит.

— Ах, вот оно что.

Лукач поторопился спрятаться в прохладной гуще папоротников. Задумчиво смотрел он на свою фуражку, то была не простая казенная фуражка — он ее в магазине купил перед уходом в армию, прослышав, будто новобранцам выдают засаленные, грязные вещи. Значки он выменял на хлеб и сигареты и мечтал пройтись со всеми ними по городу, побывать во всех корчмах, где его вечно

задирали, но пока что ему это ни разу не удалось. А теперь прощай, мечта. Он медленно отстегнул рожок, потом эдельвейс, потом пушку, эмблему минометчиков и бросил их в заросли. Теперь фуражку не хотелось надевать, и он, смяв, засунул ее в карман. Немцы спокойно закусывали: толсто намазывали ломтики хлеба и, вытянув шеи, чинно кусали — верный способ не уронить ни одной крошки. Вот один из них достал флягу и побрел к текущему по середине сухого русла тоненькому ручейку. Звук фляги, ударившейся о камни, напомнил им о том, что они и пить хотят не меньше, чем есть.

— И к чему такая плотина? — заговорил Лукач, проглотив слюну.— Не понимаю.

— Чего не понимаешь? Это запруда. А там, внизу, делают плоты. Когда они готовы, старик подымает шлюз, и вода уносит плоты в Бестерце или леший его знает куда. А если они застрянут где-нибудь, ждут, пока вода подымется выше.

— А если мы сядем на один из таких плотов, поплывем вниз, в Бестерце?

— Поплывем.

— Там уже, кажется, румынская армия.

— Леший его знает.

Сторож повернулся, теперь он смотрел, как немец набирает воду в флягу, как вытирает мокрой рукой рот. Остальные двое тоже по очереди подошли к ручью, набрали воду, попили, вымыли руки и мокрой ладонью вытерли рот. Солдат, что первый ходил за водой, неторопливо прошелся под плотиной и мелом вывел какие-то значки на старых мшистых сваях, что-то громко говоря при этом. Потом он отошел в сторону и сел; видно было, что остальное его не касается. Двое других, вытащив из ямы, которой не было видно с опушки, серые мешки, большой моток зажигательного шнура и две кирки с короткими ручками, стали разбирать стену плотины там, где было отмечено мелом.

— Взорвут, не иначе,— сказал Тот.

— В самом деле.

— Посмотрим, а?

— Что ж, время есть.

Тот долго возился, пока не устроился поудобней у сухого пня. Лукач сел на землю, кинул перед собой ржавую винтовку и, подняв колени, положил на них локти.

То, что происходило перед ними, было эпизодом войны, а значит, их не касалось.

Сначала сидящий немец скучал, вертел по сторонам своей белобрысой птичьей головой, отчего на выбритой красной шее обозначились морщины. Потом он запел мягким голосом, приноравливая ритм песни к ударам кирки.

— Чувствительный народ,— заметил Лукач.

— Сенти-менти, как девушки говорят. Им только тогда хорошо, когда их на чужбине терзает тоска по родине.

Тот согласился:

— И то верно. Они готовы занять любую страну, лишь бы потосковать по родине.

— А сейчас взорвут эту плотину.

— Факт.

— Но ведь это же не их плотина!

— А чья же?

— Чья бы ни была, а взрывают они ее, чтобы русские не плавали на плотах.

— Русские? А по-моему, они вовсе и не собираются плавать на плотах. Здесь можно плавать из Дердё или из Молдовы, а мы, наверное, находимся где-то между ними, вот и сидим.

Лукач бросил на товарища удивленный взгляд: познания Тота всегда поражали юношу. До войны Тот работал слесарем-ремонтником на металлургическом заводе, а это было все равно, что, скажем, генерал-майор в армии. Лукач не отказался бы стать даже простым слесарем, не ремонтником, потому как всего-навсего развозил лимонад, ездил от одной корчмы к другой и, хотя привозил безвредные напитки, дело имел только с пьяницами. Чего ж удивляться, если он так и остался глупым. Другое дело Тот, он знает даже, хотят русские плавать на плотах или нет.

Лукач решил получше рассмотреть плотину, пока она цела. Была она длиною метров пятьдесят: вбитые в землю сваи и накиданные между положенными крест-накрест бревнами камни да земля. По такой плотине спокойно могла проехать подвода, например с лимонадом, не будь посредине шлюза. За шлюзом, у леса, лежало огромное озеро, по которому плавали желтые листья берез, и такой чистой, прозрачной была эта масса воды, что трудно было отвести от нее глаза. И Лукач глядел,

хотя обычно у него не хватало терпения долго смотреть на что-нибудь.

Вдруг он сказал:

— Какие же остолопы эти трое!

— Неужели? — процедил сквозь зубы Тот.

— Ты, конечно, раньше меня догадался об этом. Разве обязательно им все это делать? Ведь их ни один черт не проверяет. Могли бы оставить плотину так, как есть.

— Конечно.

— И сказать, что она взорвана.

— Конечно.

— Другой бы солдат, например ты или я,— продолжал Лукач,— швырнул бы в воду связку гранат, набил бы брюхо форелью, и делу конец. А сам доложил бы, что все в порядке.

— Только еще шлюз открыть надо.

— Зачем?

— Ну, если где-то внизу болтается какой-нибудь офицер, он увидел бы, что вода пошла.

— А я об этом не подумал.

Осеннее солнце нагрело лес. Эх, поспать бы теперь, пока не настала холодная ночь. Лукач приметил несколько переспелых ягод ежевики, осторожно собрал их в ладонь и, прежде чем отправить в рот, взглянул на товарища. Тот, облизывая потрескавшиеся губы, продолжал следить за немцами, по его испачканному лицу стекал пот. Значит, можно ягоды не делить: во-первых, это не бог весть какое лакомство, любой может найти, а, во-вторых, раз ягоды уже в ладони, трудно не поднести их ко рту. Немцы между тем развязывали мешки и выкладывали из них пакетики с тротилом, напоминающие пачки маргарина. Сторож все еще неподвижно стоял на плотине, опустив голову, может, он считал себя капитаном тонущего судна, который не имеет права покидать своего мостика до последней минуты, а может, его мучил совсем простой вопрос: что он станет делать после войны, если не будет плотины. Немцы не обращали на него ни малейшего внимания: в приказе об уничтожении плотины ни слова не было сказано о том, что каждого, кто будет стоять на плотине, нужно прогнать. Таким образом, за сторожем после двадцати, а может быть, тридцати проведенных здесь одиноких лет оставалось право взлететь на воздух вместе с плотиной. А может, он все еще не верил,

что немцы всерьез надумали ее взорвать, и ждал, когда они, повозившись для вида, уйдут. Но возможно, его удерживало любопытство, потому что он никогда еще не видел, как разлетается на куски такая плотина.

А те трое не спешили. Очевидно, на сегодня у них другого задания не было. Солнечные лучи стали косыми, и тень стоявшего на вершине горы, сожженного молнией дерева, падая вдоль склона, терялась в глубине озера. Из зарослей тянуло сырым сладковатым запахом.

Вечерняя роса как будто начала уже выпадать.

— Я нашел несколько ягодок,— сказал Лукач, раскрыв липкую от смолы, грязную ладонь.— Давай съедим.

Тот вздрогнул, не оборачиваясь, протянул руку назад, и Лукач почувствовал, как напряглась эта грубая рука. Его охватила тревога.

— Хватит тебе глядеть на них. Не наше это дело.

— Такой шлюз,— отозвался Тот рассеянно,— довольно легко открыть. Только я не вижу, где брус, но где-то он должен быть. А ты не видишь?

— Где?

— Вот и я спрашиваю где.

— Ну ладно, допустим, мы его увидим...

— Этот брус засовывается в такую штуку, вроде лестницы, и все в порядке.

— Пойдет вода?

— Хлынет, как ошалелая.

— А ты уже видал, как это делается?

— Раза три.

— Значит, справишься?

— Думаю, да.

— Ух ты! Значит, ты можешь пойти сторожем на плотину, если другой работы не найдется.

Немцы уже клали тротил в выдолбленные киркой ямки. Они стояли все трое под шлюзом, в глубоком бассейне, который вырыл в скалистой почве бессчетное число раз освобождаемый поток. Собственно, это и составляло жизнь сторожа или по крайней мере внешнюю часть его жизни. Талантливый скульптор создает памятник, чтобы увековечить чью-то славу, но памятник по прошествии веков напоминает нам лишь о славе его создателя. О том же, кого этот памятник изображает, мы чаще всего забываем. Сторож создал лишь яму, которой никто не любовался, но за это он платил одиночеством в летние дни и

ночи. За скудную пищу, что он съедал, у него отняли весь мир, оставив только эту долину. Долгие годы, с ранней весны до поздней осени, пока не ударят морозы, каждое утро и каждый полдень он поднимал шлюз; как спускают с цепи собаку по вечерам, он выпускал на волю воду, и она вырыла в земле бассейн. Старик еще помнил то время, когда под плотиной было всего лишь маленькое углубление, но он уже тогда знал, какой станет с годами эта яма, если не рывками, а умело, плавным нажимом пускать воду. Итак, он не создал памятника и все же мог гордо смотреть вниз с плотины; не будь его, не было бы здесь бассейна. Только в этом бассейне суетились сейчас трое гитлеровцев, чтобы превратить плотину в обломки. Поэтому не мог сторож двинуться с места, хотя для него было бы лучше уйти, и подальше, чтобы даже не слышать взрыва.

— Слушай, дружище,— заговорил Тот,— твоя винтовка в исправности?

— Гильзу не выбрасывает,— ответил Лукач.— Один раз, пожалуй, можно выстрелить, а потом гильзу придется выковыривать.

— Ничего, выковыряешь.

— Пускай холера ее ковыряет. Я не собираюсь стрелять.

— Мы многое не собираемся делать,— улыбнулся Тот мрачно.— Ты меня прикроешь?

— Как это?

— Как обычно.

— Ты хочешь выйти отсюда?

— Попробую.

Лукач подергал свою реденькую бородку, вздохнул и опять подумал, как плохо, когда человек мало знает. Потом решительно пристроил винтовку на толстом суку, в магазине было четыре патрона. Итак, надо было отвести затвор назад, затем двинуть вперед. Но когда он представил, как щелкнет винтовка, его прохватила дрожь. «Все равно,— подумал он,— стрелять не стану. Лучше убегу».

Выйдя из леса, Тот секунды две постоял, освещенный солнцем, с неподвижным строгим лицом, такой одинокий, что Лукачу стала его жаль. Затем он поспешно зашагал. Сторож заметил Тота, он не шелохнулся, но что-то в его лице изменилось. Будто он ждал именно этого человека, вышедшего сейчас из леса. Человек предупреждающе под-

нял палец. Он уже шагал по плотине, почти над немцами, а тень его плясала на краю бассейна. Брус в самом деле был тут, и вышедший из леса человек засунул этот брус, куда нужно, и стал на него нажимать. Что-то громко хрустнуло, зеркальная гладь воды возле шлюза наморщилась, образовалась большая воронка. Сторож оттолкнул пришельца, сам налег на брус и привычным движением, с гордым превосходством профессионала придавил его к земле. От основания плотины кверху брызнула пенистая струя, подшвырнув стоящего внизу немца, как фонтан подбрасывает мячик. Вода, хлынув в бассейн, пустилась в дикий пляс, прыгала на берег, шипя, расплескивалась, отступала назад, вертелась в круговороте, грохотала, в безудержном буйстве вступала в схватку сама с собой. Второй немец кинулся бежать по руслу; но поток его настиг, опрокинул и покатил по скользким камням; долина наполнилась торжествующим гулом — опять пошла вода. Радуйся, иссохшее белое русло! Немец, которого свалила струя, то всплывал, как зеленый мешок, то снова погружался, потом его опять швырнуло к берегу; второго тоже уносила вода, но третий полз под плотиной, настойчиво спасая свою жизнь. Лукач не знал, виден ли он из-за шлюза. Немец же упорно полз прямо к нему. «Этого только не хватало»,— подумал Лукач в отчаянии. Схватившись за затвор, он сильно рванул его, двинул вперед и выстрелил... Немец плашмя упал, а густо заросший горный склон, зазвенев на все лады, повторил грохот одинокого выстрела. Лукач опять сел на землю, пытаясь перочинным ножом извлечь гильзу.

Вода гудела, озеро становилось все мельче, а его пенистые края все ширились. Искрясь зелеными огоньками, катился вниз в лучах заходящего солнца этот рожденный для очень короткой жизни поток, в котором слилось множество тоненьких горных ручьев. Гул его они слышали и тогда, когда углубились в лесную чащу. Сторож шел впереди, обламывая мешающие ветки и швыряя их в сторону. Кто пойдет по их следам, тоже обломает несколько ветвей, так постепенно получится горная тропа.

Прежде чем выйти на поляну, они устроили привал. Прислушались к доносившемуся даже сюда далекому гулу.

— В один прекрасный день выглянем из леса,— сказал Тот,— а там русские... Вот будет здорово, ребята!

ПРОПАВШАЯ СОБАКА НАШЛАСЬ

Посвящается Яношу Секею

И сегодня вечером никто не остался дома. Лукач сидел один в неприбранной комнате с закопченным потолком среди немытой посуды, мятых покрывал и холодных стен; время от времени до него доносились странные шорохи — когда западный ветер сыпал песок на черепичную крышу или дождь кропил землю во дворе. Дом был старый, и, хотя стены его были толстые, он болезненно отзывался на перемены погоды; совсем другие люди построили его в давние времена, совсем для другой жизни, ему больше подошел бы полумрак, аромат сухих розовых лепестков, спокойствие и благополучие, а не теперешняя безалаберность и суматоха.

Сперва Лукач попытался читать, но потом отложил книгу. Задумался, чем бы заняться, дел при желании нашлось бы в доме достаточно. Наконец он принялся соскребать карманным ножом пятна жира с кухонных деревянных ложек, он терпеть не мог, когда молочная рисовая каша пахла чесноком.

Раздался короткий требовательный звонок, и Лукач, неторопливо сложив свой складной ножик, пошел к двери. Едва он приоткрыл ее, как в щель ворвался Букши, проскользнул у самых ног хозяина и торжественно застыл посреди передней. Все исчезло, погрузилось во мрак, все, кроме черной собачьей шерсти, в которой ослепительно блестели капельки дождя. Лукач, потрясенный, на мгновение закрыл глаза. За долгие четыре дня столько раз представлял он себе эту минуту. Вот он от-

крывает дверь, и в переднюю врывается Букши. Вот он идет по улице, ищет его глазами, а Букши, подумать только, стоит себе на тротуаре. Заглядывает через забор в чужой двор и под сливой, роняющей листву, замечает Букши. Ночами, и наяву, и в полудреме, он видел Букши, бредущего в холодном мраке — маленькая темная тень среди гигантских теней, и волны боли, обрушиваясь на Лукача, заставляли вспомнить и о всех других его неудачах и бедах. Его сын не был достаточно хорошим сыном, его дочь — хорошей дочерью, идеальная жена представлялась ему совсем не такой, какой была его собственная жена, ей уже исполнилось сорок, но по ее поведению ей можно было дать то двадцать, то шестьдесят — она как будто и сама никак не могла угадать свой возраст. Зато Букши был прекрасной собакой, и в каком-то смысле даже лучше других членов семьи.

С тех пор как Букши исчез, в доме развелось много блох, и плодились они с невероятной быстротой. Все вечера Лукач проводил в одиночестве, потому что Букши был единственным, кто никогда не оставлял его, а остальные домочадцы, побросав свои вещи где попало, вылетали из неприбранной квартиры, как блестящие пули из заржавевшего ствола.

И сейчас, когда, присев на корточки, Лукач прижался щекой к мокрой собачьей шее, он вдруг почувствовал, что Букши тоже дрожит, как и он сам.

— Покормите ее,— сказал кто-то в дверях.— И лучше не давать сразу много.

Лукачу показалось, что он услышал собственные мысли; если б он сейчас и думал о чем-то, то мысли свои выразил бы именно этими словами. Он взял Букши за длинное холодное ухо и, хотя знал, что собака ни за что на свете не отойдет от него, вот так, согнувшись, держа Букши за ухо, провел собаку на кухню. Свободной рукой вынул из шкафа черствую булочку, положил ее в молоко, сел к столу и только тогда отпустил собачье ухо. Букши подошел совсем близко к Лукачу, поглядел ему в глаза и медленно встал на задние лапы, его передние лапы, коснувшись колена хозяина, мягко повисли в воздухе. Булочка размокла, Лукач отламывал от нее маленькие кусочки и клал собаке в пасть. Он слышал, как за окнами шумит ветер, как кусты сирени бьют голыми

ветками по брандмауэру, а по улице с оглушительным грохотом, будто танк, проносится автобус.

В руке Лукача уже ничего не было, но Букши все стоял на задних лапах неподвижно, словно навостривший уши суслик, тогда Лукач взял еще одну булочку и намочил ее в молоке.

Потом он вспомнил, что дверь, наверно, осталась открытой и с порога как будто кто-то разговаривал с ним. «Нужно посмотреть, кто там, ведь Букши не мог нажать кнопку звонка»,— подумал он. Ночами, когда ему виделся одиноко бредущий Букши, он давал себе множество зароков, но сейчас забыл о них.

В передней стоял смуглолицый лысый мужчина, он держался за ручку двери, явно не рассчитывая на то, что его пригласят войти. Тревожное подмаргивание или веселое подмигивание одинаково не подошло бы к его спокойным темным глазам; такими глазами, мелькнуло в голове у Лукача, можно только смотреть, только видеть, ни для чего другого они не годятся.

— Когда я вел сюда собаку,— не поздоровавшись, сказал незнакомец,— со мной заговорила одна дама: «У вас, очевидно, нет детей?» Это было уже слишком.

— Откуда вы узнали, что это моя собака? — спросил Лукач и стал вытирать носовым платком молоко с пальцев.— Я хотел бы отблагодарить вас.

— Не утруждайте себя, я украл ее из этого дома.

— Понятно.

Лукач сделал вид, что нисколько не удивился. Не верилось, что Букши можно украсть, словно бутылку с молоком, поставленную у парадного. Он не мог решить, обращаться ему с незнакомцем как с вором или как с человеком, перед которым он всегда будет в неоплатном долгу. Он вспомнил, как в одном фильме о войне командир отчитал солдата, который, ослушавшись приказа, совершил какой-то подвиг, отчитал, наложил взыскание, а после расцеловал и наградил. Тогда эта сцена вызвала у него кислую улыбку, но теперь он и не думал улыбаться.

— Мне понравилась эта собака,— сказал незнакомец.— Она очень подходила к тем двум, что у меня есть. Больше всего я люблю охотиться на кабанов и диких уток. И я украл эту собаку, как вы уже знаете, и хотел

научить ее охотиться на водоплавающих. Но, к сожалению, зря воровал: собака никуда не годится.

— Никуда не годится? — Лукач нервно рассмеялся. Такое ему и во сне не снилось, что Букши может кому-то не понравиться.— Снимите плащ,— сказал Лукач.— Выпьем по рюмочке. Я считал, что моя собака — самая лучшая в городе.

— Многие хозяева так считают.— Незнакомец снял плащ, костюм на нем был хорошего покроя.— С определенной точки зрения действительно каждая собака хороша.

— Но есть и бесспорно хорошие, не так ли?

— Конечно. Например, мои.

— Я так и думал. Интересно, а что они умеют?

— Это зависит от того, что понимать под умением. Не исключено, что, на ваш взгляд, они ничего не умеют.

В комнате было немного теплее. Незнакомец энергично потер одна о другую свои смуглые ладони и взял рюмку. Очень крепкую палинку он выпил залпом и даже не крякнул. А Лукач, повернувшись к двери, негромко — как если бы там находился человек — сказал:

— Букши, неси свою подстилку и ляг здесь, возле нас.

Немного повозившись, собака втащила в комнату циновку из рогожи, положила ее у печки и легла. Лукач взглянул на незнакомца.

— Ну что ж,— сказал он.— Именно это я и имел в виду.

— Что это?

— Вы циркач?

— При чем тут цирк?

— Так, пришло в голову. В цирке особые законы. Все нормальное там спросом не пользуется.

— А что вам кажется ненормальным? — спросил Лукач.— Кстати, вы украли мою собаку и, оказывается, только потому вернули ее, что разочаровались в ней.

— Когда человек крадет собаку и разочаровывается в ней,— ответил незнакомец с вызовом,— он может отвести ее к живодеру или продать. Жаль, что мне приходится объяснять вам это.

— Извините, я не хотел вас обидеть. Скажите, а почему вам не понравился Букши?

— Хорошо, я скажу. Мои собаки едят вот из такой кормушки.— Незнакомец показал на крышке стола, ка-

кой длины у него кормушка, и Лукач отчетливо представил ее, хотя и не понимал, какое это имеет отношение ко всей истории.— Спокойно едят,— продолжал незнакомец,— не жадничают, не отнимают кусков друг у друга. Рассудительные, разумные собаки.

— Рассудительные собаки?

— Да. Когда я привел к ним вашу собаку и сказал, что теперь их будет трое, они не были против, решили, что втроем им будет легче охотиться на кабанов. Я не посвятил их в то, что вашу собаку хочу приучить к охоте на водоплавающих. Как раз в тот день к моей жене пришла парикмахерша, и я договорился с ней, что, если потребуется, она перекрасит собаку, тогда ее никто и узнать не сможет. Между тем подошло время кормежки.— Незнакомец наполнил свою рюмку.— Я дал собакам еды уже на троих. Говорю им: «А ну, ребята, лопайте». Мои мигом принялись за дело. Они всегда едят с одной стороны кормушки и во время еды изредка поглядывают друг на друга. И знаете, что сделала ваша?

Незнакомец взглянул на Букши, и тот ответил ему прощающим взглядом.

— Знаю,— сказал Лукач.— Мы запретили ему есть иначе.— Он вспомнил еще, что сначала Букши били за непослушание, но об этом промолчал.

— Да, вы, конечно, должны знать. Ваша собака встала на задние лапы позади моих, словно сурок или суслик, высматривающий что-то на поле, но к еде не притронулась — ждала. Кормушка опустела. Я добавил в нее еще немного еды, может, одумается, но я напрасно старался, и мои собаки снова вылизали все подчистую.

— Букши мы всегда кормили с рук,— сказал Лукач.— Для меня кормить его особая радость.

— Для вас — может быть,— подчеркнул незнакомец.— Но скажите, вы никогда не думали, что для четвероногих принимать пищу в вертикальном положении все равно, что человеку есть лежа на животе?

— Думаю, что и человек может привыкнуть есть лежа на животе.

— Тогда это будет уже не человек, а...

— Но Букши остался настоящей собакой.

— Вы не знаете, что такое настоящая собака. Рассказать, что было дальше?

— Да, конечно.

— Я думал, собака сама откажется от этого ритуала, стоит ей сильно проголодаться. Я дал им еды еще раз, но она опять осталась голодной. Я уже понял, в чем дело, нужно было покормить ее из рук, но я не хотел этого делать, в моей голове не укладывалось, как может собака голодать, когда еды рядом сколько хочешь. Она и в следующий раз не подошла к кормушке, и еще раз. Эту собаку, сказал я своей жене и сыновьям, воспитывали ненормальные, но природа все-таки возьмет свое. До тех пор не будешь есть, сказал я собаке, пока не опустишься на все четыре лапы, смотри, вот еда, и две другие собаки уже едят, они съедят и твою долю. Ваша собака придвинулась ко мне на задних лапах, дотронулась до меня передними и так посмотрела мне в глаза, что у меня сердце в груди перевернулось. Ты должна меня понять, говорю я ей, я могу покормить тебя из рук, но я не буду этого делать, для тебя это противоестественно. Не будет тебе никакой еды, пока не опустишься на все четыре лапы, как тебе и положено. Так уж предусмотрено природой. А если твой хозяин вдруг попадет в больницу или умрет? А если мы пойдем на охоту? А если тебя украдут? Собака не ела уже два дня. Нос у нее был сухой и горячий, глаза лихорадочно блестели. Жена плакала. Сыновьям пришлось пригрозить, чтобы они не вздумали кормить собаку тайком от меня. Для тебя же лучше, объяснял я ей, ты снова научишься делать то, от чего тебя отучили. Ешь, питайся, как обычная, нормальная собака. Но я напрасно убеждал ее.

Незнакомец выпил и хмуро уставился на рюмку, словно серьезно обдумывая что-то. В воображении Лукача, как на экране, замелькали страшные картины, потом они пропали, и Лукач видел перед собой только два лихорадочно горящих собачьих глаза, и он опять вспомнил о зароках и почувствовал какое-то глухое раздражение к незнакомцу; надо было возразить ему. В конце концов, пересилив себя, Лукач как бы между прочим сказал собаке:

— Сквозняк, Букши, закрой дверь. Дверь, Букши.

И он совсем успокоился, когда увидел, как собака, неторопливо поднявшись с подстилки, выполнила приказание и снова улеглась. Лукач подумал, что, если он умрет, ведь Букши тогда тоже погибнет, умрет с голоду на его могиле. Хотел ли он этого? Он уже где-то читал

о таком случае, и случай показался ему очень трогательным и грустным.

— Что вы на это скажете? — спросил Лукач.

— Вы меня не слушаете,— ответил незнакомец.

— Почему?

— Вы не понимаете того, о чем я говорю.

— Сейчас вы ничего не сказали. Только выпили. А Букши доказал, что понимает, когда с ним говорят.

— Черт знает что,— взорвался незнакомец.— Вы тут развлекаете меня всякими трюками, когда речь идет совсем о другом. Кто вам нужен? Преданный, искренний, настоящий друг или безропотный слуга? Слуги — лучше, если вы узнаете это от меня,—немногого стоят. Послушание само по себе — ничто, хорошая собака способна на гораздо большее, чем просто послушание.

— Дорогой друг,— сказал Лукач мягко,— в этом доме Букши не слуга.

— Настоящий забитый слуга, он даже приказаний своего хозяина выполнить не в состоянии. Сейчас я вам это докажу.

— К сожалению, я заранее знаю, что вы потерпите неудачу.

— Тот, кто уверен в своей правоте, неудач не боится. Это я могу выразить вам сожаление. Дайте собаке что-нибудь, что она очень любит.

В кладовке на полке лежал засохший кусок салями с грязной бечевкой на конце, за эту бечевку колбасу подвешивали на крюк в лавке. Лукач дрожащими пальцами сорвал веревку, отбросил ее и вернулся в комнату.

— Дайте ему,— приказал незнакомец.— Что это? Салями? Отлично. Вот и дайте ему.

Букши уже учуял запах салями. Он осклабился, зевнул, разинул пасть и тяжело, по-стариковски поднялся на задние лапы. Лукач машинально протянул ему салями.

— Стойте! — Незнакомец облокотился на стол, его глаза зло горели.— Что вы делаете? Это я уже видел. Скажите ему, чтобы он лег или по крайней мере встал на четыре лапы.

— Хорошо,— послушно пробормотал Лукач. Его охватила неуверенность.— Нет, Букши. Не так. Ляг на место.

Собака легла. Букши показалось, что хозяин хочет

похвастаться, как безропотно он подчиняется его воле, и Букши готов был сделать все ради хозяина, Лукач снова протянул собаке кусок колбасы. Она тут же встала на задние лапы.

— Нет, Букши,— с отчаянием проговорил Лукач.— Ляг, дружок. Лежа надо. Вот так. Возьми.

Незнакомец молчал. Букши терпеливо стоял на задних лапах, заговорщически глядя в глаза хозяину, как бы подбадривая его: можешь не волноваться, Букши тебя не подведет. Лукач отступил на шаг, рассеянно сунул в карман кусок колбасы, у него было такое ощущение, будто рушится вся его жизнь. Он взглянул на незнакомца, и тот скорее грустно, чем торжествующе заметил:

— Очевидно, и вы напрасно будете убеждать ее, если приучали к одному, а сейчас требуете совсем другого.

Некоторое время оба молчали. Незнакомец не радовался своей победе, он задумчиво вертел в руках пустую рюмку. Лукачу все хотелось собраться с мыслями, найти какие-то аргументы. Он включил радиоприемник и, облокотившись на него, ждал, когда нагреются лампы и появится звук. Передавали последние известия. «Торжественное заседание...» — начал диктор. Лукач выключил приемник и снова сел. Неподвижным взглядом смотрел он на газету, сложенную вчетверо, и видел на ней только два слова, набранных крупным шрифтом: «Торжественное заседание...» Незнакомец молчал. По улице опять промчался автобус, по оконным стеклам хлестнули брызги.

— Эта собака — настоящий четвероногий Муций Сцевола,— прервал молчание незнакомец.— Другая собака на ее месте через два-три дня сказала бы себе: ну, а теперь хватит, дадим волю природным инстинктам, посмотрим, что из этого выйдет. Но ваша собака упорствовала. Она бы, наверно, так и умерла с голоду, потому что верила тому, что вы вбили ей в голову: есть можно только стоя на задних лапах. Она и вам теперь не верит, что можно есть иначе.— Незнакомец уставился неподвижным взглядом на Лукача, и в его голосе зазвучали металлические нотки.— Это, если хотите знать, своего рода убийство. Собака — часть живой природы, а в природе все целесообразно. Жизненные инстинкты, здравый ум этой собаки вы огородили столькими барьерами, что ни уму, ни инстинктам сквозь эти барьеры не пробиться. Интересно узнать, для чего вы это сделали?

Лукач смертельно устал; было бы лучше, если бы незнакомец, который на четыре дня украл у него Букши, а потом, возвратив собаку, оказал Лукачу неоценимую услугу, какую никто никогда ему не оказывал, было бы лучше, если бы он оставил его сейчас одного с его нелегкими мыслями и убрался бы восвояси. Лукач снова включил радио и, к своему изумлению, опять услышал эти два слова: «Торжественное заседание...» Он с раздражением повернул переключатель. Незнакомец воскликнул:

— Господи, опять этот Шарль Азнавур! Выключите радио, а то его гнусавому нытью конца-краю не будет.

Выключив приемник, Лукач повернулся к столу, взял бутылку, слегка поболтал ее — на дне еще оставалось рюмки две палинки. Он наполнил рюмки.

— Н-да,— сказал незнакомец мрачно.— А если бы кто-нибудь по своей воле... Допустим, я... Впрочем, не будем сейчас говорить об этом. Я только вот что хочу сказать: такое самообладание, такой твердый характер, такую преданность и выдержку преступление использовать так глупо. Вы, конечно, молчите. И я знаю почему. Пейте сами свою палинку,— незнакомец становился все мрачнее,— у меня пропала охота. С болванами я не пью.

Он тяжело поднялся, посмотрел на собаку, и она ответила ему странным долгим взглядом, будто только сейчас, когда уже было поздно, они начали понимать друг друга. Потом незнакомец, не сказав ни слова, вышел. Букши побежал за ним до порога, старательно нюхая его следы. Лукачу почудилось, что комната в одно мгновение остыла и из щелей старого пола сочится острый запах грибов. Он включил радио, но еще до того, как приемник нагрелся, выключил его.

— Букши,— позвал он тихо.

Собака сразу отошла от двери. Черные глаза лихорадочно горели, когда она медленно шла по ковру.

— Букши,— повторил Лукач.

В эту минуту в дом вошла жена, торопливая и сердитая, то есть в точности такая, как и во все другие вечера. Бросила на стул мокрый плащ, вытерла раскрасневшееся на ветру лицо — сейчас его даже можно было назвать красивым — и немигающим взглядом уставилась на собаку.

Когда-то Лукач бегал взад-вперед по комнате — не здесь, в другом доме — и, притворяясь ужасно испуганным, кричал: «Ой-ой, у моей женушки животик болит», а жена лежала на диване и, хотя у нее действительно болел живот, так и покатывалась со смеху. Но это было уже давно.

— Откуда она взялась? — спросила женщина.

— Привел один человек, — ответил Лукач.

— Просто так? Взял и привел?

— Да, взял и привел.

— Ты ему что-нибудь дал?

— Нет. — Лукач вытащил из кармана обрезок колбасы и бросил его собаке. Букши отвернулся в сторону. — Не такой это человек, чтобы принять что-то. Просто он отнял у меня, что хотел, и ушел домой.

ПОСЛЕДНИЙ ПОДАРОК

1

Перед ангаром открытый ветру стоял на летном поле серо-голубой «Як-18». Мотор его был уже прогрет, порою в нем что-то щелкало, словно по его ребристым цилиндрам бегали металлические жучки. Богдан, начальник аэроклуба, что-то втолковывал летчику Панаиоту, который в мохнатом синем пальто сидел на крыле самолета, разглядывая свою дымящуюся сигарету. Когда я подошел к ним поближе, они молча подняли на меня глаза. Затем Панаиот медленным, почти торжественным движением отбросил сигарету. И тут я вспомнил вдруг, что сегодня не сразу сообразил, почему здесь эта машина. Начальник клуба и летчик продолжали свой неторопливый разговор.

— Прежде ты не так боялся инструкций,— сказал Богдан.— Из-за кого я стукнулся головой в кабине? Кто мне все уши прожужжал, уговаривая сделать хоть одну петлю, хотя мы даже не пристегнулись, а я еще не умел выполнять фигуры высшего пилотажа?

— Помню,— произнес мечтательно Панаиот.— Это была машина с одним управлением, и за единственным паршивым штурвалом сидел как раз ты.

— Ну и что ж?

— Как это ну и что ж? Я ведь тоже стукнулся башкой!

— Я это к тому, что ты не всегда был таким педантом.

— Времена меняются, старина,— сказал Панаиот.— И мир вокруг нас уже не тот, и темечко заросло.

— Именно сегодня, ровно в четыре пополудни,— сказал Богдан,— заросло твое темечко. Право же, могло бы повременить до завтра.

— У меня сегодня колики в желудке.

— И с этим не мешало бы подождать до завтра.

— Можешь поверить, от меня это не зависит.

— Тогда давай найдем иное решение.

— Никаких иных решений. Надо подождать, пока мне полегчает.

— И только тогда?

— К сожалению.

— А когда тебе полегчает?

— Надеюсь, скоро.

— А если нет?

— Придется пережить.

Так они говорили, спокойно, без особых эмоций, и каждый твердо знал, чего он ждет и чего не хочет. Они четко, по всем правилам нападали и отражали нападение, как учат в школе фехтования. Потом Панаиот оставил нас одних и исчез в маленьком домике, где помещались уборные: с одной стороны — для мужчин, с другой — для женщин. Мы смотрели ему вслед, Панаиот зашел в женскую, потому что она оказалась ближе.

— У него расстройство желудка,— сказал Богдан.— Бегает каждые десять минут, видишь, даже тропинку протоптал, паршивец.

Панаиот вскоре вернулся, занял свое место на крыле и снова закурил. Казалось, он был целиком поглощен тем, что происходит у него внутри: напряженно ждал чуда, а оно все не свершалось. Самолет был направлен сюда из Бухареста на три недели в подчинение Богдана, но с летчиком и под личную ответственность летчика. Богдан не имел права самовольно распоряжаться самолетом. Он поднял глаза к небу. Вокруг свистел ветер, в моторе щелкали металлические жучки.

2

Погибший летчик вместе со своими тремя товарищами по несчастью целый месяц пролежал на высоком скалистом катафалке, покрытый самым белым саваном в мире. Вертолеты и самолеты несколько недель методич-

но, на бреющем полете, обшаривали вершины после того, как улеглась буря, разыскивая погибших и обломки машины, но ничего не нашли, пока весеннее солнце не растопило савана. Неправда, что горы недоступны лишь в Швейцарии, Америке, на Дальнем Востоке. И в Карпатах немало таких мест, куда человеку не проникнуть в период снегопадов, да и в обычное время требуется особое мужество и должный опыт. О случившемся мы знали не больше того, что распространилось между летчиками-спортсменами и летчиками гражданской авиации. Машина летела над горами на заданной высоте, когда вдруг закипел воздух и машину стало трепать в темноте, как опавший лист. Возникла опасность, что самолет просто рассыплется от тряски. Командир по радио доложил обстановку, попросил разрешения спуститься ниже. Разрешение было дано. С тех пор прошло четыре недели: вчера его сняли с горы, а сегодня хоронят в родном селе, неподалеку отсюда.

Остальное мы попытались восстановить сами.

Осенью и зимой в Карпатах ветер иногда начинает биться о преграждающий ему путь горный хребет, затем, все ускоряясь, он переваливает через хребет, увлекая с собою более высокие, находившиеся в состоянии покоя слои воздуха. Когда давления по обе стороны хребта выравниваются, воздушные массы устремляются вверх, но, прежде чем успокоиться, образуют несколько гигантских вихрей. Немного упрощая эту сложную схему, можно сказать, что над высокими грядами возникает настоящая аэродинамическая труба, которой ничего не стоит сорвать, как старую простыню, даже тропосферу с гор, но которая не в состоянии держать машину. Да и вообще там, наверху, разыгрывается порядочный цирк, прежде чем снова все уляжется. Планеристам хорошо известно, что манящие огоньки алмазного венка за рекорды высоты сияют именно там, над бушующими вихревыми зонами, в легко и резко поднимающихся потоках. Воссоздавая картину несчастья, мы представили себе, как тяжелый транспортный самолет, опустившись ниже, попал каким-то образом в сферу дьявольского танца вихревой зоны или по меньшей мере в область нисходящих потоков, а выше его встретил бы полнейший штиль и неуклонный подъем: в подобных случаях спасение следует искать возможно дальше от источника беды, а не наобо-

рот. Мы, конечно, понимали, как легко задним числом находить благоприятные решения, валяясь на траве или сидя в ангаре, и как трудно распознать в кромешной мгле ночи, на высоте нескольких тысяч метров, необычно редкое явление природы. Но подобные гадания неизбежны.

«...никакой опыт не может послужить таким добрым уроком,— писал русский летчик-испытатель Галлай,— как горький опыт, поэтому недопустимо, чтобы столь дорого оплаченные знания уплыли без пользы. Естественно, что именно они, соратники разбившегося пилота, более, чем кто-либо иной, нуждаются в его последней услуге — уроке, начертанном кровью его последнего пути, того пути, откуда никто никогда не возвращается...»

3

Похороны, по всей вероятности, уже начались. Богдан неподвижно стоял перед ангаром, раздумывая над своим обещанием, выполнить которое еще утром казалось так просто. Панаиот, сгорбившись, сидел на крыле, втянув голову в поднятый воротник. Истекло время вежливой болтовни, приближалась минута, когда наша затея могла потерять весь свой смысл, когда ничего не удастся выиграть, а ставка погрузится в глубь времени, отдаляясь от нас с каждым часом, днем, неделей, пока наконец о ней не позабудут. Минута эта близилась, но еще не настала.

— Как чувствуешь себя, Панаиот?

— Спасибо, скверно.

— Я не теряю надежды.

— Я тоже.

— Никаких перемен?

— Бог мой! Какие могут быть перемены за несколько минут?

— Хорошо. Допустим. Но тогда зачем ты тут торчишь? Почему прямо не скажешь: все, я развалился, расходитесь по домам?

— Ну нет! Этого ты от меня не дождешься.

— Хоронят летчика,— заговорил сухо Богдан,— и над его могилой не взревет мотор потому, что господь наградил Панаиота коликами! Если учесть, что я не могу подняться на этой машине без разрешения начальства, очевидно, еще не изобретены правила, которые были бы во

всех случаях справедливы. Что ты чувствуешь Панаиот? Опиши-ка нам...

— Ну... как... как если бы я проглотил горсть разъяренных ос. Или съел коробочку булавок.

— Надо сделать так, чтобы тебя вырвало.

— Это у меня не получается.

— А ты засунь палец поглубже в глотку.

— Бесполезно. Выход один.— Панаиот судорожно вздохнул.— Пойду, наведаюсь туда еще раз, авось все кончится.

Он побрел прочь, и как только мы остались вдвоем, Богдан обратился ко мне:

— Ты можешь быстро сесть в машину?

Мы кинулись к «ЯКу» одновременно и чуть не сбили друг друга с крыла. Едва я устроился на заднем сиденье, как мотор взревел. Услыхав его грохот, Панаиот, вероятно, натянул брюки в том маленьком заведении, где он был; по крайней мере, мне так представилось. Мотор следовало бы заново погреть минуты две, он чихал, выплевывая белесый дымок, но времени у нас было в обрез. Богдану ничего больше не оставалось, как прогнать машину до границы аэродрома, прежде чем мы поднимемся в воздух. Кабина «ЯКа-18» довольно просторна, однако сидеть в ней очень неудобно. Отовсюду торчат краны, рукоятки, болты, штыри, под ногами идут тросы руля поворотов: все это порядком раздражает, когда летишь пассажиром. Зато мотор работает спокойно, равномерно, ухо улавливает четкий выхлоп пяти цилиндров, резкий шелест двух лопастей винта. Вообще-то «ЯК» летает на редкость уверенно, я бы даже сказал — самоуверенно, если только еще где-нибудь эксплуатируют этот тип машины. У самого края аэродрома, где за грязной проселочной дорогой раскинулось пшеничное поле, мы щегольски взмыли в воздух: мотор тем временем достаточно прогрелся. Богдан обернулся, посмотрел в сторону ангара, но вряд ли что увидел.

— Ты пристегнулся как следует? — спросил он.— Это будет моим первым взысканием в году,— добавил он.— Начнутся проверки и тому подобное...

— Может, ничего и не случится,— сказал я.

— Где там. По-моему, минут через десять Панаиот уже будет докладывать Бухаресту.

Он опустил левый локоть, как это делают шоферы. Я видел его заросший затылок, потертое плечо его кожаной куртки. Он прибавил еще оборотов, а потом уже сидел неподвижно, глядя вперед, хотя там было одно лишь небо, потому что, поднимаясь, машина высоко задрала нос. Мы не были в трауре, и никто не сказал бы, что мы спешим на похороны; правда, мы и не собирались опускаться на землю. И вообще интересно, ради кого люди облачаются в траур?

4

На высоте всего тридцати метров мы с ревом пронеслись над желтыми неспокойными водами Мароша и в дальнейшем держались дороги, ведущей на Н. Обмазанные дегтем черные телеграфные столбы стремглав бежали нам навстречу. С одного из них сорвалась тощая пустельга. Под нами мирно тряслись телеги, брели пешком старушки, машин было мало. Лежавшая внизу равнина сменилась вскоре возвышенностью, со склонов ее на нас глазели оцепеневшие овцы. Холмы местами были рассечены болотистыми оврагами, по склонам вились тропинки, исхоженные мною и зимой и осенью: я любил здесь охотиться, и в зарослях акаций, на крохотных полянках бил зайцев без счету, а несколько раз даже лис. Земля, еще бурая, влажная, как бы потягивалась под лучами весеннего послеобеденного солнца, трава стояла еще прошлогодняя, болезненно желтая, леса зябко топорщили свои голые ветки. В березняке мы спугнули трех белозадых косуль, еще не скинувших зимних шкур: при виде леса страстно захотелось вниз, к красневшим в сухой, жухлой траве морозникам и порхавшим в небе куликам. Но кулики были далеко, а мы летели на похороны. Я невольно задумался над тем, что чего-то мне все же недостает, чтоб стать настоящим охотником: стреляю я метко, дичь всегда обнаруживаю легко, но, когда пальцы сжимают курок, я уже рад бы пойти на попятную, начать все с начала. Правда, курок я все же спускаю. Но истинный охотник из меня никогда не получится.

Мы держались дороги: пролетая над селами, рассекали дым, тянувшийся из труб. Дым проникал в кабину сквозь щели, и я различал запахи горевших в печах акаций и тлеющего садового мусора. Дым садового мусора

погорше, но, если он не слишком густ, его приятно вдохнуть полной грудью.

— Вот и Н.,— сказал Богдан, оборотившись ко мне.

— Вижу,— ответил я.— В этих местах мне каждое село знакомо.

— Тогда ты должен знать, в какой стороне кладбище.

— Вот этого я как раз и не знаю.

Мы летели над поворачивавшей вправо главной улицей, но не заметили того, что искали. Шесть мужчин, стоявших перед сельмагом, помахали вслед нам шляпами. В глубоких колеях дороги поблескивали узкие лужицы воды; во дворах шарахались испуганные куры; собаки в бешенстве рвали цепи. Привлеченные непривычным грохотом, из домов повыскакивали дети, за ними выходили и взрослые: пролетая на небольшой высоте, мы вызвали, должно быть, изрядный переполох в этой замкнутой холмами ложбине. По дыму я определил, что в большинстве домов топили акациями и молодым грабом. Потом мы увидели небольшой холм, усеянный старыми крестами и надгробьями. С церквушки без колокольни, что стояла между ними, сорвалась стая галок. Трава здесь была гуще и зеленее. Богдан сменил курс, и мы стремительно пронеслись над клабищем, как было заранее условлено. Богдан любил прибывать точно туда, куда направлялся. Мы проплыли над церковью, склонившись в крутом вираже. Кладбище было огорожено ветхим забором с гнилыми досками и расшатанными подпорками; кружась на высоте двадцати пяти метров от могильных памятников и пятнадцати метров от добротной черепичной крыши церкви, мы ни на сантиметр не вылезли за забор. Богдан смотрел вниз, одно крыло наклонилось к могилам, другое — торчало вверх; и я снова имел случай убедиться в том, что Богдан внимательно следит за всеми показаниями приборов, хотя, казалось, не обращает на них ни малейшего внимания. Шесть раз облетели мы кладбище, но нигде не было ни души. Только галки клевали что-то на дорожках и, боясь взлететь, пока мы шумели у них над головой, подозрительно косились на нашу машину.

— Гляди-ка,— сказал вдруг Богдан.

Наша орбита немного изменилась, церковь оказалась в стороне от нас, а там, куда прежде было направлено левое крыло, мы заметили свежий, покрытый цветами и

венками холмик. Рядом на притоптанном желтом песке виднелось множество осыпавшихся цветочных лепестков и кем-то забытая или нарочно оставленная лопата с изогнутой ручкой. Среди белых и алых, живых и искусственных цветов на могиле вместо памятника возвышалась одна из трех лопастей винта «ЛИ-2», рядом лежал наш купленный в складчину венок из кроваво-красных гвоздик, и если бы мы не так стремительно поворачивали, то смогли бы даже прочитать выгравированную на лопасти винта надпись.

— А, черт побери! — вырвалось у Богдана.— Опоздали. А это ведь не фильм, на который можно и завтра снова купить билеты.

5

Итак, похороны уже окончились, слишком рано, по моему разумению. Свежая могила сиротливо стояла в холодном одиночестве. Хоть бы цветочные лепестки не валялись в грязи.

— Попробуем отыскать его дом,— сказал я.— Может, узнаем.

Богдан молчал. Мы вырвались из виража, как камень из пращи. Кабину залило бледным солнечным светом. «ЯК», покачиваясь на своих коротких серо-голубых крыльях, снова прорезал жиденькие струйки дыма, поднимавшегося из труб. Дом мы обнаружили скорей, чем ожидали: у ворот выстроилась целая шеренга автомобилей, гражданских и военных, около десятка мотоциклов. Через весь двор, от дома до амбара, тянулся длинный, покрытый белой скатертью стол. Люди как раз усаживались, выдергивали пробки из винных бутылок и негромко изрекали великие житейские истины. Много их, этих истин, и на поминках никто без них обойтись не может.

— Все в сборе,— с облегчением произнес Богдан, когда мы пролетали над домом.— Значит, здесь мы и должны показать себя.

Он потянул ручки к себе, и мы стали подниматься ввысь. Обернувшись, я увидел ясно и четко оставшийся далеко внизу двор и накрытый стол. Люди, все, кто там находился, следили за нами, они ждали этого зрелища, этого противозаконного подарка, и право же, было бы непростительно оставить его там, у ангара. «ЯК» медленно

опускал свой тупой нос, крылья плавно рассекали густой весенний воздух. Все мироздание ринулось нам навстречу: мы, словно втиснувшись между домом и амбаром, пролетели над самым столом. Удвоенный гул мотора отразился от стен и земли. Казалось, что руки, махавшие нам, пытались схватить машину и притянуть ее к себе, а нас — усадить за стол. Удаляясь, я смотрел на быстро уменьшавшиеся лица, бутылки, тарелки, блюда с дымящимися яствами. На холме от вызванного нами воздушного потока пригнулись бурые ветки яблонь и сливовых деревьев; впереди открылось необъятное серое небо. Наконец машина, сбавляя скорость, накренилась набок и словно сама собой развернулась так, что в поле нашего зрения вновь попала земля.

— Думаю, они нас заметили,— сказал Богдан.

— И я так думаю,— ответил я.— К тому же и услышали.

— Хорошо, если бы опоздание наше они объяснили тем, что мы не захотели нарушать обряд.

— Главное, что мы явились прежде, чем они разошлись.

Заходя с противоположной стороны, будто сползая со склона холма, мы снова мчались на двор, на дом. Если б не вызванный нами грохот, с такой высоты можно было бы и шепот внизу услышать, но машина была призвана выразить наши чувства. Сообщить всем, что мы здесь не случайно, что прилетели для того, чтобы побыть вместе с ними. И это Богдану вполне удалось. Если бы он вдруг забыл убрать шасси, мы смели бы со стола и суп, и вино. Но Богдан, видно, считал, что и этого еще недостаточно, что мы обязаны сделать больше в честь семьи погибшего. Справедливо считается, что чем яснее говоришь, тем лучше тебя понимают. Когда мы в третий раз прогромыхали над их головами, заходя опять со стороны холма, зрелище, должно быть, было внушительное. Особенно для тех, кто не в самолете сидел и не был во дворе: ведь есть все же разница между самолетом и мелкокалиберной винтовкой. После того как своим грохотом и свистом мы окончательно всех внизу перепугали, над бугром обшивки вдруг вынырнули цеплявшиеся за влажную почву крученые стволы яблонь и метавшийся между ними ленивый белый пес. Кажется, это поразило даже Богдана, прирожденного планериста, налетавшего на своем веку по-

больше любого матерого ворона и обладавшего фантастическим чувством пространства. Хладнокровно потянул он руль на себя, и «ЯК» послушно повернулся навстречу небу. Мне почудился слабый треск, возможно, мы срезали несколько веток с набухшими почками, а может, это потрескивал фюзеляж. Богдан смотрел прямо перед собой, его левый локоть был оперт, а уши ничуть не красней и не бледней обычного: машина мчалась к небу, затем, постепенно кренясь, легла навзничь неожиданным поворотом через крыло, без малейшего скольжения, и заняла свое обычное положение, а когда Богдан посмотрел через плечо вниз, мы как раз миновали угол дома.

Мы вернулись к могиле. Синеватая тень лежала на ней, от взрыхленной земли шел легкий пар. Растерянно покружив еще немного над могилой, словно дрозд над вывалившимся из гнезда птенцом, мы, как и дрозд, не смогли поднять к себе упавшего. Хотя место его было в машине — ведь жил-то он всего тридцать один год. Но в конце концов пришлось и нам повернуть домой.

6

— Теперь веди ты,— сказал Богдан и ослабил плечевые лямки. Я тут же поднял машину метров на двести пятьдесят, чтоб заглянуть за холм. У любителей вроде меня в подобных случаях деревенеет шея, взгляд приковывается к горизонту и приборной доске. Среди знакомых мне летчиков-спортсменов были такие,— правда не из лучших,— которые признавались, что не видели города сверху, хотя и кружили над ним день-деньской. Теперь, когда я работал с тяжелыми рулями, я не мог больше вспоминать оставленную могилу, разметавшиеся ленты венков и подумал, что и настоящим летчиком я не стал, хотя у меня были к тому все данные.

Богдан, ссутулив широкую спину и положив локти на колени, спокойно дымил сигаретой с таким видом, словно чувствовал себя в полнейшей безопасности. И хотя передал управление такому неопытному летчику, как я, будто даже собирался прикорнуть. Думаю, он был прав, ведь при малейшей моей ошибке он все равно немедленно проснулся бы. Оставив без внимания капризно извивавшуюся дорогу, я лег прямо на курс.

Под прикрытием холмов мы почти не ощущали ветра,

теперь же он задорно дул нам в бок, с силой и неравномерно, так что я едва удерживал машину. Горизонт прыгал, колыхался перед нами.

— Не реагируй рулем на толчки,— поучал меня Богдан. Затушив горящий окурок, он щелчком выкинул его в раздвижное окошко.— Дай машине проявить свою устойчивость.

Когда я развернул самолет против ветра, направляясь к аэродрому, Богдан снова взял руль в свои руки, выпустил шасси и закрылки и так мягко и легко посадил машину, будто за время нашего отсутствия травянистый покров летного поля заменили бетонной дорожкой.

Мы остановились перед самым носом Панаиота, который сидел, нахохлившись, на бочке с бензином в своем застегнутом на все пуговицы синем пальто. Богдан выключил зажигание. Когда мы вылезли из машины, он обратился к Панаиоту:

— Что новенького? Как ты себя чувствуешь?

— Отвратительно,— ответил Панаиот.— Я весь продрог. А вы? Все обошлось благополучно?

— Нормально,— ответил Богдан.— Ты сообщил?

— Не к спеху было.

Дул ветер. Богдан пригладил волосы и, ухмыляясь, окинул взглядом самолет, в котором снова защелкали металлические жучки. Потом обратился к Панаиоту:

— Ты что же, заранее знал, как я поступлю?

— Не совсем точно.— Панаиот обеими руками ощупал свой живот.— Немного просчитался. Я думал, ты сразу уведешь машину, а ты решился лишь на четвертый раз. Так-то. Ты тоже уже не прежний.

— Ошибаешься,— сказал Богдан.— Я просто тянул время, пока можно было, и ни минутой дольше. Конечно, мне было бы приятнее, если бы ты сам разрешил. А ты, выходит, из окна уборной наблюдал за тем, когда я наконец, возьму все на себя. Прежде ты так не поступал. Пойдем,— обратился он ко мне.— Выпьем где-нибудь стаканчик, ведь на поминках нам ничего не досталось.

— Хотя мы и сделали все от нас зависящее. И были совсем близко от бутылок.

Мы направились в сторону дороги по дерну, местами пропитанному маслом.

По странному совпадению единственной могилой, виденной мною сверху, была могила пилота.

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Кожевников. О том, что нужно искать в себе 3

ПОВЕСТИ

В дыму и в огне. *Перевод Ю. Гусева* 11

По разные стороны. *Перевод Т. Воронкиной* 163

РАССКАЗЫ

На берегу. *Перевод Л. Васильевой* 255

Отдых. *Перевод О. Шимко* 263

Страх. *Перевод И. Миронец* 282

Вот будет здорово, ребята! *Перевод И. Миронец* 291

Пропавшая собака нашлась. *Перевод Л. Васильевой* 299

Последний подарок. *Перевод Е. Волгиной* 309

Ференц Папп

В ДЫМУ И В ОГНЕ

Редактор *Л. Борисевич*
Художник *В. Кульков*
Художественный редактор *А. Купцов*
Технические редакторы *И. Боясова*, *Н. Андрианова*
Корректор *В. Слепенкова*

Подписано к печати 28/IV 1972 г. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бум. л. 5. Печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 18,1. Изд. № 13640. Заказ № 210. Цена 1 р. 11 к.

Издательство «Прогресс»
Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Главполиграфпром Комитета по печати при Совете Министров СССР. Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 им. Евг. Соколовой, Измайловский пр., 29, с матриц ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова, Москва, М-54, Валовая, 28